

И В. ШМЕЛЕВЪ

СОЛНЦЕ МЕРТВЫХЪ



В О З Р О Ж Д Е Н І Е

И В. Ш М Е Л Е В Ъ

СОЛНЦЕ МЕРТВЫХЪ

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ



КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
ВОЗРОЖДЕНИЕ — LA RENAISSANCE

73, Avenue des Champs Elysées

П а р и ж ъ

**Tous droits de traduction et de reproduction
réservés pour tous pays,
Copyright 1949 by the author.**

У Т Р О

За глиняной стѣнкой, въ тревожномъ снѣ, слышу я тяжелую поступь и трескъ колючаго сушняка...

Это опять «Тамарка» напираетъ на мой заборъ, красавица-симменталка, бѣлая, въ рыжихъ пятнахъ, — опора семьи, что живетъ повыше меня, на горкѣ. Каждый день — бутылки три молока, — пѣннаго, теплаго, пахнущаго живой коровой! Когда молоко вскипаетъ, начинаютъ играть на немъ золотистыя блестки жира и появляется пѣночка...

Не надо думать о такихъ пустякахъ, — чего они лѣзутъ въ голову!

И такъ, новое утро...

Да, сонъ я видѣлъ... странный какой-то сонъ, чего не бываеъ въ жизни.

Всѣ эти мѣсяцы сняты мнѣ пышные сны. Съ чего? Явь моя такъ убога... Дворцы, сады... Тысячи комнатъ, — не комнатъ, а залъ роскошныхъ, изъ сказокъ Шехерезады, — съ люстрами въ голубыхъ огняхъ — огняхъ нездѣшнихъ, съ серебряными столами, на которыхъ груды цвѣтовъ — нездѣшнихъ. Я хожу и хожу по заламъ — ищу... Кого я съ великой мукой ищу, — не знаю. Въ тоскѣ, въ тревогѣ, я выглядываю въ огромныя окна: за ними сады, съ лужайками, съ зеленѣющими долинами, какъ на старинныхъ картинахъ. Солнце, какъ-будто, свѣтитъ, но это не наше солнце.... — подводный какой-то свѣтъ, блѣдной жести. И всюду — цвѣтутъ деревья, нездѣшнія: высокія-высокія сирени, блѣдные колокольчики на нихъ, розы поблекшія... Странныхъ людей я вижу. Съ ли-

цами неживыми, ходять, ходять они по заламъ, въ одеждахъ блѣдныхъ, — съ иконъ, какъ-будто, — заглядываютъ со мною въ окна. Что-то мнѣ говорить, — я чую это щемающей болью, что они прошли черезъ страшное, сдѣлали съ ними что-то, и они — внѣ жизни. Уже — нездѣшніе... И невыносимая скорбь ходить со мной въ этихъ, до жутя роскошныхъ, залахъ....

Я радъ проснуться.

Конечно, она — «Тамарка». Когда молоко вскипаетъ... Не надо думать о молокѣ. Хлѣбъ насущный? У насъ на нѣсколько дней муки... Она хорошо запрятана по щелямъ, — теперь опасно держать открыто: придутъ ночью... На огородикѣ помидоры, — правда, еще зеленые, но они скоро покраснѣютъ... съ десятокъ кукурузы, завязывается тыква... Довольно, не надо думать!..

Какъ не хочется подыматься! Все тѣло ломить, а надо ходить по балкамъ, рубить «кутюки» эти, дубовыя корневища. Опять все то же!..

Да что такое «Тамарка» у забора?.. Сопѣнье, похлестыванье вѣтокъ... обглаживаетъ миндаль! А сейчасъ подойдетъ къ воротамъ и начнетъ выпирать калитку. Кажется, колъ приставилъ... На прошлой недѣлѣ она выперла ее на колу, сняла съ петель, когда всѣ спали, и сожрала половину огорода. Конечно, голодь... Сѣна у Вербы нѣтъ на горкѣ, трава давно погорѣла, — только обглоданный грабъ да камни. До поздней ночи нужно бродить «Тамаркѣ», выискивать по глубокимъ балкамъ, по непролазнымъ чащамъ. И она бродить, бродить...

А все-таки подыматься надо. Какой же сегодня день? Мѣсяцъ — августъ. А день... Дни теперь ни къ чему, и календаря не надо. Безсрочнику все едино. Вчера доносило благовѣсть въ городкѣ... Я сорвалъ зеленый калъвилъ — и вспомнилъ: Преображеніе! Стоялъ съ яблокомъ въ балкѣ... принесъ и

положилъ тихо на верандѣ. Преображеніе... Лежить кальвиль на верандѣ. Отъ него теперь можно отсчитывать дни, недѣли...

Надо начинать день, увертываться отъ мыслей. Надо такъ завертѣться въ пустякахъ дня, чтобы бездумно сказать себѣ: еще одинъ день убить!

Какъ каторжанинъ-безсрочникъ, я устало надѣваю тряпье, — милое мое прошлое, изодранное по чашамъ. Каждый день надо ходить по балкамъ, царапаться съ топоромъ по кручамъ: заготавливать къ зимѣ топливо. Зачѣмъ — не знаю. Чтобы убивать время. Мечталъ когда-то сдѣлаться Робинзономъ — сталъ. Хуже, чѣмъ Робинзонъ. У того было будущее, надежда: а вдругъ — точка на горизонтѣ! У насъ не будетъ никакой точки, во-вѣкъ не будетъ. И все же надо ходить за топливомъ. Будемъ сидѣть въ зимнюю долгую ночь у печурки, смотрѣть въ огонь. Въ огнѣ бывають видѣнія... Пршшлое вспыхиваетъ и гаснетъ... Гора хворосту выросла за эти недѣли, сохнетъ. Надо еще, еще. Славно будетъ рубить зимой! Такъ и будутъ отскакивать! На цѣлые дни работы. Надо пользоваться погодой. Теперь хорошо, тепло, — можно и босикомъ или на деревяшкахъ, — а вотъ какъ задуетъ отъ Чатырдага да зарядятъ дожди... Тогда плохо ходить по балкамъ.

Я надѣваю тряпье... Старьевщикъ посмѣется надъ нимъ, въ мѣшокъ запхаеъ. Что понимаютъ старьевщики! Они и живую душу крюкомъ зацѣпять, чтобы вымѣнять на гроши. Изъ человѣчьихъ костей наварятъ клею — для будущаго, изъ крови настряпають «кубиковъ» для бульона... Раздолье теперь старьевщикамъ, обновителямъ жизни! Возять они по ней желѣзными крюками.

Мои лохмотья... Последніе годы жизни, послѣдніе дни — на нихъ, послѣдняя ласка взгляда... Они не пойдутъ старьевщикамъ. Истають они подъ солнцемъ, истлѣють въ дождяхъ и вѣтрахъ, на колю-

чихъ кустахъ по балкамъ, по птичьимъ гнѣздамъ...

Надо отворить ставни. А ну-ка, какое утро?..

Да какое же можетъ быть утро въ Крыму, у моря, въ началѣ августа?! Солнечное, конечно. Такое ослѣпительно-солнечное, роскошное, что больно глядѣть на море: колеть и бѣть въ глаза.

Только отпахнешь дверь, — и хлынетъ въ зашуренные глаза, въ обмятое, увядающее лицо — солнцемъ пронизанная ночная свѣжесть горныхъ лѣсовъ, долинъ горныхъ, налитая особенной, крымской, горечью, настоявшеюся въ лѣсныхъ щеляхъ, сорвавшеюся съ луговъ, отъ Яйлы. Это — послѣднія волны ночного вѣтра: скоро потянетъ съ моря.

Милое утро, здравствуй!

Въ отлогой балкѣ — корытомъ, гдѣ виноградникъ, еще тѣнисто, свѣжо и сѣро; но глинистый скатъ напротивъ уже розово-красный, какъ свѣжая мѣдь, и верхушки молодокъ-грушъ, понизу виноградника, залиты алымъ глянцемъ. А хороши молодки! Прибрались, подзолотились, понавѣшали на себя тяжелыя бусы-грушки — мари-луизъ.

Я тревожно обыскиваю глазами... Цѣлы! Еще одну ночь провисѣли благополучно. Не жадность это: это же хлѣбъ нашъ зрѣетъ, хлѣбъ насущный.

Здравствуйте и вы, горы!

Къ морю — малютка-гора Кастель, крѣпость надъ виноградниками, гремящими надалеко славой. Тамъ и золотистый сотернъ — свѣтлая кровь горы, и густое бордо, пахнущее сафьяномъ и черносливомъ, — и крымскимъ солнцемъ! — кровь темная. Сторожить Кастель свои виноградники отъ стужи, грѣетъ ночами жаромъ. Въ розовой шапкѣ она теперь, понизу темная, вся — лѣсная.

Правѣ, дальше — крѣпостная стѣна-отвѣсъ, голая Куш-Кая, плакать горный. Утромъ — розовый, къ ночи — синій. Все вбираетъ въ себя, все видитъ. Чертитъ на немъ невѣдомая рука... Сколько верстъ

до него, а — близкій. Вытани руку и коснешься: только перемахнуть долину вниз и взгорья, все — въ садахъ, въ виноградникахъ, въ лѣсахъ, балкахъ. Вспыхиваетъ по нимъ невидимая дорога. пылью: какъ титъ автомобиль на Ялту.

Правѣ еще — мохнатая шапка лѣсного Бабугона. Утрами золотится юнъ; обычно — дремуче-черень. Видны на немъ щетины лѣсовъ сосновыхъ, когда солнце плавится и дрожить за ними. Оттуда приходитъ дождь. Солнце туда уходитъ.

Почему-то кажется мнѣ, что съ дремуче-черного Бабугона сползаетъ ночь...

Не надо думать о ночи, о снахъ обманныхъ, гдѣ все — нездѣшнее. Съ ночью они вернутся. Утро срывааетъ сны: вотъ она, голая правда, — подъ ногами. Встрѣчай же его молитвой! Оно открываетъ дали...

Не надо глядѣть на дали: дали обманчивы, какъ и сны. Онѣ манять и — не даютъ. Въ нихъ голубого много, зеленого, золотого. Не надо сказокъ. Вотъ она, правда, — подъ ногами.

Я знаю, что въ виноградникахъ, подъ Кастелью, не будетъ винограда, что въ бѣлыхъ домикахъ — пусто, а по лѣсистымъ взгорьямъ разметаны человѣческія жизни.... Знаю, что земля напилалась кровью, и вино выйдетъ терпкимъ и не дастъ радостнаго забытья. Страшное вписала въ себя сѣрая стѣна Кушкаи, видная надалеко. Время придетъ — прочтется...

Я уже не гляжу на дали.

Смотрю черезъ свою балку. Тамъ — мои молодые миндали, пустырь за ними.

Каменистый клочокъ земли, недавно собиравшійся жить, теперь — убитый. Черные рога виноградника: побили его коровы. Зимніе ливни роютъ на немъ дороги, прокладываютъ морщины. Торчитъ перекати-поле, уже отсохшее: заскачетъ — только задуетъ Сѣверъ. Старая татарская груша, дуплистая и

кривая, годы цвѣтеть и сохнуть, годы кидаетъ во-
круг медовую желтую «буздурханъ», все дожидаетъ
смѣны. Не приходитъ смѣна. А она, упрямая, ждетъ
и ждетъ, наливаетъ, цвѣтеть и сохнуть. Затаиваются
на ней ястреба. Любятъ качаться вороны въ бурю.

А вотъ — бѣльмо на глазу, калѣка. Когда-то —
«Ясная Горка», дачка учительницы екатеринослав-
ской. Стоитъ — кривится. Давно обобрали ее воры,
побили стекла, и она ослѣпла. Осыпается штукатур-
ка, показываетъ ребра. А все еще доматываются въ
вѣтрѣ повѣшенные когда-то сушиться тряпки, —
болтаются на гвоздяхъ, у кухни. Гдѣ-то теперь за-
ботливая хозяйка? Гдѣ-то. Разрослись у слѣпой ве-
ранды вонючія укусыя деревья.

Дачка свободна и безхозяйна, — и ее захватилъ
павлинъ.

П Т И Ц Ы

Павлинь... Бродяга-павлинь, теперь никому ненужный. Онъ ночуетъ на перильцахъ балкона: такъ не достать собакамъ.

Мой когда-то. Теперь — ничей, какъ и эта дачка. Есть же ничьи собаки, есть и люди — ничьи. Такъ и павлинь — ничей.

Я не могу содержать его, роскошь эту. Онъ это понялъ и поселился на пустырь. Мы — сосѣди. Онъ какъ-то ухитряется жить, пережилъ зиму и выпустилъ-таки хвостъ новый, хоть и не совсѣмъ прежній. Временами захаживаетъ ко мнѣ. Станетъ подь кедромъ, гдѣ когда-то дремалъ въ жары, потгладываетъ и ждеть-пытаетъ:

— Не дашь?..

— Не дамъ. Видишь — ничего нѣту, Павка.

Поведетъ коронованной головкой, хвостъ иногда распуститъ:

— Не дашь?!..

Постоять и уйдеть. А то взмахнетъ на ворота, повертится-потанцуетъ:

— Смотри-ка, какой красивый! Не дашь...

И слетитъ на пустую дорогу, блеснетъ зелено-золотистымъ хвостомъ. Тамъ и тамъ покричить-позоветь по балкамъ, — пава, можетъ, откликнется! Глядишь — ужъ опять бродить у своей одинокой дачки. А то пройдетъ за горку, въ «Тихую Пристань», къ Прибыткамъ: тамъ дѣти, — чего и дадутъ, можетъ. Врядъ ли: тамъ тоже плохо. Или къ Вербѣ, на горку: тамъ иногда даютъ ребятишки въ обмѣнъ на

перья. А то повыше, на самый тычокъ, къ старому доктору. Но тамъ и совсѣмъ плохо.

Недавно онъ жилъ въ довольствѣ, ночевалъ на крышѣ, а дни проводилъ подъ кедромъ. Собирались найти ему подругу.

Мнѣ его больно видѣть.

...Э-оу-аааа!.. — пустыннымъ крикомъ кричить павлинь. Жалуется? тоскуетъ?

Его разбудило утро. И для него теперь день — въ работѣ. Поднялся, расправилъ серебристыя крылья, въ палево-розовой опушкѣ, выправилъ горделиво головку, — черноглазой царицей смотреть. На старую прушу смотреть и вспоминаетъ, что «буздурханъ» обобранъ. Ну, кричи же! кричи, что и ты ограбленъ! Сіяя голубымъ фіолетомъ въ солнцѣ, вдумчиво ходитъ онъ по балкону, шелковымъ хвостомъ возить, — приглядывается къ утру... И — молніей падаетъ въ виноградникъ.

— Ш-ши... несчастный!

Онъ теперь не боится крика: вьется змѣей-хвостомъ въ лозахъ, оклевываетъ зрѣющія грозди. Вчера было много исклеванныхъ. Что же дѣлать! Всѣ хотять ѣсть, а солнце давно все выжгло. Онъ становится дерзкимъ воромъ, красавецъ, съ царственной поступью. Онъ открыто грабитъ меня, лишаетъ хлѣба: вѣдь виноградомъ питаться можно! Я выбиваю его камнями, онъ все понимаетъ, зелено-голубой молніей юркаетъ-вьется между лозами, змѣится по розовой осыпи и пропадаетъ за своей виллой. Кричить пустынно:

...Э-оу-аааа!..

Да, теперь и ему плохо. Желудей въ этомъ году не уродилось; не будетъ и на шиповникъ ничего, и на ажинъ, — все усохло. Долбить, долбить павлинь сухую землю, выклеываетъ дикій чеснокъ, лукъ гадючій, — отъ него остро пахнетъ чесночнымъ духомъ.

Лѣтомъ онъ ходилъ въ котловину, гдѣ греки посѣяли пшеницу. Индюшка съ курочками тоже ходила на пшеницу, которую стерегли греки. Пшеница теперь богатство! Даже ночевали греки въ котловинѣ, у огонька сидѣли, прислушивались къ ночи. Много у пшеницы враговъ, когда наступаетъ голодъ.

Бѣдныя мои птицы! Онѣ худѣютъ, таютъ, но... онѣ связываютъ насъ съ прошлымъ. До послѣдняго зернышка мы будемъ дѣлиться съ ними.

Солнце уже высоко ходитъ, — пора выпускать куриное семейство. Несчастная индюшка! У ней не было пары, но она упорно сидѣла и не брала корма. И добилаcь: высидѣла шестерку курочекъ. Чужимъ, она отдала имъ свою заботу. Она научила ихъ за-сматривать въ небо однимъ глазомъ, ходить чинно, подтягивая лапки, и даже перелетать балку. Она принесла намъ отрадную заботу, которая убиваетъ время.

И вотъ, на ранней зарѣ, — чуть заблѣетъ небо, — выпустишь подтянутую индюшку.

— Ну, ступайте!

Она долго стоитъ, круглитъ на меня то тѣмъ, то другимъ глазомъ: покормить бы надо! А ея кроткія курочки, бѣленькія, одна въ одну, вспархиваютъ ко мнѣ въ руки, цапаются за мои лохмотья, настойчиво, глазами просятъ, — стараются уклюнуть въ тубы. Пышныя, онѣ день ото дня пустѣютъ, становятся легкими, какъ ихъ перья. Зачѣмъ я ихъ вызвалъ къ жизни! Обманывать пустоту жизни, наполнить птичьими голосками?..

— Простите меня, малютки. Ну, води ихъ т у д а... индюша!

Она знаетъ, что нужно дѣлать. Она сама отыскала «пшеничную» котловину и понимаетъ, что греки ее гоняютъ. Грабомъ и дубнячкомъ прокрадывается она въ разсвѣтъ, ведетъ курочекъ на кормежку, на самый край котловины, гдѣ подходитъ къ кустамъ

пшеница. Юркнетъ со стойкой, заведетъ въ самую середину, — и начинаютъ кормиться. Крѣпкимъ носомъ она срываетъ колосъ и расшелушиваетъ зерна. Держится цѣлый день, томясь жаждой, и только когда стемнѣетъ, уводитъ къ дому. Пить! пить! Воды у меня довольно. Пьютъ онѣ долго-долго, словно качаютъ воду, и мнѣ приходится усаживать ихъ на мѣсто: онѣ уже ничего не видятъ.

Меня немного мучаетъ совѣсть, но я не смѣю мѣшать индюшкѣ! Не мы съ нею сдѣлали жизнь такую! Вору, индюшка!

Павлинъ тоже прозналъ дорогу. Но — вымахнетъ хвостомъ изъ пшеницы и попадется грекамъ. Они поднимаютъ крикъ, гонять воровъ и приходятъ къ моимъ воротамъ:

— Циво, цортъ, пускайшъ?! Сицасъ убивай курей!

Ихъ худыя, горбоносые лица злобны, голодные зубы до жути бѣлы. Они и убить могутъ. Теперь все можно.

— Убей! Самъ сицасъ убивай прокляти воры!..

Это мучительныя минуты. Убивать я не въ силахъ, а они правы: голодъ. Держить птицу — въ такое время!

— Я не буду, друзья, пускать... И всего-то нѣсколько зеренъ...

— А ти жъ сѣиль?!... Послѣдни зерно изъ глотки вириваль! тебѣ надо голову сшибаемъ! Всѣ памирать будимъ!..

Они долго еще кричатъ, стучать палками по воротамъ, — вотъ-вотъ ворвутся. Неистово, непонятно кричатъ, нажиливая потныя шеи, выпяливая сверкающіе бѣлки, обдавая чесночнымъ духомъ:

— Курей убивай! Теперь суда нема... сами будимъ!..

Въ ихъ крикахъ я слышу ревы звѣриной жизни, древней пещерной жизни, которую знавали эти горы,

которая опять вернулась. Они боятся. День ото дня страшнѣе, — и теперь горсть пшеницы дороже человека.

Давно убрали греки пшеницу: тюками, въ мѣшкахъ уносили въ городъ. Ушли, — и пшеничная котловина закипѣла жизнью. Тысячи голубей — они хоронились отъ людей гдѣ-то — голубились теперь по ней, выскивали осыпавшіяся зерна; дѣти цѣлыми днями ерзали по землѣ, выбирая утерянныя колосья. И павлинъ, и индюшка съ курочками кормились. Теперь ихъ гоняли дѣти. Ни зернышка не осталось, — и котловина затихла.

ПУСТЫНЯ

А что «Тамарка»?..

Она уже оглодала миндали, сжевала давшіяся через отраду вѣтки. Повисли они мочалками. Теперь ихъ доканчиваетъ солнцемъ.

Громяхаютъ ворота. Это «Тамарка» рогами выдавливаетъ калитку.

— Ку-ддааа?!..

Вижу я острый рогъ: просунула-таки въ щель калитки, ломится въ огородъ. Манить ея сочная, зеленая кукуруза. Шире и шире щель, всовывается розовый шагренъ носа, фыркаетъ влажно-жадно, слюну пускаетъ...

— На-ззадъ!!!..

Она убираетъ губы, отводитъ морду. Стоитъ неподвижно за калиткой. Куда же еще итти?! Вездѣ — пусто.

Вотъ онъ, нашъ огородикъ... жалкій! А сколько нежестоваго труда бросилъ я въ этотъ сыпучій шиферъ! Тысячи камня выбралъ, носилъ изъ балокъ мѣшками землю, ноги избилъ о камни, выцарапываясь по кручамъ...

А для чего все это! Это убиваетъ мысли.

Выберешься наверхъ горы, сбросишь тяжкій мѣшокъ съ землею, скрестишь руки... Море! Глядишь и глядишь черезъ капли пота, — глядишь сквозь слезы... Синяя даль какая! А вотъ, за черными кипарисами, — низенькій, скромный, тихій, — домикъ подъ красной крышей. Неужели я въ немъ живу? Въ саду — ни души, и кругомъ — пустынно: никто

не пройдетъ за день. Маленькій, съ голубка, павлинь по пустырю ходитъ — долбитъ камень. Тишина какая! Весенними вечерами хорошо поетъ черный дроздъ на сухой рябинѣ. Горамъ попоетъ — повернется къ морю. Споетъ и морю, и намъ, и моимъ деревьямъ миндальнымъ, въ цвѣтахъ, и домику. Домикъ нашъ одинокій!.. Отсюда видны его изъязы. Заднюю стѣнку дожди размыли, камни торчатъ изъ глины, — надо до осеннихъ дождей поправить. Придутъ дожди... Объ этомъ не надо думать. Надо разучиться думать! Надо долбить шиферъ мотыгой, таскать землю мѣшками, разсыпать мысли.

Бурей задрало желѣзо, — пришлось навалить по угламъ камни. Кровельщика бы надо... И кровельщика, пожалуй, не осталось. Нѣтъ, старый Кулешъ остался: стучитъ колотушкой за горкой, къ балкѣ, — выкраиваетъ сосѣду изъ стараго желѣза печки. Въ степь повезутъ вымѣнивать на пшеницу, на картошку... Хорошо имѣть старое желѣзо!

Стоишь — смотришь, а вѣтерокъ съ моря обдуваетъ. Красота какая!

Далеко внизу — бѣленькій городокъ, съ древней, отъ генуэзцевъ, башней. Черной пушкой уставилась она косо въ небо. Выбѣжала въ море игрушечная пристань — скамеечка на ножкахъ, а возлѣ — скорлупка-лодка. Сзади — плѣшиной Чатырдагъ синѣетъ, Палать-Гора... Тамъ сѣдловина перевала... выше еще — и смотреть вихромъ Демерджи. Орлы живутъ по ея ущельямъ. Дальше — свѣтлыя цѣпи голыхъ туманно-солнечныхъ горъ Судакскихъ...

Хорошъ городокъ отсюда — въ садахъ, въ кипарисахъ, въ виноградникахъ, въ тополяхъ высокихъ. Хорошъ обманчиво. Стеклышками смѣется! Ласково-кротки бѣлые домики, — житіе мирное. А бѣлоснѣжный Домъ Божій крестомъ осѣняетъ кроткую свою паству. Вотъ-вотъ услышишь вечернее — «Свѣте Тихій»...

Я знаю эту усмѣшку далей. Подойди ближе, — и увидишь... Это же солнце смѣется, только солнце! Оно и въ мертвыхъ глазахъ смѣется. Не благостная тишина эта: это мертвая тишина погоста. Подъ каждой кровлей одна и одна дума — хлѣба!

И не домъ пастыря у церкви, а подвалъ тюремный... Не церковный сторожъ сидитъ у двери: сидитъ тупорылый парень, съ красной звѣздой на шапкѣ, зыкаетъ-сторожитъ подвалы:

— Эй!.. отходи подалѣ!..

И на штыкѣ солнышко играетъ.

Далеко съ высоты видно! За городкомъ — кладбище. Сіяетъ на немъ вся прозрачная, изъ стекла, часовня. Какая роскошь... Не разберешь, что въ часовнѣ: плавится на ея стеклахъ солнце.

Обманчиво-хороши сады, обманчивы виноградники! Зброшены, забыты сады. Опустошены виноградники. Обезлюжены дачи. Бѣжали и перебиты хозяева, въ землю вбиты! — и новый хозяинъ, недоумѣнный, повыбилъ стекла, повырвалъ балки... повыпилъ и повылилъ глубокіе подвалы, въ кровинѣ поплавалъ, — а теперь, съ праздничнаго похмѣлья, угрюмо сидитъ у моря, глядитъ на камни. Смотрятъ на него горы...

Я вижу тайную ихъ улыбку — улыбку камня.

Сѣрѣетъ подъ Демерджи обвалъ — когда-то татарская деревня. Вѣка глядѣла гора въ человѣчье стойло. И показала свою улыбку — швырнула камнемъ. Да будетъ каменное молчаніе! Вотъ ужъ идетъ оно.

Что, «Тамарка»? И ты, бѣдняга, попала въ петлю... А примириться не хочешь: упрямо стучишь копытомъ, бѣшь головой въ ворота! Похудѣла же ты, бѣдняга...

Она тупо глядитъ на мою поднятую руку стеклянными глазами, синими съ неба и вѣтрянаго моря. Да куда же еще итти?! Ея бока провалились, выперло

кости таза, а хребетъ заострился и изъѣденъ кровопійцами мухами и слѣпнями. Сочится сукровица изъ ранокъ: тамъ уже свербить червивое потомство, зрѣеть въ теплотѣ язвы. Вымя ея втянулось и потемнѣло, подсохли-поморщились сосочки: ничего не вытянуть изъ нея сегодня хозяйскія руки.

— Ступай же... нѣту!..

Она не вѣрить. Она же знаетъ великую силу человека! Не можетъ она понять, почему не кормить ее хозяинъ...

И я не могу понять, «Тамарка»... Понять не могу, кому и зачѣмъ понадобилось все обратить въ пустыню, залить кровью! А помнишь, еще недавно каждый могъ тебѣ дать кусокъ душистаго хлѣба съ солью, каждый хотѣлъ потрепать твои теплыя губы, каждый радовался на твое ведерное вымя. Кто же это вышилъ и твои соки? Каждую весну ты носила, а теперь ходишь пустая и не прибавила на рогахъ колечка!..

Въ ея стеклянныхъ глазахъ я вижу слезы. Нѣмыя, коровьи слезы. Голодная слюна тянется-провисаетъ къ колючей ажинѣ, которую она жевала. Съ усиліемъ отрываетъ она глаза отъ кукурузы, поворачиваетъ отъ калитки и... смотреть въ море. Синее и пустое. Она его хорошо знаетъ: синее и пустое. Вода и камни.

Смотрю и я... Сколько хочешь смотри — и такъ, и этакъ.

Прямо смотри: невидная Азія, Трапезундъ. Тамъ Кемаль-Паша воюетъ со всѣми народами на свѣтѣ; побилъ и грековъ, и англичанъ, и французъ, и итальянцевъ, — всѣхъ побилъ-потопилъ въ славномъ турецкомъ морѣ.

Попшептываютъ прижухнувшіеся татары:

— Це-це-це... Кемаль-Паша! Крымъ идетъ... пылымотъ стрелялъ, балшивикъ тикалъ! Хлѣбъ бу-

дить, чурэ́къ-чебура́къ... баяшка будыть... Балшой чилава́къ Кемаль-Паша! Нашъ будыть...

Вправо — Босфоръ дале́кій, Стамбулъ Вели́кій. Тамъ горы хлѣ́ба и сахара, и брынзы, и ара́війскаго ко́фе, и барановъ...

Влѣво, въ утренней дымкѣ, — земля родная, кровью святой политая...

Ни дымочка на синей дали, серебрятся теченія... Одна голубая парча — на солнцѣ.

Мертвое море здѣсь: не любятъ его веселые пароходы. Не возьмешь ни пшеницы, ни табаку, ни вина, ни шерсти... Съѣдено, выпито, выбито — все. Изсякло.

А солнце пишетъ свои полотна!

Фиолетовый пляжъ розовымъ подержался, теперь блѣднѣетъ. Накалится — засвѣтится. Къ ночи съ холоду посинѣетъ. А вотъ и она — синь-бѣль: вскипаетъ съ играющаго моря. Нѣтъ ни души на галькѣ, пятнышка нѣтъ живого. Прощай, расцвѣтка!

Ни татарина мѣднорожаго, съ беременными корзинами на бедрахъ, — груши, персики, виноградъ! Ни шумливаго плута-армянина изъ Кутаиса, восточнаго человѣка, съ кавказскими поясами и сукнами, съ линючими чадрами кричащихъ красокъ, — утѣхой женщинъ; ни итальяшекъ съ «обомаршэ», ни пылящихъ ногами, запотѣвшихъ фотографовъ, берушихъ «съ веселымъ лицомъ», у камня, лихо накидывающихъ черный лоскутъ суконный, небрежно-важно разбрасывающихъ — «мерсисъ!». И Уральскіе Камни сгнули, и растаяли бублики за копейку, и раковинки съ «Ялтой» — китайской тушью, и татары-проводники, въ рейтузахъ синей діагонали, съ нафабранными усами, съ бедрами Аполлона изъ Корбэка, со стѣкомъ за лаковымъ голенищемъ, съ запахомъ чеснока и перца. Ни фаэтоновъ въ пунцовомъ плисѣ, съ бѣлыми балдахинами, вздувающимися на бойкомъ ходу, съ красными язычками въ

бисерной мишурѣ-сверканьи, съ конями въ шерстяныхъ розанахъ, съ крымскими глухарями изъ серебра, — звономъ бахчисарайскимъ, — щеголеватомягко несущихся мимо просыпающихся утреннихъ виллъ, въ глициніяхъ и мимозахъ, въ магноліяхъ и розахъ, и въ виноградѣ, съ курящеюся поливкой, съ душистой прохладой утра, умѣло опрысканнаго садовникомъ. Ни широкихъ турокъ, мѣрно бьющихъ новые плантажи, крѣпко-жилыхъ, съ синими курдюками, съ полудня засыпающихъ на землѣ, у камня. Ни дамскихъ зонтиковъ на песокъ, жаркихъ цвѣтовъ полудня, ни человѣческой бронзы, которую жарить солнцемъ, ни татарскаго старичка, сухого, съ шоколадной головкой въ бѣлой обвязкѣ, мотающагося на колѣнкахъ — къ Меккѣ...

Не ты ли сожрало, море? Молчить, играетъ.

Кому продавать, покупать, кататься, крутить лѣниво золотистый табакъ ламбатскій? кому кушать-ея?.. Все — изсякло. Въ землю ушло, — или туда, за море.

Смотрять въ пустой песокъ выбитыми глазами дачи. Тянуть бакланы въ морѣ, снуютъ-плаваютъ ихъ цѣпочки.

Одно увидишь на побережной дорогѣ —

Ковыляется босая, замызганная баба, съ драной травяной сумкой, — пустая бутылка, да три картошки, — съ напряженнымъ лицомъ безъ мысли, одурѣвшая отъ невзгоды:

— А ска-зывали — все будетъ!..

Прошагаетъ за осликомъ пожилой татаринъ, — гонить съ вьючкомъ дровишекъ, — угрюмый, рваный, въ рыжей овчинной шапкѣ; поцекаетъ на слѣпую дачу, съ вывернутой рѣшеткой, на лошадиныя кости у срубленнаго кипариса:

— Це-це-це... ахъ, шайтаны!..

И вспомнить: носилъ сюда пѣтуховъ въ сезоны,

черешню, виноградъ, груши... было время! А теперь и соли купить не съ чѣмъ.

А то пропылить на мухрастой запаленной лошади полупьяный красноармеецъ, безъ родины — безъ причала, въ ушахъ шлыкъ суконномъ, въ памяти звѣздъ красной-тырцанальной, съ ведернымъ бо-ченкомъ у брюха, — пьяную радость везетъ начальству изъ дальняго подвала, который еще не весь выпить.

Такъ вотъ какая она, пустыня!

Смѣется солнце. Поигрываютъ тѣнями горы. Все равно передъ ними: розовое ли живое тѣло или трупъ посинѣлый, съ выпитыми глазами, — вино ли, кровь ли... И этому верховому звѣздоносцу. Остановится передъ разбитой виллой, глядитъ-пялитъ за-спанными глазами... — чего такое?.. Примѣтить — стеклышко никакъ цѣло! Наведетъ-нацѣлитъ:

— А-а, едренать...

Еще нацѣлитъ...

Но куда же пойдетъ «Тамарка»?

Она тянетъ-вытягиваетъ морду и мычитъ, протяжно — на море. Въ синее и пустое. Еще мычить, и еще... И уходитъ черезъ дорогу въ балку. Задумывается надъ сочнымъ молочаемъ: не съѣсть ли... Фыркаетъ и отходить: чуетъ коровьимъ нюхомъ эти острые молочай-боли, — отъ нихъ вымя сочится кровью.

Ну, что же сегодня дѣлать? Что и вчера — все то же: нарвать виноградныхъ листьевъ помоложе, мелко-мелко порѣзать — и супъ будетъ. Хорошо чесноку добавить, — даетъ, говорятъ, бодрость; но чеснокъ весь вышелъ. Потомъ... опять листу надо — обманывать единственное живое, что намъ осталось, — птицъ нашихъ. Онѣ связываютъ насъ съ прошлымъ. Ихъ надо поскорѣй выпустить, кузнечика хоть поймаютъ. Онѣ доживутъ до осени, а дальше...

Не стоит думать. Кружились бы только съ нами! Онъ отзываются на ласку, задремываютъ на колѣняхъ, затягивая пленочками зрачки. Онъ шумно слетаются изъ балокъ, слышавъ обманное звяканье жестяной кружки, — не зерно ли?! — разговариваютъ даже съ нами. Я хорошо понимаю Робинзона.

И такъ, начинаемъ день.

ВЪ ВІНОГРАДНОЙ БАЛКѢ

Виноградная Балка... Оврагъ? яма? Нѣтъ: это отнынѣ мой храмъ, кабинетъ и подвалъ запасовъ. Сюда прихожу я думать. Отсюда черпаю хлѣбъ насущный. Здѣсь у меня цвѣты — золотисто-малиновый кустъ Львинаго-Зѣва, въ пчелахъ. Только. Огромное окно — море. И — виноградъ зрѣетъ.

Отнынѣ мой храмъ?... Неправда. У меня нѣтъ теперь храма.

Бога у меня нѣтъ: синее небо пусто. Но шиферно-глинистыя стѣны — мои хранители: онѣ укрываютъ отъ пустыни. «Натюр-морты» на нихъ живутъ, — яблоки, виноградъ, груши...

Я спускаюсь по сыпучему шиферу, оглядываю свои запасы. Плохо на яблонькахъ: поѣла цвѣты «мохнатая оленка». Тысячи ихъ налетали, когда яблони стояли въ цвѣту, падали въ бѣлыя чашечки, сосали-грызли золотыя тычинки. Я выбиралъ ихъ, спящихъ: онѣ задремывали къ полудню. Вотъ одичавшій персикъ, съ каменной мелочью, черешня, въ усохшихъ косточкахъ, оклеванная дроздами. Айва безплодная, въ паутинныхъ коконахъ, заросли розы и ажины.

Гредкій орѣхъ, красавецъ... Онъ входитъ въ силу. Впервые зачавшій, онъ подарилъ намъ въ прошломъ году три орѣшка — поровну всѣмъ... Спасибо за ласку, милый. Насъ теперь только двое... а ты сегодня щедрѣе, принеси семнадцать. Я сяду подъ твоей тѣнью, стану думать...

Живъ ли ты, молодой красавецъ? Такъ же ли ты

стоишь въ пустомъ виноградникѣ, радуешь по веснѣ
зеленью сочныхъ листьевъ, прозрачной тѣнью? Нѣтъ
и тебя на свѣтѣ? Убили, какъ все живое...

Хорошо сидѣть въ утренней тишинѣ Виноградной
Балки, ото всего закрыться. Только — лозы... Ряд-
ками тянутся вверхъ, по балкѣ, на волю, гдѣ старыя
миндальныя деревья, — прыгаютъ тамъ голубыя
сойки. Какое покойное корыто! Откосы, одинъ —
тѣнистый, солнцемъ еще не взятый; другой — золо-
той, горячій. На немъ груши-молодки въ бусахъ.

Взглянешь назадъ — синее окно, море! Круто
падаетъ балка, и въ тѣсномъ ея прорывѣ — синяя
чаша моря: пей глазами!

Хорошо такъ сидѣть, не думать...

Пустыннымъ крикомъ кричить шавлинь:

— Э-оу-а-аааа...

Нельзя не думать: настезь раскрыты двери, кри-
чить пустыня. Утробнымъ ревомъ реветъ корова,
винтовка стучитъ въ горахъ, — кого-то ищетъ. Надъ
головой дѣтскій голосокъ тянетъ:

— Хлѣ-а-ба-аааа... са-мый-са-аааа въ пуговичку-
ууу... са-а-мый-са-аааа...

Гремитъ самоварная труба. Это пониже нашего
домика, сосѣди.

— Ахъ, Воводичка... какой ты... Я же тебѣ ска-
зала...

Голосъ усталый, слабый. Это старая барыня, по-
павшая вмѣстѣ съ другими въ петлю. При ней чу-
жія, «нянькины дѣти»: Ляля и Вова. Живутъ на
тыгчкѣ — бьются.

— Са-а-мый-са-ааааа...

— Я же тебѣ сказала... Сейчасъ лепестковъ за-
варимъ, розовый чай пить будемъ...

— Хочу са-а-ла-ааааа...

— Ну, что ты изъ меня ду-шу тянешь!.. Ля-ля,
да уведи ты его отъ меня, съ глазъ моихъ!..

Я слышу дробное топотанье и задохшійся, тон-
кій голосокъ Ляли:

— А-а... сала тебѣ?! сала? Я тебѣ такого сала..! Ухи тебѣ насалить?

— Ля-ля, оставь его... И потомъ, нельзя говорить...у-хи! У-ши! И какъ ты выражаешься: насалить! На что это похоже! А я-то еще хотѣла съ тобой по-французски заниматься...

По-французски! У смерти... — и по-французски. Нѣтъ, права она, старая, милая барыня: надо и по-французски, и географію, и каждый день умывать-ся, чистить дверныя ручки и выбивать коврики. Удѣ-питься и не даваться. Ну, какія самыя большія рѣки? Нилъ, Амазонка... Еще текутъ гдѣ-то? А города?.. Лондонъ, Нью-Йоркъ, Парижъ... А теперь въ Парижѣ...

Странно... когда я сижу такъ, раннимъ утромъ, въ балкѣ и слышу, какъ гремитъ самоварная труба, я вспоминаю о Парижѣ, въ которомъ никогда не былъ. Въ этой балкѣ, и — о Парижѣ! Это на какомъ-то другомъ свѣтѣ... И есть ли этотъ Парижъ? не исчезъ ли и онъ изъ жизни?..

Вотъ почему я вспоминаю о Парижѣ: моя сосѣдка рассказывала, бывало, какъ она жила за границей, училась въ Берлинѣ и въ Парижѣ... Такъ далеко отсюда! Она... въ Парижѣ! Она бродитъ въ вязаномъ платочкѣ, унылая и больная, щупаетъ себя за голову, жуеетъ крупку... Видала Парижъ, въ Булонскомъ Лѣсу наталася, стояла передъ «Венерой» и «Нотр-Дамъ»..! Да почему она здѣсь, на тычкѣ, у балки?! Бьется съ чужими дѣтьми, продаетъ послѣднія ложечки и юбки, вымѣниваетъ на затхлый ячмень и соль! Боится, что отнимутъ у ней какой-то коверъ... Каждую ночь дрожить — вотъ придутъ и отнимутъ коверъ, и этотъ платокъ послѣдній, и полфунта соли. Чуть какая!

Парижъ?! какой-то Булонскій Лѣсъ, гдѣ совершаютъ предобѣденныя прогулки въ экипажахъ, — у Мопассана было... — и высится гордымъ сталь-

нымъ торчкомъ прозрачная башня Эйфеля?! гремитъ и сейчасъ въ огняхъ?! и люди весело и свободно ходять по улицамъ?!.. Парижъ... — а здѣсь отнимають соль, повертываютъ къ стѣнкамъ, ловятъ кошекъ на западни, гноятъ и разстрѣливаютъ въ подвалахъ, колючей проволокой окружили дома и создали «человѣчьи бойни»! На какомъ это свѣтѣ дѣется? Парижъ... — а здѣсь звѣри въ желѣзѣ ходятъ, здѣсь люди пожирають дѣтей своихъ, и животныя постигаютъ ужась!..

На какомъ это свѣтѣ дѣется? На бѣломъ свѣтѣ?!..

Нѣтъ никакого Парижа-Лондона, пропаль и Парижъ, и все. Вотъ работа кинематографамъ, лента на миллионы метровъ! Великіе города — великихъ! Стоите ли вы еще? Смотрите ваши ленты? Кровяныхъ нашихъ лентъ на сотни великихъ городовъ хватить, на миллионы зѣвакъ бульварныхъ, зѣвакъ салонныхъ, — въ смокингахъ и визиткахъ, въ пиджакахъ и рабочихъ блузахъ... и въ соболяхъ съ чужого плеча, и въ брилліантахъ, вырванныхъ изъ ушей! Смотри, Еврѡпа! Везутъ товары на корабляхъ, товары изъ странъ нездѣшнихъ: чаши изъ череповъ человѣчѣихъ — пирамъ веселье, человѣчѣи кости — игрокамъ на счастье, портфели изъ «русской» кожи — работы сѣверныхъ мастеровъ, «русскій» волосъ — на покойныя кресла для депутатовъ, дароносицы и кресты — на портсигары, раки святыхъ угодниковъ — на звонкую монету. Скупай, Европа! Шумитъ пьяная ярмарка человѣчѣей крови... чужой крови.

Цѣла Европа? Не видно изъ Виноградной Балки. Какъ тамъ — съ ... «правами человѣка»? Въ Великихъ Книгахъ — всѣ ли страницы цѣлы?..

О, Парижъ!.. Отсюда, изъ глухой балки, нездѣшнимъ грезится мнѣ этотъ далекій Парижъ, призрачный городъ сказки. Нездѣшнимъ, какъ мои сны — нездѣшніе. Тамъ не смѣется камень: покорно поло-

женъ въ ленты. Голубые огни на немъ, и люди его — недѣшніе. Побѣдно гремятъ оркестры на золотыхъ трубахъ, а прозрачное чудо стали засматриваетъ за край земли, ловить всѣ голоса земные... Слышать ли этотъ голосъ пустыхъ полей, пороховъ кровавыхъ подземелій?.. Это же вздохи тѣхъ, что и тебя когда-то спасали, прозрачная Башня Эйфеля! Старуха съдая занесла на свои скрижали.

Не слышать. Гремятъ золотыя трубы...

— Хлѣ-э-ба-аааа...

А гдѣ-нибудь громадныя булочныя открыты, за окнами и на полкахъ лежать свободные караваи, лежать до вечера... Да есть ли?!..

— Силь моихъ нѣту, Го-споди... Ляля, да возьми отъ меня Воводю! Няня сейчасъ придетъ... Ну, дай ему грушку погрызть, что ли... И когда только эта мука кончится!..

Кончится! Она только еще подходитъ. Вонъ — «Безрукій», слесарь изъ Сухой Балки, вчера съѣлъ рыженькую собачку Минца... а на той недѣлѣ я видѣлъ, какъ его жена еще пекла изъ муки лепешки. У насъ еще есть миндаля немного... А у ней, кажется, есть коврикъ и какое-то необыкновенное ожерелье... хрустальное ожерелье — изъ Парижа! Не знаетъ, какая бываетъ мука! И какъ она можетъ кончиться?! Это — солнце обманываетъ, блескомъ, — еще заглядываетъ въ душу. Поетъ солнце, что еще много будетъ праздничныхъ дней чудесныхъ, что вотъ и виноградный, «бархатный», сезонъ подходитъ, понесутъ веселый виноградъ въ корзинахъ, зацвѣтутъ виноградники цвѣтами, осенними огнями... Всегда будетъ празднично-голубое море, съ серебряными путями.

Умѣетъ смѣяться солнце!

А вотъ, скоро, вѣтры сорвутся съ Чатырдага, налягутъ на Палатъ-Гору снѣговыя тучи, отъ чернаго Бабугана натянетъ ливни, — тогда...

А теперь... — яхонты вонъ горять на лозахъ, теплые, въ нѣжномъ матѣ... золотится чаушъ, розовая шасла, мускатъ душистый... какъ смородина черная — мускатъ черный, александрійскій... На цѣлую недѣлю сладкаго хлѣба хватить! цвѣтнаго хлѣба!..

Я иду по рядамъ, выбираю на супъ листочки, осматриваю грозди. Ночью собаки были — погрызли и разбросали. Голодные собаки? Врядъ ли: собаки всѣ ночи пируютъ въ балкѣ, гдѣ пала лошадь. Я слышала, какъ онѣ тамъ рычали. Конечно, это курочки и павлины, — день за днемъ добиваютъ мои запасы.

Пусть винограда мало, но какъ чудесно! Вѣдь это мой трудъ, послѣдній. Весной я окопалъ каждую лозу, выломалъ жировыя плети, вбилъ колья въ шиферъ и подвязалъ побѣги. Тогда... — какъ это давно было! — у этого кривого кола я сидѣлъ, смотрѣлъ на синюю чашу моря, глядѣвшагося въ трорывѣ. Пылала синимъ огнемъ чаша. Великій ее создалъ: пей глазами!

И я ее пилъ... сквозь слезы.

Х Л Ъ Б Ъ Н А С У Щ Н Ы Й

Я поднимаюсь изъ балки съ ворохомъ виноградныхъ листьевъ.

Хлѣбъ насущный!

— Съ добрымъ утромъ!

А, голосокъ знакомый! Стоитъ босоногая Ляля за кипарисомъ — восьмилѣтка, косить глазомъ. На ней — единственное ея — бѣлая кофточка и красная юбка, съ весны самой. Прозрачная она, хрупкая, бѣленькая, хотъ и всегда на солнцѣ. Свѣтлые глазки ея стрѣляютъ — русскіе глазки, умные. Къ Бабугану стрѣльнули — и поймали:

— Глядите, автомобиль на Ялту! Вчера цѣлахъ три прокатило! Это зеленыхъ ловють...

— Все-то знаешь! А кто такіе эти — зеленые?

— А которые не сдаются... въ лѣсахъ по горамъ хоронются... я знаю.

Крутятся по лѣснымъ холмамъ облачко, бѣжить дальше. Доносить трескуче-дробно: катить автомобиль невидный.

Перескочили на виноградникъ:

— Глядите-ка, опять въ виноградникъ Павка былъ! перышко потерялъ... А у васъ сегодня «Тамарка» миндаль сжевала!..

— Значить, миндальное молоко будетъ.

Смѣется Ляля слабымъ смѣшкомъ, не какъ раньше. А глаза не смѣются, — выискивають дали. И глаза свѣтло-синіе, какъ дали.

— У Минца... корову вчера угнали... — говорить Ляля робко.

— Слыхаль. А «Безрукій» рыженькую собачку съѣлъ?

— Какая къ вамъ-то все прибѣгала, хвостики пу-
кетикомъ. Полякъ... что ему! Они все ѣсть могутъ.
Онъ и кошку у него заманилъ! ей-богу! — спѣшить
сообщить Ляля. — У него клѣтка есть, съ такой
гирькой... на ночь привѣситъ конятинки — хлопъ!
Слесарь... Мнѣ — говорить — теперь наплевать на
голодь, кошками промудрую! А что, вкусныя кошки?

— Ничего, будто. А ты какъ... ѣла сегодня?

— Ёли... — нетвердо говоритъ Ляля и смотритъ
въ балку.

— Та-акъ... Значить, ёли... Вѣрно?

— Вотъ придетъ няня... — краснѣетъ она, ка-
таетъ ногой кипарисовую шишку. — Давайте, я по-
несу... Листу-то ско-олька-а!

Она ни за что не скажетъ, что не ёли, что по-
несла няня продавать коврикъ.

— А Рыбачиха-то не сдюжила, продали корову-
то, «Маньку»! У нихъ очень семейство большое, ре-
бятъ что опять...

Она говоритъ, какъ взрослая, — всегда серьезна.
Пытливая у ней голова: все знаетъ, что дѣлается въ
округѣ, въ городкѣ, у моря.

— Еще что скажешь?

Она смущенно стоитъ у порога кухни, третъ
одну ногу о другую, слѣдитъ, какъ кромсаю листъ.

— Индюшка-то ваша, вчера у доктора на тычкѣ
была, чашку въ кухнѣ расколотила!.. — коситъ Ляля
на меня глазомъ, — не поговорю ли съ ней объ ин-
дюшкѣ, — но я молчу. Поинтереснѣй надо? — А у
Вербь-то какое горе!

— А что такое?

Она вспыхиваетъ, поблескиваетъ глазами: она
довольна. Складываетъ на груди руки, какъ ея мать-
няня, и начинаетъ сокрушенно:

— А какъ же... этой ночью у нихъ гуся украли!

— Да ну-у?

— Украл, какъ же... и голоску не подаль. Да гляньте воньте... только одинъ гусь гуляетъ!..

Отъ кухни всю Вербину горку видно. Вѣрно: одинъ только гусь гуляетъ. За нимъ павлинь ходитъ, землю долбитъ.

— Охъ, некому больше, какъ дядя Андрей... — шопоткомъ говорить она и глядитъ черезъ балку: за пустыремъ павлиньимъ — невидная за горбомъ «Тихая Пристань». — Ужъ такой-то вредный мужикъ! Некому, какъ ему. Слышимъ ночью — ужъ такъ-то жаренымъ гусемъ пахнетъ, не продыхнуть! А это къ намъ вѣтеркомъ наноситъ, отъ нихъ вѣдь вѣтеръ-то по ночамъ, отъ Бабугана... Такъ-то шкварочками... да салцею... ужась!

Я слышу, какъ во рту у Ляли полно слюны, какъ она дѣлаетъ горломъ. Надо ее отвлечь:

— А что такое случилось... учительница вчера Вербененка отчитывала? Не слыхала?

— Да какъ же! — оживляется Ляля и опять подбираетъ руки. — Идетъ Прибытка, учительница... изъ городу шла. Идетъ Амидовымъ виноградникомъ, а ужъ къ ночи было. А она плохо видитъ, въ пинсѣхъ... Собаки, — сперва думала... А какъ пила хрипить! Подошла поближе, глядитъ... а это Вербенята — озорники хо-о-рошую грушу пилуютъ! Садовую грушу, Бэру... вотъ такія на ней груши! Ну, а теперь никакого порядку, всѣ плетни разворочены, хоть скрозь гуляй... «Вы что тутъ дѣлаете?!.. рази можно пилить садовое дерево?!» — какъ заругалась! Они — ти-катъ! Вѣдь не можно садовое дерево? сколько ухodu было... А стра-ху нѣтъ. Ужъ о-на ихъ начитывала!..

— Вотъ что, газетка... Вотъ тебѣ маленькая лепешка... подѣлишься съ Володей.

Она вся вспыхиваетъ и штытиса, а глаза не могутъ оторваться отъ лепешки. Она даже отмахивается въ испугѣ:

— Ай, что вы... да не надо, что вы... Ну, зачѣмъ же... не надо. У насъ же есть же...

Ее надо поймать за плечо и дать насильно.

— Ну, зачѣмъ это... у самихъ мало... Ну, спасибо вамъ... ба-льшое спасибо! ба-а-льшое... — смущенно захлебывается Ляля, разглядывая лепешку, и все пятится, пятится въ кипарисъ.

Сначала она отходить тихо, сдерживаетъ себя, — и вдругъ, помчится-помчится! Мелькнетъ за кипарисами красная юбочка, голыя ноги, отшлифованныя загаромъ, блеснуть у обрыва въ балку, — и слышится придушенный голосъ: «Володя! Володичка!» Я знаю, что сейчасъ появится на моей границѣ, за колючей оградой, пятилѣтній бѣлоголовый Володя — благодарить. Вѣжливости ихъ учить старая барыня, живавшая въ Парижѣ... Вотъ ужъ и появляется онъ подъ своими дубками, за моимъ садомъ, въ бѣлой, пестро заплатанной рубашкѣ, въ штанишкахъ — наполовину коричневыхъ, изъ барыниной кофты, наполовину своихъ, бѣлыхъ, — кричить звонко-звонко: — Ба-а-ль-шо-е!.. спа-сибочко... ба-аль-шо-е!..

Есть еще дѣтскіе голоски, есть ласка. Теперь люди говорятъ срыву, нетвердо глядятъ въ глаза. Начинаютъ рычать иные.

Я выпускаю куръ, индюшку съ курочками. Отнынѣ и до... — пусть до завтра! — это наше родное, кому открываешь душу. Свидѣтели нашего умирания. Все повѣряешь имъ, и онѣ такъ умѣютъ слушать!

Проволочнымъ крючкомъ, черезъ отдушину наверху, вылавливаю я колъ, подпирающій изнутри дверку, — хитрый запоръ голоднаго времени! — и съ гуломъ сыплется на меня онѣмѣвшая за ночь птица.

Живы, мои родныя! съ новымъ утромъ!

Онѣ кипятъ подъ ногами, не давая ступить, заглядываютъ въ лицо и въ руки. Зерна! зерна! Онѣ бѣгаютъ за мной стайкой, вывертываютъ шейки, не

чуя, что подъ ногами, спотыкаются набѣгу, подпрыгиваютъ, какъ собачки, мечутся въ безпокойствѣ: поставить ли передъ ними чашки? Носится поджарая, подтянутая индюшка — бутылочка на ножкахъ:

...Пуль-фьё... пуль-фьё...

Эхъ, вы, горевая птица! Ты, бѣленькая «Торпедка», совсѣмъ ослабла: стоишь, пленкой затягиваешь глазки... И ты, «Жемчужка», невесела. А ты, «Жаднюха», упомянула оставленную вчера кефалью голову, которую принесла изъ балки, всѣми исклеванную, и такъ же упрямо долбишь! Поди ко мнѣ на руки, маленькая, пошепчи на ухо... А, ты засматриваешь въ кармашекъ, гдѣ, помнишь, когда-то лежали зерна... Тамъ когда-то и часы лежали... Вотъ, есть у меня для тебя немного... Ну? разъ, два... десять... двѣнадцать зеренъ! Чего же долбишь въ пустую руку? Ну, что же мнѣ вамъ сказать? какую новость? Вотъ. Дошло и до васъ дѣло. За горкой внизу живутъ «дяди», которые любятъ кушать... и курочекъ любятъ кушать! Какъ бы не пришли за вами, отбирать «излишки»! Пять курочекъ еще можно, а у меня васъ больше. Вотъ, пожалуй, и отберутъ у меня «излишки»... Ну, не будемъ думать.

Я даю имъ пареный листъ въ чашкахъ. Онѣ дерутся изъ-за него, вытаскиваютъ мохрами, прячутъ, давятся, набиваютъ зобы. Стоять и долбить въ пустыя чашки. А ястреба уже стерегутъ по балкамъ.

Смотрю я, думаю, вспоминаю... хочу осмыслить... Сонъ кошмарный? въ плѣнъ къ дикарямъ попался?... Они все могутъ! Не могу осмыслить. Я ничего не могу, а они все могутъ! Все у меня взять могутъ, посадить въ подвалъ могутъ, убить могутъ! Уже убили! Не могу осмыслить. Или я одичалъ, разучился думать? разучился мыслить?! А для чего теперь нужно мыслить! Мыслилъ, и вотъ — на одной чашкѣ съ ними....

Я слышу сигналъ, неистовый голосъ Ляли, — только она такъ можетъ:

— Ай-йу-а-ай!.. — дикий, пустынный крикъ, — похожій на крикъ павлина.

А, налетаетъ ястребъ! Къ осени ястреба лютѣютъ.

Ея крикъ слышенъ на версты — и на морѣ, и по дальнимъ балкамъ. Ястреба ее хорошо знаютъ, красную ея юбку, примѣтную издалика, ея острые глазки, стрѣляющіе по горамъ и въ небо, — боятся и ненавидятъ. Подстерегаютъ ее въ дубовыхъ чашахъ, впиваются хищными зрачками: такъ бы и разорвали! Ее понимаютъ куры, всѣ птицы... Сама она похожа на бѣлую голубку. Закричитъ тревожно, — и всюду по горкамъ поднимаются крики и хлопъ ладошей: вопятъ на своей горкѣ Вербенята, визжитъ Рыбачихино семейство, на пшеничной котловинѣ, на «Тихой Пристани», у Прибытковъ, далеко-внизу, по холмамъ, на умирающихъ дачкахъ, у кого только доживаютъ куры, послѣднее живое. Столько надъ ними дрожали, укрывали, когда ходили отбирать «излишки» — портянки, яйца, кастрюльки, полотенца... Укрыли. А теперь ястребовъ боятся, стервятниковъ крылатыхъ.

Низко плыветъ по балкѣ стервятникъ, завинчивается полетомъ. Палевымъ отливаеъ на его крыльяхъ солнце. Сбилъ его съ ходу неистовый крикъ Лялинь. Летитъ на дубки, за балку, притаивается въ чашѣ.

Теперь я хорошо знаю, какъ трепещутъ куры, какъ забиваются подъ шиповникъ, подъ стѣнки, за-тискиваются въ кипарисы, — стоятъ въ дрожи, вытягивая и вбирая шейки, вздрагивая испуганными зрачками.

Хорошо знаю, какъ люди людей боятся, — людей ли? — какъ тычутся головами въ щели, какъ онѣмѣло роютъ себѣ могилы.

Ястребамъ простится: это ихъ хлѣбъ засушенный.

Вдѣмъ листъ и дрожимъ передъ ястребами! Крылатыхъ стервятниковъ пугаетъ голосокъ Ляли, а тѣхъ, что убивать ходятъ, не испугаютъ и глаза ребенка.

ЧТО УБИВАТЬ ХОДЯТЪ

Кто-то верховой ѣдетъ... кто такое?..

Подымается изъ-за бугра къ намъ, на горку... А, мелкозубый этотъ!.. Музыкантъ «Шура». Какъ онъ себя именуетъ, — «Шура Соколь». Какая фамилія-то лихая! А я знаю, что мелкій стервятникъ это.

Кто сотворилъ стервятника? Въ который день, Господи, сотворилъ Ты стервятника, если Ты сотворилъ его? далъ ему образъ подобія Твоего?.. И почему онъ «Соколь», когда и не «Шура» даже?!

Покорный конекъ возить его по горкамъ, — хрипить, а возить. Низко опустилъ голову, чолка къ глазамъ налипла, взмокшіе бока ходять: трудно возить по горкамъ. Покоренъ конекъ російскій: повезетъ и стервятника, — подъ гору повезетъ и въ гору, хоть на Чатырдагъ самый, хоть на вихоръ Демерджи, пока не сдохнетъ.

Я отворачиваюсь, за кипарисъ кроюсь. Или стыдно мнѣ моихъ лохмотьевъ? моей работы?

Какъ-то, тоже въ горячій полдень, несъ я мѣшокъ съ землею. И вотъ, когда я плелся по камню, — голова моя была камнемъ, — счастье! — выросъ, какъ изъ земли, на конькѣ стервятникъ и показалъ свои мелкіе, какъ у змѣи, зубы, — бѣленькіе, въ черненькой головкѣ. Крикнулъ весело, потряхивая локтями:

— Богъ труды любить!

Порой и стервятники говорятъ о Богѣ!

Вотъ почему я кроюсь: я слышу, какъ отъ стервятника пахнетъ кровью.

Онъ одѣтъ чисто, въ хорошей курткѣ, — а кругомъ всѣ въ лохмотьяхъ. Онъ порозовѣлъ, округлился, налился даже, а всѣ тощаютъ, у всѣхъ глаза провалились и почернѣли лица. Одинъ онъ на конькѣ ѣздитъ, когда всѣ ползаютъ на-карачкахъ. Такой храбрый!

Я давно его знаю, три года. Онъ проживалъ на самой высокой дачѣ, которую называли — «Чайка». Поигрывалъ на рояли. Живутъ мирные дачники — живутъ тихо. Спускаются по балкамъ къ морю — купаться. Любуются на горы — какъ чудесно! Раскланиваются съ округой: «добрый вечеръ»! И, конечно, исправно платятъ. Звонкая была «Чайка», молодая дача. И молодыя женщины на ней жили, — врачи, артистки, — кому необходимъ лѣтній отдыхъ.

И вотъ подошло время. Пришли и въ городокъ люди, что убивать ходятъ. Убивали-пили. Плясали и пѣли для нихъ артистки. Скушно!

— Подать женщинъ веселыхъ, поигристъй!

Подали себя женщины: врачи, артистки.

— Подать... кро-ви!

Подали и крови. Сколько угодно крови!

И вотъ, когда все, какъ трава, прибито, раскатываетъ «Шура-Соколь» на лошаdkѣ. Не даромъ онъ поигрывалъ на рояли, поглядывалъ съ самой высокой дачи, — стервятники приглядываютъ съ верхушекъ! — многіе уже... «высланы на сѣверъ... въ Харьковъ...» — на томъ свѣтъ. А «Шура» кушаетъ молочную кашку, вечерами и теперь поигрываетъ на рояли, перебрался въ дачу поудобнѣй и принимаетъ женщинъ. Расплачивается мукою... солью... Что значитъ-то быть хорошимъ музыкантомъ!

Что же теперь... за топливомъ, по балкамъ?.. Хорошо забраться въ глубокую-глубокую балку, стѣны чтобы отвѣсныя... хорошо, никого-ничего невидно. Но надо и сторожить, чтобы не кинулись куры въ виноградникъ. Съѣсть на откосѣ Виноградной Балки...

сидѣть и думать... О чемъ думать? А гдѣ у меня кресло? Въ моей балкѣ можно думать только о... Ни о чемъ нельзя думать, не надо думать! Завтра будетъ все то же. И дальше — то же. Сиди и смотри на солнце. Жадно смотри на солнце, пока глаза не стали оловянной ложкой. Смотри на живое солнце! А то скоро — вѣтры задуютъ, дожди зарядятъ, загремятъ штормы... Черти начнутъ бить въ стѣны, трясти нашъ домикъ, плясать по крышѣ. Тогда у огонька сидѣть будемъ... Живутъ дикари, и ничего, счастливы! Ничего-то не знаютъ, ничему неучены. Счастливые: нечего имъ лишиться! Читать книги? Вычитаны всѣ книги, впустую вышли. Онѣ говорятъ о т о й жизни... которая уже вбита въ землю. А новой нѣту... И не будетъ. Вернулась давняя жизнь, пещерныхъ предковъ.

Книги... О нихъ я думаю часто. Войдешь въ домикъ — вонъ онѣ, въ темномъ углу лежатъ сиротливой стопкой. Мои «путевыя» книги... Смотрѣть больно. И онѣ уже «высланы» куда-то. И къ нимъ протянулась кровавая лапа.

Когда это было? Вотъ уже годъ скоро. День былъ тогда холодный. Лили дожди — зимніе дожди, съ дремуче-чернаго Бабугана. Покинутые кони по холмамъ стояли, качались. Бѣлѣютъ теперь ихъ кости. Да, дожди... и въ этихъ дождяхъ прѣхали туда, въ городокъ, э ти, что убивать ходятъ... Вездѣ: за горами, подъ горами, у моря, — много было работы. Уставали. Нужно было устроить бойни, заносить цифры для баланса, подводить итоги. Нужно было шикнуть, доказать ретивость посланнымъ, показать, какъ «железная метла» мететъ чисто, работаетъ безъ отказу. Убить надо было очень много. Больше ста двадцати тысячъ. И убить на бойняхъ.

Не знаю, сколько убиваютъ на чикагскихъ бойняхъ. Тутъ дѣло было проще: убивали и зарывали. А то и совсѣмъ просто: заваливали овраги. А то и

совсѣмъ просто-просто: выкидывали въ море. По волѣ людей, которые открыли тайну: сдѣлать человѣчество счастливымъ. Для этого надо начать — съ человѣчьихъ боенъ.

И вотъ — убивали, ночью. Днемъ... спали. Они спали, а другіе, въ подвалахъ, ждали... Цѣлыя арміи въ подвалахъ ждали. Юныхъ, зрѣлыхъ и старыхъ, — съ горячей кровью. Недавно бились они открыто. Родину защищали. Родину и Европу защищали на поляхъ прусскихъ и австрійскихъ, въ степяхъ русскіихъ. Теперь, замученные, попали они въ подвалы. Ихъ засадили крѣпко, морили, чтобы отнять силы. Изъ подваловъ ихъ брали и убивали.

Ну, вотъ. Въ зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, въ подвалахъ Крыма свалены были десятки тысячъ человѣческихъ жизней и дожидались своего убійства. А надъ ними пили и спали тѣ, что убивать ходятъ. А на столахъ пачки листовъ лежали, на которыхъ къ ночи ставили красную букву... одну роковую букву. Съ этой буквы пишутся два дорогихъ слова: Родина и Россія. «Расходъ» и «Разстрѣлъ» — тоже начинаются съ этой буквы. Ни Родины, ни Россіи не знали тѣ, что убивать ходятъ. Теперь ясно.

Въ это утро ко мнѣ постучали рано. Не тѣ ли, что убивать ходятъ? Нѣтъ, пришелъ человѣкъ мирный, хромой архитекторъ. Онъ самъ боялся. А потому услуживалъ тѣмъ, что убивать ходятъ...

Вотъ теперь сижу я на краю Виноградной Балки, вглядываюсь въ солнечныя горы... Тѣ ли самыя эти горы, какія были совсѣмъ недавно? На этомъ ли онѣ свѣтъ?!

И вотъ, я вспоминаю...

— Вотъ, пришлось и къ вамъ... — смущенно говорить архитекторъ и не смотреть. — Ужасная погода... высоко живете... Приказали описывать и отбирать книги... Соберутъ и пошлютъ куда-то... Конечно, я понимаю...

Онъ потѣть, несчастный архитекторъ. Онъ работаетъ изъ-за полфунта соломеннаго хлѣба, изъ-за страха.

— Подъ страхомъ преданія... военного трибунала! «вплоть до разстрѣла»!!!....

Онъ смотритъ округлившимися, птичьими, глазами, — а въ нихъ ужасъ.

— Знаю. И швейныя машинки, и велосипеды... Но у меня здѣсь нѣтъ библіотеки! У меня только Евангеліе и двѣ-три мои книги!..

— Я ужъ и не знаю... нужно!..

Архитекторъ, человѣкъ искусства... Онъ не прошелъ мимо. Онъ ревностно ковылялъ подъ дождемъ, по грязи, на горы, черезъ балки, на хромой ногъ, чтобы добить душу. Но ему хочется жить, бѣднягъ, и... онъ доведенъ до точки!

— Я ужъ и не знаю... Ну, хоть росписку дайте... вопросъ неясный... Напишите, что отвѣчаете за ихъ сохранность...

— За мои книги?! Я... за свою работу?!..

Мы — сумасшедшіе?!... Онъ не могъ уйти безъ росписки. Онъ умолялъ словами, глазами, которыми было трудно смотрѣть въ глаза, хромой ногою. И я выдалъ ему росписку.

Мнѣ больно теперь смотрѣть въ полутемный уголъ, гдѣ стопочка книгъ «учтенныхъ». И ты, маленькое Евангеліе! Мнѣ больно, словно и Его я предалъ.

Дожди тогда были... Укрылись дождями горы, свинцовой мутью. Лошади по холмамъ стояли — покинутые кони. Стояли — ждали. И падали. А по одиночимъ дачкамъ ходилъ и ходилъ хромой архитекторъ и ютбиралъ книги... А люди совались головами въ щели. Фу, сонъ кошмарный!..

Не надо думать. Какое жгучее солнце!

Выше подымается, напекаетъ. По горамъ жаровая дымка, — начинаютъ синѣть и мерцать горы. Дви-

жугся, оживаютъ. Смотрять. И солнце — плавится и играть въ морѣ.

Мои огурцы совсѣмъ пожухли и покрутились, рыжія гряды совсѣмъ раздѣлись. Помидоры помертвѣли и обвисли. Курочки ушли въ балки. Павлинъ стоитъ въ тѣни, у своей дачки, — кричать жарко. Изъ балки выбирается «Тамарка», несетъ на горку пустое вымя.

А ты что же, маленькая «Торпедка», не пошла со всѣми?

Стоитъ подѣ кипарисомъ, поклевываетъ головкой, затягиваетъ глазки. Я понимаю: она у х о д и т ѣ. Я беру ее на руки. Какъ пушинка! Что же... такъ лучше. Ну, посмотри на солнце... ты его любила, хоть и не знала, что это. А тамъ вонъ — горы, синія какія стали! Ты и ихъ не знала, а привыкла. А это, сильнее такое, большое? Это — море. Ты, маленькая, не знаешь. Ну, покажи свои глазки... Солнце! И въ нихъ солнце!... только совсѣмъ другое, — холодное и пустое. Это — солнце смерти. Какъ оловянная пленка — твои глаза, и солнце въ нихъ оловянное, пустое солнце. Не виновато оно, и ты, «Торпедка» моя, не виновата. Головку клонишь... Счастливая ты, «Торпедка», — на добрыхъ рукахъ уходишь! Я пошепчу тебѣ, скажу тебѣ тихо-тихо: солнце мое живое, прощай! А сколько теперь большихъ, которые знали солнце, и кто у х о д и т ѣ во тѣмѣ!.. Ни шопота, ни ласки родной руки... Счастливая ты, «Торпедка»!..

Она тихо уснула въ моихъ рукахъ, маленькая незнакомка.

Полдень высокій былъ. Я взялъ лопату. Ушелъ на предѣлъ участка, на тихій уполь, гдѣ пруды камней горячихъ, выкопалъ ямку, положилъ бережно, съ тихимъ словомъ — прощай, и быстро засыпалъ ямку.

Вы, сидящіе въ креслахъ мягкихъ, можетъ быть, улыбнетесь. Какая сентиментальность! Меня это нимало не огорчаетъ. Курите свои сигары, швыряйте

свои слова, премучую воду жизни. Стекутъ юни, какъ отбросъ, въ клоаку. Я знаю, какъ ревниво глядитесь вы въ трескучія рамки листовъ газетныхъ, какъ жадно слушаете бумагу! Вижу въ вашихъ глазахъ оловянное солнце, солнце мертвыхъ. Никогда не вспыхнетъ оно, живое, какъ вспыхивало даже въ моей «Торпедкѣ», совсѣмъ незнайкѣ! Одно вамъ брошу: убили вы и мою «Торпедку»! Не поймете. Курите свои сигары.

Н Я Н И Н Ы С К А З К И

Когда же, наконецъ, солнце потонетъ за Бабуганомъ?! Скорѣй бы... Упадеть ночь, звѣзды стрѣлками будутъ плавать въ морѣ. Только оно и будетъ. Ни дачъ, ни холмовъ, ни балокъ, — темный порогъ за моимъ садомъ, а за порогомъ темное море въ стрѣлкахъ. Повѣрить можно, что гдѣ-то на океанѣ, какъ Робинзоны. Только бы забыться, — и повѣришь. Никто не придетъ, не будетъ давить душу. Кончились люди, только кроткія курочки, павлинь — райская птица... Сѣренькіе «волчки», шичуги, будутъ дѣловито порхать, прятаться въ кипарисахъ, утрами будутъ стрекотать сойки...

Какъ ни старайся — не отмахнешься. Вонъ за изгородью шаги, юпать кто-то... Плохо начался день сегодня.

— Добрый день, баринъ!

Насмѣшка теперь это слово — баринъ! У ней не насмѣшка, а привычка. Это плетется изъ городка со-сѣдка-няня, идетъ — мотается. Одѣта оборванкой, на ногахъ дощечки. Въ рукахъ охапка чубука и шалокъ, которые она набрала дорогой, — все годится. Лицо испитое, желтое, глаза ввалились. Съ такими лицами выходятъ изъ больницы, послѣ тяжелой болѣзни.

Я знаю, что она станетъ жаловаться, облегчать душу, и я не могу не слушать: вѣдь она — отъ народа, и ея слова — отъ народа.

— Что же это теперь будетъ?.. Хлѣбъ-то сегодня... двѣнадцать тысячъ! да и его-то нѣту! На базарѣ ни къ чему не приступишься, чисто всѣ облютъ-ли!...

Она пытается меня округлившимися от тревоги глазами, но... что тут скажешь?

— Иду-гляжу... сидить у Ялы народъ, у пустыхъ воевъ... убиваются — пла-чуть! Чего такое?.. Вонъ что! На перевалѣ остановили-обобрали... все-то-все отняли, кто чего въ степи вымѣнялъ на послѣднее! Открытый разбой пошелъ... И на степи-то, сказываютъ, го-лодь! Куда-жъ это все подѣвалось-то? Да степь-то наша валомъ-завалена была, на годы прямо! Титьти какія дѣла пошли... а! Что ужъ рыбаки наши... вольный, прямо, народъ... а и тѣ заслабли! А какая теперь рыба! Камсы-то ждать... на-весну ей ловиться, энъ когда!...

«Шура Соколь» обѣхалъ горку, наглядѣлся на горы-море, вынулъ серебряный портсигаръ, закурилъ папироску — душистый табакъ ламбатскій. Шажкомъ прогуливаетъ. Нянька поджала тонкія губы, — выжидаетъ, когда проѣдетъ, такъ и прощупываетъ глазами.

— Налился-то какъ... черезъ хлещетъ! По три кружки одного молока ду-етъ! Вотъ ты и погляди... И курочки, и яички, и... И откуда что берется! А ты хоть тутъ подохни!.. Копеечки негдѣ заработать. А бывало-то, бархатный-то сезонъ... Стиркой, бывало... да больше двухъ рублей заработаешь! А на базаръ-то придешь... го-ры! И сала тебѣ, и барашка, и яички... и красненькіе-то, и синенькіе, и... А хлѣбъ-то какой былъ, шу-ухъ-пухомъ!..

Скучно слушать, а она ищетъ у меня утѣшенія какого-то «слова вѣрнаго». Нѣтъ у меня никакого слова. Я хочу оборвать послѣднее, что меня вяжетъ съ жизнью, — слова людскія.

— Ходила въ этихъ вотъ... въ совѣтскихъ садахъ работать... — полфунта хлѣба! да ка-кого! одна мякина. Еще вина полбутылки. А денегъ нѣтъ, не отпечатали! Какъ, говорить, отпечатаемъ, тогда... А говори-ли-то-о!... Озолотимъ на всю поколѣнію! Вотъ и

колѣй, поколѣніе-то оно какое! А мнѣ чего съ дѣтми полфунта? А по садамъ кто работаетъ, съ полбутылки валются... голодные! Ребятишкамъ вино даютъ, мальчишки пьяне-ошеньки... Всѣмъ, значить, помирать скоро?..

И я говорю ей «слово»:

— Что-жъ, и помирать придется.

Она даже бросаетъ хворость.

— Да вѣдь о-бидно! Ни во что вѣдь вышло-то все! Насулили-намурили — берись теперь! Я про себя не говорю, — дѣтей жалко. Старшіе у меня на ноги хоть стали, а эти!.. Барыня ужъ все распромѣняла, вотъ-вотъ сама-то завалится... А что я вамъ скажу... — шопоткомъ говорить нянька, и все оглядывается: — комиса-ра вчера събили, на перевалѣ! Леня вчера въ Ялтахъ былъ, слыхалъ. Продовольственный комисаръ нашъ, на машинѣ ѣхалъ... хотѣлъ съ деньгами на родину тикать! Сичасъ изъ лѣсу выходятъ съ ружьями... отчаянные, не боятся! Ну, конечно, зеленые. Рангелевцы, не признаютъ которые... Стой! Ершовъ фамилія? Все имъ извѣстно! Долой слазь! Жену съ дѣтми не тронули, отойти велѣли. А того сичасъ цѣпами къ машинѣ прикрутили, горючкой полили и зажгли. Сго-рѣлъ! Мы, говорятъ, за народное право, у насъ, говорятъ, до всего досмотрѣ!.. А?!

Она пытается меня жадными глазами, все «вѣрнаго слова» ждетъ. Нѣтъ у меня для нея слова.

— А сичасъ иду по бугорочку, у пристава дачи, лошадь-то зимой пала... гляжу — мальчишки... Чего такое съ костями дѣлаютъ? Гляжу... лежатъ на брюхѣ, копыто гложутъ! грызутъ-урчатъ! Жуть взяла... чисто собачонки. Вотъ подкатило-подкатило, — сблевала, простите сказать... да не ѣмши-то... Ну, вотъ... за коврикъ бархатный три фунтика всего дали ячменьку... а завтра-то чего будемъ?.. Ужъ скорѣй бы!

Она машетъ рукой, забираетъ палки и уходитъ — качается, вотъ-вотъ споткнется. Не чувствуетъ она, что

скоро у ней случится, какъ будетъ варить кашу изъ пшеницы... съ кровью! Или чуетъ? Я теперь вспоминаю... Въ ея глазахъ былъ тогда неподдѣльный ужасъ... Часто говорила она о своемъ Ленѣ, — собирався на степь поѣхать, за что-то добыть пшеницы...

А еще всѣмъ недавно она ждала, что всѣмъ раздадутъ и дачи, и виноградники, всѣмъ, какъ она, «трудящимъ», и будутъ они жить, какъ господа жили. Наше будетъ! Слыхала она «вѣрное слово», какъ оралъ матрость на митингѣ:

— Теперь, товарищи и трудящіе, всѣхъ буржуевъ прикончили мы... которые убѣгши — въ морѣ потопили! И теперь наша совѣцкая власть, которая коммунизмъ называется! Такъ что дожили! И у всѣхъ будутъ даже автонобили, и всѣ будемъ жить... въ ваннахъ! Такъ что не жись, а едрена мать. Такъ что... всѣ будемъ сидѣть на пятомъ этажу и розы нюхать!..

Ну, вотъ. Ступай и бери: и виноградники, и сады, и дачи, все — безхозяйное, все — пустое!

— А вѣдь забыла! — окликаетъ нянька. — Иванъ Михалычъ вамъ кланяться наказали, зайтить хотѣли! На базарѣ попался. Вотъ ужъ страсти! Не узнала и не узнала... — рваный, грязный, на ногахъ тряпки наверхены, еле идетъ съ палкой. Гляжу, — старичокъ какой-то нищій стоитъ у ларя, у грека, кланяется-просить... а грекъ и говоритъ: — «господинъ профессоръ, пожалуйста вамъ!» Въ корзиночку ему три грецкихъ орѣшка положилъ и картошекъ пару. Ма-тушки! Иванъ Михалычъ! А дача-то какая у нихъ была! Я вѣдь на нихъ стирывала, бывало. Книгъ полна комната, и все-то пишутъ! А теперь съ голоду помирають, старенькіе стали. Признали меня и говорятъ: — «Вотъ, Тимофевна, народушко-то нашъ праведный за труды-то мои какъ отблагодарилъ! на пенсію-то мою воробыиный мнѣ паекъ выписалъ!» Вѣдь это какъ сказалъ-то! И вѣрно, что вы думаете... дураки-то мы, ничего не разумѣемъ... Какой-такой воробыиный? —

«А по фунту хлѣба... на мѣсяцъ»! Что вы думаете, вѣрно! — «Вотъ и бумажка съ печатью всенародной прислана». Вынулъ бумажку, греку подаль, а самъ все кланяется, трясется. Сталь грекъ разбирать-читать, еще подошли люди. Вѣрно! По тыщѣ рублей на мѣсяцъ, насмѣхъ! А хлѣбъ-то нонче... двѣнадцать тысячъ фу-унтъ! Говорить стали которые, а тутъ съ ружьемъ подошелъ, прислушалъ. — «Надъ нашей властью смѣешься, старый чортъ?» И всякими словами! — «Тебѣ, говорить, сдохнуть давно пора, а ты еще за народнымъ хлѣбомъ трафишься»! И всѣхъ разогналъ. Да еще грозился подва-ло-мъ! Какой народъ дерзкой... А какая дача-то была-а...

Ушла, наконецъ. Въ глубокую балку уйти? рубить, рубить... А павлинь и тамъ слышенъ. Солнце словно заснуло, за Бабуганъ не хочетъ. А, «Жаднюха» появилась, на мои руки смотреть... Ага, у меня миндалекъ, вотъ что. Я разламываю его на крошечки. Ну, поди ко мнѣ, ласковая моя. Давай-ка, садѣмъ, и я расскажу тебѣ сказочку...

Я усаживаюсь на краю балки, сажаю «Жаднюху» на колѣни и тихо глажу. Она начинаетъ заводить глазки.

...Ну, слушай. Жилъ-былъ Иванъ Михалычъ, писалъ книжки. По этимъ книжкамъ и мы съ тобой учились. Потомъ про Ломоносова писать началъ. Ты, «Жаднюха», даже и про Ломоносова не знаешь, какъ и Тимофевна, хоть ты и умная русская курочка... Тебѣ бы только миндаликъ ѣсть. Ничего, ты честная курочка, и если тебя кормить, ты къ Рождеству непременно отплатила бы мнѣ яичкомъ. Вѣрно? Не спишь, плутишка... Знаю тебя, ты гордая курочка. Говорить только не умѣешь. А если бы ты умѣла говорить... Ну, спи. Съ голоду спится. Такъ вотъ, про Ломоносова... Даже и премію ему дали... Была у насъ въ Питерѣ такая Академія Наукъ... Буржуи, конечно, тамъ всякіе сидѣли, «ученая рухлядь» всякая... Жаль,

далеко ты не ходишь, а то бы послушала, какъ тамъ, внизу, умные парнишки объясняютъ! Ну, вотъ эта самая «ученая рухлядь» за Ломоносова-то премію Ивану Михайлычу дала, медаль золотую. Ну, и... золотую медаль у него грекъ купилъ, который ему орѣшка-то положилъ, или татаринъ тамъ, или еще кто... за пудъ муки. Вотъ ты легонькая какая стала, и Иванъ Михайлычъ тоже... совсѣмъ облегчился, и остались у него только... ничего не осталось, одинъ Ломоносовъ въ головѣ! И сталъ Иванъ Михайлычъ за хлѣбомъ по горамъ лазить, какъ ты по балкамъ. За уроки ему платили щедро: полфунта хлѣба и хорошее полѣно! Чего ты испугалась? Ляля-то кричить... У меня спи спокойно. Не дрожи... Да, полѣно. Очень ужъ онъ полѣну-то радовался! Человѣкъ старый, холодно зимой про Ломоносова-то писать, а за дровами-то въ балку надо. Куда ему зимой въ балку! А скоро и полѣнья перестали давать: некому и учиться стало, голодъ. И вотъ, на прошеніе Ивана Михайлыча, — прислали ему бумагу, пенсію! По три золотника хлѣба на день! А знаешь ли что, «Жаднюха»... да ужъ не спутали ли они? Можетъ это они про тебя прознали, что на горкѣ такая умная курочка живетъ-голодаетъ... да тебѣ и назначили?.. Ты чего опять? мало, что ли?! три-то золотника?!.. Тебѣ бы, дурашкѣ, гордиться надо... Вотъ и рассказалъ тебѣ сказочку. Ну, гуляй. Ишь какъ «Лярва»-то прекрасно гуляетъ! Гуляй и ты.

Ковыляеть, по павлиньему пустырю, за балкой, хромая рыжая кляча — остовъ. Пройдетъ шага два — и станеть. Понюхаетъ жаркій камень, отсохшее, колкое перекасти-поле. Еще ступить: опять камень, опять желтенькая колючка. Отведеть голову на волю — море: синее и пустое. Отвернется, ступить. На ея бокахъ-ребрахъ грязной мѣдью отсвѣчиваетъ солнце.

Это — кобыла «Лярва», съ дачи подъ пустыремъ, гдѣ старый Кулешъ стучить колотушкой по желѣзу,

выкраиваетъ изъ стараго желѣза новыя печки, — въ степь повезутъ обмѣнивать на картошку. Давно не запрягаетъ ее хозяинъ. Надорвалась весною, какъ возила тощенькаго старичка-покойничка на кладбище, — съ тѣхъ поръ хирѣетъ. Ходить старуха хитро, упасть боится. Упадетъ — не встанетъ. Приглядывается къ ней Вербина собака, Бѣлка: чуетъ.

Умирающіе кони... Я хорошо ихъ помню.

Осенью много ихъ было, брошенныхъ ушедшей за море арміей добровольцевъ. Они бродили. Сѣрые, воронные, пѣдые, пѣгіе... Ломовые и выѣздные. Верховые и подь запряжку. Молодые и старые. Рослые и «собачки». Лили дожди. А кони бродили по виноградникамъ и балкамъ, по пустырямъ и дорогамъ, ломались въ сады, за колючую проволоку, рѣзали себѣ брюхо. По холмамъ стояли-ожидали — не возьмутъ ли. Никто ихъ не бралъ: боялись. Да и кому на зиму нужна лошадь, когда нѣтъ корму? Они подходили къ разбитымъ вилламъ, протягивали головы поверхъ заборовъ: эй, возьмите! Подъ ногами — холодный камень да колючка. Надъ головой — дождь и тучи. Зима вступаетъ. Вотъ-вотъ снѣгомъ съ Чатырдага кинетъ: эй, возьмите!!

Я каждый день видѣлъ ихъ на холмахъ — тамъ и тамъ. Они стояли недвижно, мертвые и — живые. Вѣтеръ трепалъ имъ хвосты и гривы. Какъ конскія статуи, на рыжихъ горахъ, на черной синевѣ моря, — изъ камня, изъ чугуна, изъ мѣди. Потомъ они стали падать. Мнѣ видно было съ горы, какъ они падали. Каждое утро я замѣчалъ, какъ ихъ становилось меньше. Чаше кружились стервятники и орлы надъ ними, рвали живьемъ собаки. Долше всѣхъ держался вороной конь, огромный, — должно быть, артиллерійскій. Онъ зашелъ на гладкій бугоръ, поднявшійся изъ глубокихъ балокъ, взошелъ по узкому перешейку и — заблудился. Стоялъ у края. Дни и ночи стоялъ, лечь боялся. Крѣпился, разставивъ ноги. Въ тотъ день

дуль крѣпкій нордъ-остъ. Конь не могъ повернуться задомъ, встрѣчалъ головой нордъ-остъ. И на моихъ глазахъ рухнулъ на всѣ четыре ноги, — сломался. Повелъ ногами и потянулся...

Если пойти на горку — глядѣть на городъ, увидишь: бѣлѣютъ на солнцѣ кости. Добрый былъ конь, — артиллерійскій, рослый.

«Лярва» подобралась къ верандѣ, гдѣ вонючія уксусныя деревья. Вытянулись деревья — не даются. Такъ и будетъ стоять, пока не возьметъ хозяинъ. Ходить за ней павлинь, поглядываетъ на ея хвостъ-мочалку, — а пока землю долбитъ.

Некуда глаза спрятать...

По горамъ тѣни отъ облачковъ, играютъ тѣнями горы. Посвѣтлѣютъ и потемнѣютъ.

ПРО БАБУ-ЯГУ

Я сижу на обрывѣ. Черная стѣна шифера падаетъ въ глубину, — тамъ въ ливни шумятъ потоки. Видѣ отсюда — на весь «Уголокъ» внизу. Тамъ, вдоль пустыннаго пляжа, уныло маячатъ дачки, создававшіяся любовно, упорнымъ трудомъ всей жизни, — тихій уютъ на старость. Тамъ — весь «Профессорскій Уголокъ», съ лелѣянными садами, гдѣ сажались и хохотались милыя розы, привитыя «собственною рукой», гдѣ кипарисами отмѣчались этапы жизни, гдѣ мысль покоряла камень. Гдѣ вы теперь, почтенные создатели, — профессора, доктора, доценты, — насельники дикаго побережья земли татарской, близорукие и наивные, говорившіе «вы» — камнямъ? кормильцы плутовъ-садовниковъ, покорно платившіе по счетамъ мошенниковъ всѣхъ сортовъ, занятые «прохожденіемъ Венеры черезъ дискъ солнца», сторонники «витализма и механизма», знатоки порфиристовъ и діоритовъ, продумыватели гипотезъ, вскрыватели «міровой тайны»? Продумали вы свои дачки и винограднички! Безъ васъ рѣшены всѣ тайны. Ваши дворники волокутъ на базаръ письменные столы и кресла, кровати и умывальники; книги ваши забралъ хромой архитекторъ, а садовники ободрали ваши складные стулья и нашили себѣ штановъ изъ парусины. Плюнули въ кулаки, — махомъ однимъ сволокли «рай» на землю! Гдѣ вы теперь, разсѣянные мечтатели?..

Бѣжали — зрячіе. Подъ землю ушли — слѣпые. «Читаютъ» что-то за воблу, табакъ и полфунта соли — уставшіе.

Дачки, дачки... Изъ той вонъ, сѣрой, съ черепичной крышей, взяли семерыхъ моряковъ-офицеровъ, довѣрчивыхъ, — угнали за горы и... «выслали на Сѣверъ»... А въ этой, бѣлой и тихой, за кипарисами, милый старичокъ жилъ, отставной казначей какой-то. Любилъ посидѣть у моря, бычковъ ловить. Пятилѣтняя внучка камушки ему приносила:

— А вотъ сельдоликъ, дѣдя!

— Ну какой это сердоликъ! Нѣтъ, не сердоликъ это, а.... шпать!

— Спать... А какой сельдоликъ, дѣдя?

— Такой... прозрачный, какъ твои глазки. А сейчасъ мы бычка изловимъ... Вотъ и поищи сердолика... а вотъ и бычокъ-шельмець!

Любилъ раннимъ утромъ, когда такъ хорошо дышать, пойти съ травяной сумочкой на базаръ, за помидорчиками и огурчиками, за брынзой... Такъ и попался съ сумочкой. Пришли люди съ красными звѣздами, а онъ, чудакъ, за помидорчиками на базаръ идетъ, на синее море любитъ, синій дымокъ пускаетъ.

— Стой, тебѣ говорятъ, глухой чортъ! Почему шинель сѣрая, военная? погонная?!..

— А... донашиваю, голубчики... казначеемъ когда-то былъ...

— Чѣмъ занимаешься?

— Бычковъ ловлю... да вотъ, на базаръ иду. На пенсію я теперь, отъ Бѣлаго Креста пенсію получаю... вольный теперь казакъ.

— Съ Дону казакъ? За нами!

И взяли старичка съ сумочкой. Увезли за горы. Сняли въ подвалѣ заношенную шинель казачью, сняли бѣльишко рваное, и — въ затылокъ. Плакала внучка въ пустой дачкѣ, жалѣли ее люди: некому теперь за помидорчиками ходить, бычковъ ловить... Чего же, глупая, плакать?! За дѣло взяли: не ходи за помидорчиками въ шинели!

Некуда глаза спрятать...

Вонь, подъ Кастелью, на виноградникахъ, бѣлый домикъ. До него версты три, но онъ виденъ отчетливо: за нимъ черные кипарисы. Какіе юттуда виды, море какое, какой тамъ воздухъ! Тамъ рано расцвѣтають подснежники, бѣлый фарфоръ кастельскій, и виноградъ поспѣваетъ раньше, — отъ горячаго камня-діорита, — и фіалки цвѣтутъ на цѣлую недѣлю раньше. А какія тамъ бываютъ утра! А сколько же тамъ дроздовъ черныхъ поетъ весною, и какъ тамъ тихо! Никто ни пройдетъ, ни проѣдетъ за день. Вотъ гдѣ жить-то!..

Вчера ночью пришли туда — рожи въ сажѣ. Повернули женщинъ носами къ стѣнкѣ: не подымать крику! Только развѣ Кастель услышитъ... Послѣднее забрали: умирайте. А на прощанье ударили прикладомъ: помни! А этой ночью вонь за той горкой...

Поторкиваетъ-трещить по лѣсистымъ холмамъ — катить-мчить. Автомобиль на Ялту? Пылить по невидимой дорогѣ. Въ горы, въ лѣса уходитъ. Автомобили еще остались, кого-то возять. Дѣла, конечно. Безъ дѣла кто же теперь кататься будетъ!

Я смыкаю глаза въ истомѣ, дремотно, сквозь слабость, слышу: то наплываетъ, то замираетъ торканье. Грохотъ какой ужасный, словно падаютъ горы. Или это кровью въ ушахъ гудитъ, шумитъ водопадами въ головѣ... Съ чего бы это? Кружится голова — вотъ-вотъ упадешь, сорвешься. А, не страшно. Теперь ничего не страшно.

Я опираюсь на кулаки, вглядываюсь къ горамъ сквозь слабость. Зеленое въ меня смотритъ, въ шумахъ, — дремучее... Погасаетъ солнце, въ глазахъ темнѣетъ... Ночь какая упала! Весь Бабуганъ заняла, дремучая. Дремучіе боры-лѣса по горамъ, стѣна лѣсная. Это давніе, тѣ лѣса. Ихъ корни вездѣ въ землѣ, я ихъ вырубаю мукой. О, какіе они дремовые, — холодомъ отъ нихъ вѣетъ, лѣснымъ подваломъ! Грызть.

продираться через них надо, желѣзнымъ зубомъ. Шумить-гремять по горамъ, по чернымъ лѣсамъ-дубамъ, — грохотъ какой гудящій! Валить-катить Баба-Яга въ ступѣ своей желѣзной, пестомъ погоняетъ, помеломъ слѣды замечаетъ... помеломъ желѣзнымъ. Это она шумить, сказка наша. Шумить-торкаетъ по лѣсамъ, мететъ. Желѣзной метлой мететъ...

Гудить въ моей головѣ черное слово — «метлой желѣзной!» Откуда оно, это проклятое слово? кто его вымолвилъ?.. «Помести Крымъ желѣзной метлой»... Я до боли хочу понять, откуда это. Кто-то сказалъ недавно... Я срываю съ себя одолѣвшую меня слабость, размыкаю глаза... Слѣпящее солнце стоитъ еще высоко надъ раскаленной стѣной Кушкаи, зноемъ курятся горы. Катить автомобиль на Ялту... Да гдѣ же сказка?

Вотъ она, сказка-явь! Пора, наконецъ, привыкнуть.

Я знаю: изъ-за тысячи верстъ, по радіо, долетѣло приказъ-слово, на синее море пало:

«Помести Крымъ желѣзной метлой! въ море!»

Метутъ.

Катить-валить Баба-Яга по горамъ, по лѣсамъ, по доламъ, — желѣзной метлой мететъ. Мчится автомобиль на Ялту. Дѣла, конечно. Безъ дѣла кто же теперь кататься будетъ?

Это они, я знаю.

Спины у нихъ — широкія, какъ плита, шеи — бычачьей толщи; глаза тяжелые, какъ свинецъ, въ кровяно-масляной пленкѣ, сытые; руки-ласты, могутъ плашмя убить. Но бываютъ и другой стати: спины у нихъ — узкія, рыбы спины, шеи — хрящевый жгутъ, глазки востренькіе, съ буравчикомъ, руки — цапкіе, хлесткой жилки, клещами давятъ...

Катить автомобиль на Ялту, петлить петли. Кружатся горы, проглянетъ и уйдетъ море. Высматрива-

ють лѣса. Приглядывается солнце, помнить: Баба-Яга въ ступѣ своей несется, пестомъ погоняетъ, помеломъ слѣдъ замечаетъ... Солнце всѣ сказки помнить. И добѣла раскаленная Кушкая, плакать горный. Вписываетъ въ себя.

Время придетъ — прочтется.

СЪ ВИЗИТОМЪ

Опять я слышу шаги... А, какой день сегодня!

Кто-то движется за шиповникомъ, стариковски покашливаетъ, подходитъ къ моимъ воротцамъ. Странная какая-то фигура... Неужели — докторъ?!

Онъ самый, докторъ. Чучело-докторъ, съ мѣшко-виной на шеѣ, — вмѣсто шарфа, съ лохматыми ногами. Старикъ докторъ, Михайла Васильичъ, — по бѣлому зонтику признаешь. Правда, зонтикъ теперь не совсѣмъ бѣлый, въ заплаткахъ изъ дерюжки, — но все же зонтикъ. И за нищаго не сойдетъ докторъ: въ пенснѣ — и нищій! Впрочемъ, что теперь не возможно?!

Да, докторъ. Только не тотъ старичокъ-докторъ, у котораго индюшка расколотила чашку, — тотъ на самомъ тычкѣ живетъ, повыше, — а другой, нижній докторъ, изъ садовъ миндальныхъ. Чудесные у него сады были! Жилъ онъ десятки лѣтъ въ миндальныхъ своихъ садахъ, жилъ одиноко, глухо, со старухой нянькой, съ женой и сыномъ. Химіей занимался, вегетарианиль, опыты питанія надъ собой и семьей дѣлалъ. Чудакъ былъ докторъ.

— А, докторъ!..

— Добрый день. Вотъ и къ вамъ, съ визитомъ. Хорошо здѣсь у васъ, высоко... далеко... не слышно...

— А чего слушать?..

— Мнѣ доводится-таки слушать... матросики у меня сосѣди, съ морского пункта, за моремъ наблюдаютъ. Ну, и... приходится слушать всякіе по-этические разговоры, эту самую «словесность». Да, языкъ

нашъ о-чень богатый, звучный... Какъ у васъ тихо! никакихъ-такихъ звуковъ, въ сторонѣ отъ большой дороги. Да у васъ, прямо, мо-литься можно! Горы да море... да небо...

— Есть и у насъ звуки и... знаки. Прошу, докторъ!

Мы садимся надъ виноградной балкой — въ дневномъ салонѣ.

Эй, фотографъ! бери въ аппаратъ: картинка! Кто эти двое, на краю балки? эти чучела человѣчи? Не угадаешь, заморскій зритель, въ пиджакахъ, смокингахъ и визиткахъ, бродящій безпечно по авеню, и штрассамъ, и стриттамъ. Смотри, что за шикарная обувь... отъ Пиронэ, чортъ возьми! отъ поставщикъ короля англійскаго и президента французскаго, отъ самого чорта въ стулѣ! Туфли на докторѣ изъ веревочнаго половика, прохвачены проволокой отъ электрическаго звонка, а подошва изъ... кровельнаго желѣза!

— Практичная штука, мѣсяцъ держить. На постолы татарскіе не могу сбиться, а всѣ мои «европейскіе», сапоги и ботинки... тютю! Слыхали, — все у меня изъ-я-ли, всѣ «излишки»?.. Какъ у насъ раз-дѣ-вать умѣютъ! ка-акъ у-мѣ-ютъ!.. что за народъ способный!..

Я слыхалъ и другое. Отняли у доктора и полфунта соломистаго хлѣба, паякъ изъ врачебнаго союза.

— Да, кол-ле-ги... Говорятъ коллеги, что теперь «жизнь — борьба», а практикой я не занимаюсь! А «нетрудящійся да не ястъ»! И апостола за бока, на потребу если...

Онъ смотритъ совсѣмъ спокойно: жизнь уже за порогомъ. Совсѣмъ бѣлая, кругло подстриженная борода придаетъ его стариковскому лицу мягкость, глазамъ — уютность. Лучистыя морщинки у глазъ и восковой лобъ въ складкахъ дѣлаютъ его похожимъ

на древне-русского старца: былъ когда-то такимъ Сергій Преподобный, Серафимъ Саровскій... Встрѣтъ у монастырскихъ воротъ — подашь семитку.

Докторъ немного странный. Говорятъ про него — чудашный. Продалъ недавно участокъ миндального сада съ хорошимъ домомъ, выстроилъ себѣ новый домикъ, «изъ лучинокъ», а остатокъ денегъ вымѣнялъ на катушки нитокъ, на башмаки и на платье.

— Въдѣ деньги скоро ничего не будутъ стоить!

И вотъ, у него отняли всѣ катушки, всѣ штаны и рубашки, — всѣ «излишки». Въ этомъ году онъ похоронилъ старуху-няньку, сумасшедшаго сына Федю и жену — недавно.

— Наталья Семеновна моя всегда была строгая вегетарианка, — и вотъ, цингой заболѣла. Последніе дни, — все равно, думаю, опытъ конченъ! — купилъ я ей на последнее барашка, котлетки сдѣлалъ... Съ какимъ восторгомъ она котлетку съѣла! И лучше, что померла. Лучше теперь въ землѣ, чѣмъ н а землѣ.

У доктора дрожать руки, трясется челюсть. Губы его бѣлесы, десны синеваты, взглядъ мутный. Я знаю, что и онъ — у х о д и т ъ. Теперь на всемъ лежитъ печать у х о д а. И — не страшно.

— А слышали, какой я ей оригинальный гробъ справилъ? — прищурился-усмѣхнулся докторъ. — Помните, въ столовоѣ у насъ былъ такой... угольникъ? орѣховый, массивный? Абрикосовое еще варенье стояло... изъ собственныхъ абрикосовъ. Ахъ, что за варенье было! Четыре банки о н и этого варенья взяли, все, что было. Конечно, абрикосовъ они не растили, варенья этого не варили, но... они тоже хотятъ варенья, а потому!.. Конечно, это уже другая геометрія.. Эвклидъ-то уже, говорятъ, провалился съ трескомъ, и теперь, по Эйнштейну... Да, о чемъ это я..? Вотъ такъ память!..

Докторъ потираетъ вспотѣвшій лобъ и смотритъ виновато-жалко. Я его навожу на мысли.

— А, угольникъ... Наталья Семеновна очень его цѣнила... приданое вѣдь ея было! И звали мы его всѣ — «Абрикосовый угольникъ»! Понимаете вы отлично, какъ въ каждой семьѣ милыя условности свои есть, интимности... поэзія такая семейная, ей одной только и понятная! Въ вещахъ, вѣдь, часть души человѣческой остается, прилипаетъ... У насъ еще диванъ былъ, «Костей» звали... Студентъ-репетиторъ на немъ спалъ, Костя. И «Костю» забрали... Забрали у меня, напимѣръ, портретъ отца-генерала... единственное воспоминаніе! «Генерала забрать!» Забрали! И генераль-то мирный, ботаникой занимался...

— Такъ вы про угольникъ, докторъ...

— Да-да... Когда мы еще молодые съ ней были... Неужели это было?!.. Лѣтъ тридцать тому, пріѣхали мы сюда, и я засадилъ пустырь миндалями, и всѣ надо мной смѣялись. Миндальный докторъ! А когда садъ вошелъ въ силу, когда зацвѣлъ... сонъ! розовато-молочный сонъ».. И Наталья Семеновна, помню, сказала какъ-то: — «хорошо умереть въ такую пору, въ этой цвѣточной сказкѣ»! А умерла она въ грязь и холодъ, въ домѣ ограбленномъ, оскверненномъ... Да, со стеклянной дверцой, на ключикъ... Право, нисколько не хуже гроба! Стекло я вынулъ и забралъ досками. Почему непременно шести-гранникъ?!.. Трехгранникъ и проще, и символично: три — едино! Подъ бока чурочки подложилъ, чтобы держался, — совсѣмъ удобно! Купить гробъ — не осилишь, а напрокатъ... — теперь напрокатъ берутъ, до кладбища прокатиться!.. а тамъ выпрастываютъ... — нѣтъ: Наталья Семеновна была въ высшей степени чистоплотна, а тутъ... въ родѣ постели вѣчной, и вдругъ изъ-подъ какого-нибудь венерика-кошкѣмъ или еще хуже! А тутъ свое, и даже любимымъ вареньемъ пахнетъ!..

И онъ заперъ свою Наталью Семеновну на ключикъ.

— Хотѣли бандажъ мой взять! ремни приглянулись... Забыли! А у меня бандажъ... по моему рисунку у Швабе сдѣланъ! Теперь ни Швабе, ни... одинъ Грабе! Все забрали. Старухины юбки, нянькины, — и тѣ взяли. — «Я, — говорить, — трудомъ пошила!»! — Швырнули одну: — «ты, — говорятъ, — раба»! — Всѣ гармоньи взяли. Я тулякъ, еще съ гимназіи полюбилъ гармонью... Концертныя были, съ серебряными ладами... Затряслись даже, какъ увидали... Гармонь! Тутъ же и перебирать одинъ принялся... польку..

Штаны на докторѣ — не штаны, а фантастика: по желтому полю цвѣточки въ клѣткахъ.

— Изъ фартуковъ няниныхъ, что осталось. А внизу у меня дерюжина, да только въ краскѣ, маляры объ нее кисти, бывало, вытирали. А пиджачокъ этотъ еще въ Лондонѣ былъ купленъ, износу нѣтъ. Цвѣтъ, конечно, залакировался, а былъ голубиный...

Я всегда думалъ, что пиджакъ черный, съ кофейной искрой.

— Это все шутяки, а вотъ... всѣ градусники у меня отобрали, и максимальные, и... Три барометра было, гигрометръ, химическіе вѣсы, колбы... Реактивы хотѣли... — думали, что настойки! Схватили бутылку — спиртъ!! Да напатырный! Буржуемъ обозвали.

— А который теперь часъ, докторъ?

— Де-кретъ! — пугливо-строго говорить докторъ и поднимаетъ черный отъ грязи палецъ. — Часы теперь строго воспрещены, буржуазный предразсудокъ!

Нѣтъ, онъ не собирается уходить. Онъ переполненъ своимъ и разбрасываетъ «излишки».

— Но я безъ часовъ могу, потому что читалъ когда-то Жюль-Верна...

Онъ прищуривается на солнце, растопыриваетъ пальцы и глядитъ въ развилку. Онъ поматываетъ

пальцемъ то къ Кастели, то къ сѣдловинѣ за Бабуганомъ.

— Помните, у Жюль-Верна... Сайросъ Смиль въ «Таинственномъ Островѣ» или Паганель!.. Какъ это давно было, и какъ все-таки хорошо, что было, и у насъ тогда они не изъяли книги! И я въ томъ же родѣ изловчаюсь. Могу до пяти минутъ съ точностью, если солнце... Сейчасъ... безъ десяти минутъ часъ. Мысленными линіями по вершинамъ, зная максимальную высоту... А вотъ въ туманъ или вечернее время... по звѣздамъ еще не изловчился. Ахъ, какъ безъ часовъ скучно! У насъ все по часамъ было. Ложились безъ четверти въ десять, вставалъ я въ половинѣ пятого ровно. И сорокъ уже лѣтъ такъ. Трое часиковъ было, — взяли. Англійскіе очень жаль, луковицей. Старинные лорды такіе часы любили, часы на совесть. Но какая исторія роковая!.. Неужели вамъ не рассказывалъ?!.. Необходимо опубликовать! Это очень важно, въ предупрежденіе человѣчеству! чрезвычайно важно!..

— Ну, расскажите, докторъ...

« М Е М Е Н Т О М О Р И »

Докторъ поглядѣлъ на меня съ укоромъ.

— Вы, какъ-будто, не вѣрите, что это имѣетъ отношеніе къ человѣчеству... исторія съ моею «луковицей»? Напрасно. Въ этомъ вы сейчасъ убѣдитесь. Есть въ вещахъ роковое что-то... не то чтобы роковое, а «амулетное». Какъ хотите толкуйте, а я говорю серьезно: во всѣхъ этихъ газетахъ, которыя вотъ «вліяютъ»... «Таймсъ» или... какъ тамъ... «Чикаго Трибюнъ», «Танъ», понятно... — непременно опубликуйте! Я уже не смогу, я безъ пяти минутъ новопреставленный рабъ... не божій, не божій, а... человѣчскій! и даже не человѣчскій!!.. Да чей же я рабъ, скажите?! Ну, оставимъ. А вы... должны опубликовать! Такъ и опубликуйте: «Мemento мори», или «луковица» бывшаго доктора, нечеловѣческаго раба Михайла». Это очень удачно будетъ: «нечеловѣческаго»! Или лучше: нечеловѣчьяго!

Онъ, чудакъ, говорилъ серьезно, даже взволнованно.

— Это случилось лѣтъ пятьдесятъ тому... въ тысяча восемьсотъ... Нѣтъ, конечно... ровно сорокъ лѣтъ тому, въ восемьдесятъ первомъ году. Мы съ покойной Натальей Семеновной путешествовали по Европѣ, совершали нашу свадебную и, понятно, «образовательную» поѣздку. Въ Парижѣ мы погостили недолго, меня упорно тянуло въ Англію. Англія! Заграничная страна свободы, ГабеасъКорпусъ... парламентъ самый широкій... Герценъ! Тогда я былъ молодъ, только университеты окончилъ, ну, конечно,

революціонная эта фебрисъ... Въдь безъ этой «фебрисъ» вы человекъ погибшій! Да еще въ то-то героическое время! Только-только взорвали «Освободителя», блестящій такой починъ, такіа огнесверкающія перспективы, въ двери стучится со-ці-ализмъ, съ трепетомъ ждетъ Европа... температурку-то понимаете?!.. Двѣ вещи російскій интеллигентъ долженъ былъ всегда имѣть при себѣ: паспортъ и... «фебрисъ революціонистъ»! О паспортъ правительство попеченіе имѣло, а что касается «фебрисъ»-то этой самой... тутъ круговая порука всѣхъ російскихъ интеллигентовъ пеклась и контроль держала, и ихъ во-ждей! Чуть было не сказали — козловъ! Но не въ обиду вождямъ, а по русской пословицѣ нашей: «куда козель — туда и стадо»! Разные, конечно, и вожди эти самые бывали... были и такіе, что и въ Россіи-то никогда не жили... бывали и такіе, что... собственную мамашу удавять ради «прямолинейности»-то и «стройности» системы своей-чужой, а ты... дрожи! Тамъ хоть ты и пустое мѣсто, и пьяница, и дубина сто восемьдесятъ четвертой пробы, и изъ кармановъ носовые платки можешь... только дрожи и дрожи дрожью этой самой, правительству невыносимой, — и вотъ тебѣ авансомъ билетъ на свободный входъ въ царство «высокое и прекрасное». И не безъ выгоды даже. Я не дрожалъ полной-то дрожью, а лихорадило не безъ пріятнаго жара! Безъ слезъ, но подрагивалъ. Ахъ, зачѣмъ я не оставляю въ поученіе поколѣніямъ «записокъ интеллигента Т-ва Мануфактуръ и Ко»?!.. Теперь все равно, безъ пользы. Смотрите-ка, повалилась кляча!..

Да, «Лярва» легла, вытянувъ голову къ недоступной тѣни. Ноги ея сводило. Пораженный ея новымъ видомъ, павлинъ проснулся и закричалъ пустынно. Изъ тѣнистой канавки, подъ дачкой, выбралась тощая Бѣлка и оглядѣлась.

— Какъ въ трагедіи греческой! — усмѣхнулся докторъ. — Разыгрывается полъ солнцемъ. А «ге-

рой»-то... за амфитеатромъ... — обведъ онъ рукою горы, — то-есть, боги. Въ ихъ власти и эта кляча несчастная, какъ и мы. Впрочемъ, мы съ вами можемъ за «хоръ» сойти. Ибо мы, хоть и «въ дѣйстви», но прорицать можемъ. Финаль-то намъ виденъ: смерть! Вы согласны?

— Вполнѣ. Веѣ — обреченные.

— До этого дойти надо! Дошли? Прекрасно. О чемъ я началъ? Память совсѣмъ никуда... Да, «фебрисъ» эта... Габеасъ-Корпусъ, Герценъ, Гамбетта, Гарибальди, Гладстоунъ!.. Странная штука, вы замѣчаете, — все «глаголи»! Тутъ, обратите вниманіе, что-то ми-стическое и, какъ-бы, символи-сти-ческое! Гла-голи! Конечно, и въ Англіи я глаголилъ. И «мощи» заповѣдныя посѣщаль, и поклонялся имъ не безъ трепета, и фиміамъ воскурялъ. И даже въ Гайдъ-Паркъ пару горячихъ подаль. Воздухъ самый какую-то особенную прививку тамъ дѣлаетъ: непременно худой колыбельку свою — правда, грязненькую, но все-таки колы-бельку! — обдашь, грязненькіе очки надѣнешь. И конечно: «да здравствуетъ Революція — съ прописной буквы, понятно, изъ уваженія, — и переать полицеа»! И вотъ, пошелъ покупать часы. Зашли мы съ Наташей... Тогда я ее Наталочкой звалъ, а въ Лондонѣ — Ната и Нэлли, на англійскій манеръ. А теперь... на ключикъ въ угольничкъ абрикосовомъ!.. Да такъ и предстанетъ передъ Судією на Страшный Судъ! — скрипуче засмѣялся докторъ. — Вострубить Архангель, какъ надлежитъ по предуказанному ритуалу: «Эй, вставайте, вси умерщвленные, на Инспекторскій Смотръ»! — И возстанутъ — кто съ чѣмъ. Изъ морскихъ глубинъ, съ чугунными ядрами на ногахъ, изъ овраговъ предстанутъ, съ зоколотченными землею ртами, съ вывернутыми руками... изъ подваловъ даже — съ пробитыми черепами предстанутъ на Судъ и подадутъ обвиненіе! А моя-то Наталья Семеновна — на ключикъ! Да вѣдь хохоть-то какой,

грохотъ подымется! водевиль! И еще... ах-ха-х-а-а!.. съ... съ абри... косовымъ вареньемъ... въ мѣшковинѣ... изъ-подъ картошки въ мѣшочекъ обряжена!.. вѣдь все, все забрали у ней, всѣ рубашечки... всѣ платья... для женскаго пола своего... всѣ «излишки»! вѣдь въ ес-то платьяхъ... шелковое зеленое ея помню... Настюшка Баранчикъ, съ базара, изъ «татарской ямки»... потомъ выщегаливала!.. Вотъ бенефисъ-то будетъ! Архангелы-то рты разинуть. Самъ Господь-Саваоѣ...

Докторъ вскочилъ внезапно и затрепаль въ ладоши:

— Ш-ши ты, подлая, окаянная псина!..

«Бѣлка» скакнула черезъ «Лявру» и уюркнула за дачку. Павлинъ стоялъ въ-головахъ «Лявры», трясъ радужнымъ хвостомъ-опахаломъ и топтался.

— Глядите, онъ ее провожаетъ! — воскликнулъ докторъ. — Вотъ такъ апофеозъ! Ну, какъ же не изъ трагедій?! — Онъ потеръ лобъ и сморщился. — Какъ сонъ какой-то... И что за память дырявая! Сегодня я забылъ — «Оте нашъ»! Три часа вспоминалъ — не могъ! Пришлось открывать молитвенникъ. Я по поводу этого долженъ сдѣлать интересное обобщеніе, но это потомъ... А теперь... Да о чемъ же я говорилъ-то?..

— Пришли покупать часы, докторъ...

— Да, часы... Зашли мы съ ней въ гнусный какой-то переулочекъ, грязный и мрачный, у Темзы гдѣ-то. Дома старинные, закопченные, козырьки на окнахъ... и погода была, какъ разъ для самоубійства: дождишко скверненько такъ сочился черезъ желтый, гнилой туманъ, и огоньки грязнаго газа въ немъ, — и въ полдень! И вдобавокъ еще липко воняло морской этой слизью рыбьей... Помню, отвратительное было настроеніе. И какой-то хромоногій эмигрантикъ русскій дорогу намъ указалъ, все кашлялъ и плевалъ кровью. Мѣстечко такое... изъ Диккенса. А въ темныхъ лавкахъ, за зелеными шторками съ

бахромой, все антиквары, антиквары, въ норахъ своихъ, какъ пауки, въ пыли, въ паутинѣ, сѣрые, таинственные... пауки глубинъ жизни... шевелятся тамъ со старьемъ со всякимъ, въ губу нашептываютъ... Чего-то тамъ нѣтъ только! И все — отшедшее. Секстаны ржавые, пиратскія шпаги, отъ флибустьеровъ и буконьеровъ, «боги» всякіе, съ острововъ малайскихъ и папуасскихъ, изъ тропическихъ прорвъ и дебрей, изъ человѣчьихъ костей печатки царьковъ дикихъ, скальпы тамъ, амулеты... — пеленки, такъ сказать, человѣчи, но съ кровью. И «пауки» эти точно отборъ въ нихъ дѣлаютъ, подчищаютъ: кому еще, пожалуй, и пригодится!

— Докторъ, вы опять уклоняетесь. Вы про какіе-то часы хотѣли...

Докторъ вдумчиво посмотрѣлъ на меня и покачалъ головой.

— Это и есть про часы! Я еще немного соображаю, потому и... про обстановку. Изъ какихъ «пеленокъ»-то я эти часы принялъ! Вы то возьмите, что всѣ эти лавчонки на чемъ стоятъ? чуланчики эти человѣческіе?! На грабежъ и хищеніи! на слезѣ, на крови чьей-то, на основномъ, что въ нѣдрахъ всей «культуры» человѣчьей лежитъ: на томъ, чтобы загадить и растряссти! Ну, что тамъ лавчонки!.. это ужъ самый послѣдній сортъ, на манеръ лукошка, куда кухарка птичьи кровяныя перья суетъ, себѣ на подушку... А вы «ма-га-зи-ны»-то обслѣдуйте! гдѣ злато и серебро, и брилліанты, и жемчуга, и души, души опустошенныя, человѣческія, глаза, истаявшіе слезами!.. Въдѣ всякое «потрясеніе»-то, на высоко-политическомъ блюдѣ поданное, съ рѣчами, со слезой братской, безкорыстной, и съ «дрождью» этой самой восторженной, въ подоплекъ-то самой сокровенной, непременно въ корешкахъ своихъ на питательное донышко упирается, на кулебячку будущую... и всегда обязательно кой для кого «кулебячки» этой и достигаетъ! Ну, послѣ

нашего-то «потрясенія» сколько лукошекъ-то этихъ съ курячими перьями создадутъ! А «магазины», небось, по всему свѣту шооткрывались...

Что такое поторкиваетъ-трещить... къ морю?... А, это моторный катеръ, а можетъ и «истребитель». Вонъ онъ, черная стрѣлка въ морѣ, бѣжитъ и бѣжитъ на насъ; бѣжитъ за нимъ, крутится пѣнный хвостъ, на двѣ косы сѣчется.

— Слышите?... — шепчетъ докторъ и зажимаетъ уши. — «Истребитель»... За ними это...

— За кѣмъ, докторъ?..

— Что по амнистіи съ горъ спустились. Не слышали? Теперь ихъ заберутъ «для амнистіи». Что, трещить?.. Не могу выносить... усталъ.

Я вижу, какъ «истребитель» подъ краснымъ флагомъ завертываетъ широко къ пристанькѣ. Я знаю, что тѣ семеро, недавно спустившихся съ горъ, непокорныхъ «зеленыхъ», слышатъ въ своемъ подвалѣ, что пришелъ «истребитель»... пришелъ за ними.

— Теперь не трещить, докторъ.

— Завтра, а можетъ и нынче ночью... — значительно говоритъ докторъ, — ихъ «израсходуютъ»... а ихъ сапоги и френчи, и часики... поступать въ круговоротъ жизни. Ихъ возьмутъ ночью... Молодую женщину показывали мнѣ сегодня, тамъ ея мужъ или женихъ. Теперь и она слышитъ... Она, представьте, на что-то надѣется!

— На пощаду?..

— На что-то надѣется... — шепчетъ докторъ. — Что-то можетъ случиться. Поживемъ до завтра.

— Такъ вы про часы хотѣли...

— А, да... Мнѣ одинъ знакомый присовѣтовалъ тамъ походить, у Темзы: попадаютъ чудеса. Матросы со всѣхъ концовъ свѣта такое иной разъ привозятъ, по океанамъ рыщутъ. А мнѣ какіе-нибудь рѣдкостные часы хотѣлось приобрѣсти, отъ какого-нибудь мореплавателя, отъ Кука или Магеллана...

Страсть къ экзотическому у меня съ дѣтства осталась, отъ капитана Марріэтта, отъ Жюль-Верна... Отъ какого-нибудь стариннаго капитана, «морского волка»... вымѣнялъ онъ, глядишь, у какого-нибудь царька людоѣдовъ, а къ тому попали отъ какого-нибудь тамъ гранда испанскаго, котораго выкинуло съ погибшаго корабля... Всѣ мы до страсти любимъ вещички, связанные съ трагедіей человѣческой. Ну, попробуй-те объявить, что имѣется у васъ, напримѣръ, мечъ, которымъ палачъ китайскій тысячу головъ отрубилъ... за тысячи фунтовъ купать, найдутся люди! И всякому лестно имѣть у себя на стѣнкѣ, въ кабинетѣ, поразить гостя или дѣвицу прекрасную: «а это вотъ, скажете, — и даже съ равнодушіемъ въ голосъ. — мечъ, которымъ и т. д...». Эффектъ-то какой необыкновенный! Какую карьеру можно сдѣлать! Вещи чудодѣйственнымъ образомъ путешествуютъ по свѣту. Теперь вотъ наши, р у с с к і я-то, вещички гдѣ, можетъ, гуляютъ, по какимъ интернаціональнымъ карманамъ проживаютъ!..

— Вотъ и забрели мы въ одну такую лавчонку. Эмигрантикъ тотъ рекомендовалъ, за пару шиллинговъ. И пошепталъ знаменательно: — «революціонеръ, ирландецъ, но виду не подавайте, что знаете». За такое пріятное сообщеніе я хрѣмононому гиду еще шиллингъ добавилъ! Зашли. Вонь, представить себѣ не можете! Треской тухлой, креветками, что ли... разлагающейся кровью, такой характерный запахъ. Хуже, чѣмъ въ анатомическомъ! Хозяинъ,, — какъ сейчасъ его вижу. Коренастая обезьяна, зеленоглазая, красно-рыжая, на кистяхъ шишки синія выперло, и онъ въ рыжихъ волосяхъ, косицами даже. Горилла и горилла. Ротище губастый, мокрый, рожа хрящеватая, и носъ... такой-то хрящъ, сине-красный! А на головѣ низколобой тоже шерсть красно-рыжая, клоунами. Какъ поглядѣлъ на него, такъ и подумалъ: если всѣ такіе революціонеры ирландскіе, дѣло бу-

детъ! Самый настоящій «гом-руль»! На конторкѣ у него, смотрю, бутылка съ «уиски» и осьминогъ соленый, небольшой, одноглазый. Кусочекъ колечкомъ отмахнетъ ножичкомъ двустороннимъ, въ волосатой рукояткѣ съ копытцемъ, — можетъ и отъ готтентота какого, — посолить красной пылью кайенской и закусить. Со мной говорилъ, а самъ все хлопъ да хлопъ, изъ горлышка прямо.

— «А-а, русскій?! Гуд-дэй! Эмигрантъ? революціонеръ? Да здравствуетъ республика!» — а самъ смѣется, осьминога нажевываетъ.

— Ну, конечно, поговорили... и о порядкахъ нашихъ. и про убійство царя-Освободителя... А вѣки у него были вывернуты, и въ нихъ кайень и виски.

— «Поздравляю, — говоритъ, — васъ съ подвигомъ! Если у васъ такъ успѣшно пойдетъ, то ваша Россія такъ шагнетъ, что скоро ото всего освободится! Способный и великодушный, — говоритъ. — вы народъ, и желаю вамъ еще такого прогресса. Ит-из-вэри-уэлл!»

— Я, конечно, ему опять лапу-клешню пожалъ накрѣпко, какъ могъ, и даже слезы на глазахъ у меня, у дурачка русскаго. Дрожалъ даже отъ «чувства народной гордости»! Сказаль, помню:

— «У насъ даже партія такая создается, чтобы всѣхъ царей убивать, такіе люди спеціальные отбираются, террористы, «люди ужаса безпощаднаго»! Какъ у себя весь этотъ корень-хрѣнь выведемъ, по чужимъ краямъ двинемъ динамитомъ!!»

— Очень это обезьянѣ понравилось. Зубища-клыки выставилъ, кожу спрутову сплюнулъ и смѣется:

— «Русскій экспортъ, самый лучшій! Ит-ис-вэри-уэлл!»

— И опять другъ другу руки пожали. Нѣтъ, какъ вамъ нравится! Алліансъ-то какой культурный, какъ именинники! Виски угостилъ и кусокъ копченаго

спрута-осьминога подалъ на китайской тарелкѣ, съ золоченымъ дракономъ. На этой самой тарелкѣ, говорить, сердца казенныхъ палачъ главному мандарину посылалъ съ рапортомъ. А можетъ и вралъ. Такой пиръ антикварно-сакраментальный былъ... И облюбовалъ я у него часы-луковицу. Чернаго золота часы съ зеленою. Говорить:

— «Обратите вниманіе, это не простые часы, а самого Гладстоуна! Его лакей продалъ мнѣ отъ него подарокъ. И стоятъ двадцать пять фунтовъ!»

— Дѣйствительно, вырѣзано подъ крышкой: «Гладстоунъ», и замокъ на горѣ. А можетъ быть и самъ, мошенникъ, вырѣзалъ. Ирландецъ былъ, разбитной мошенникъ. Ужъ очень зеленоглазость его и хрящи эти мнѣ претили, а по разговору, и потому, что онъ «ирландецъ», такъ сказать, угнетаемый, большую симпатію вызывалъ. И хорошо знаю, что мошенникъ, а вотъ... «фебрисъ»-то эта самая! И что же сказалъ!

— «Возьмите, за полвѣка ручаюсь!»

— Но главное-то не это. Ужъ очень всучить старался. Три фунта скинулъ! И послушайте, что же сказалъ! Обратите вниманіе:

— «Берите за двадцать два, потому что вы русскій, и... за вами не пропадетъ! Своей доблестью... все вернете! Еще фунтъ скину! Политикой...!... отдадите! И вотъ — вспомните мое слово! — эти часы до-хо-дятъ, когда у васъ, въ вашей Россіи, Великаѣ Революція будетъ!»

— Помню, сказалъ я ему: «дай-то, Богъ»!

— «До-хо-дятъ!» — говоритъ.

— И вотъ — «до-хо-ди-ли»! И вотъ — отобралъ ихъ у меня тоже... ры-жій! и тоже... съ хрящеватымъ носомъ, да-съ! Товарищъ Крепсъ! студентъ бывший!! Самъ и аттестовался: бывший студентъ, и даже... — стишками баловался! Это когда я ему заявилъ, что

я русскій интеллигентъ и докторъ, чтобы у меня хоть градусники не отнимали! И знаете, к у д а,, эти часы попали?! Не угадаете.

— Въ музей... «Исторіи Ре-во-люціи»?!

— Хуже! Въ... жилетный карманъ бывшего студента, мистера Крепса! Да-съ! И это такъ же достоверно, какъ и то, что сейчасъ мы съ вами — б ы в ш и е русскіе интеллигенты, и все вокругъ — только б ы в ш е е! Въ Ялтѣ его на дняхъ видали: носить себѣ и показываетъ — «Гладстоунъ»! Получилъ ордеръ на двадцать ведеръ вина изъ пролетарскихъ подваловъ, въ вознагражденіе себѣ, да только увезти не можетъ, лошадей нѣтъ. Можете у татаръ провѣрить, изъ общественнаго подвала! За хлопоты-съ! За — «Гладстоунъ»-съ! Да вѣдь этотъ — младенчикъ! Ему бы часики и винца, съ дѣвочками гулянуть. А то.. Ну, думалъ ли когда Великій Гладстонъ, что его «луковица»..! Мистическое нѣчто... А его папаша — не Гладстона, конечно, — или дядя, или, быть можетъ, братъ тамъ... — размахнулся докторъ за горы, — оп-тикъ! и часиками торгуешь!.. Отлично я такой магазинчикъ помню, на Екатерининской, а можетъ быть и Пушкинской — тоже хорошо! — улицѣ, фамилія врѣзалась, траурная такая фамилія — Крепсъ! Ужъ не ирландская ли фамилія?! Можетъ быть даже — Краб-съ! Глубинъ, такъ сказать, морскихъ фамилія! И вотъ, часики мои попадутъ, быть можетъ, въ эту «оптическую лавочку»?! А что?! Очень и очень вѣроятно! И вдругъ, представьте себѣ, какой-нибудь сэръ, докторъ Микстоунъ, скажемъ, приѣдетъ въ страну нашу, «свободную изъ свободныхъ», и гражданинъ Крепсъ, съ хрящеватымъ носомъ, и тоже ры-жій, продастъ ему эти часы «съ уступочкой», и увезетъ наивный докторъ Микстоунъ эти часы въ свою Англию, страну отсталую и рабовладѣльческую, и они до-хо-дятъ до «великой революціи» въ Англии?! А какой-нибудь, уже ихній сэръ Крепсъ, опять отберетъ

назадъ!!! И такъ далѣе, и такъ далѣе, и такъ далѣе... въ круговоротѣ вселенной!

Докторъ немного «тово», конечно... Сидитъ на краю балки, глядитъ въ глубину, гдѣ камни и ливнемъ снесенныя деревья, и все потираетъ лобъ. Отъ него уже пахнетъ тлѣньемъ, онъ скоро у й д е т ъ, и тяжело его слушать... — но онъ и не собирается уходить.

Индюшка привела курочекъ, стоитъ - ждетъ.

— Ого, -- говоритъ докторъ, — захватывая покорную индюшку, — препаратъ для орнитологическаго кабинета. — Два фунта! Ну, стойте. Мы теперь всѣ на одной ступенькѣ, и почему бы не одолжить и вамъ! И дѣти, и вы, и мы... скоро — тютю!

Онъ развязываетъ мѣшочекъ и даетъ горсточку горошку. Мы посмотримъ, оба голодные, какъ курочки спгибаются въ кучку, а индюшка, «мать», наблюдаетъ стойко. Когда горошина падаетъ къ ней, она нерѣшительно вытягиваетъ головку, выжидая, не клонеть ли какая-нибудь изъ курочекъ, и всегда теряетъ.

— Учитесь... вы! вы!!! — кричитъ въ пустоту докторъ. — А я у васъ засидѣлся... Но... надо же нанести визиты. Наносу визиты и подвожу, такъ сказать, итоги. На многое открылись глаза, поздно только. И вотъ дѣлюсь, чтобы не испарилось... Подсчитываю итоги своего о-пыта! И знаете, къ чему я пришелъ?

— Къ чему вы пришли, докторъ? Впрочемъ, т е п е р ь это, кажется, не имѣетъ никакого значенія...

— Да, конечно. «Нос габебит гумус»! Но... исповѣдаться, вырвать изъ себя, душу облегчить...

— Говорите, докторъ.

— Если найдутся силы, я изложу на бумагѣ, а теперь... И озаглавлю такъ:

«САДЫ МИНДАЛЬНЫЕ»

— Когда я сюда приѣхалъ, я выбралъ пустырь, голый бугоръ, на которомъ нельзя было стоять, когда задуеъ отъ Чатырдага... Прошло лѣтъ сорокъ. Вы знаете, что вышло. Миндальные сады насажены по округъ, и теперь не смѣются. То есть, т е п е р ь... ну, теперь скоро и некому будетъ смѣяться... Нѣтъ, тяжело говорить. И такъ вездѣ и на всемъ, — итоги интеллигенціи. Т е п е р ь будутъ начинать сызнова, когда прозрѣютъ. А можетъ и некому будетъ прозрѣвать. Ну, пожилъ я въ миндальныхъ своихъ садахъ... свѣтлыхъ и чистыхъ... Знаю, что и ошибки были, и много страннаго было въ моемъ характерѣ и укладѣ, но были миндальные сады, каждую весну цвѣли, давали радость. А теперь у меня — «сады миндальные», въ кавычкахъ, — итоги и опытъ жизни!..

— Я привыкъ по часамъ ложиться, а теперь... какъ я могу безъ четверти въ десять? И потому безсонница. И память слабнеть. Я вамъ говорилъ, что недавно забылъ, какъ читается «Отче нашъ»... Вы представьте только, что всѣ, всѣ забудутъ, какъ читается «Отче нашъ»?! Помойка, вѣдь, надвигается. И уходить изъ этой помойки — въ ничто!! Досадно. Досадно, что я, какъ я теперь есть, не имѣю логическаго права вѣрить! Ибо, какъ послѣ такой помойки повѣришь, что тамъ есть что-то?! И «тамъ» обанкротилось! Провалиться съ такимъ трескомъ, съ такимъ балаганнымъ дребезгомъ, кинуть подъ гоготъ и топотъ и рыкъ побѣдное во-

скресеніе изъ животнаго праха въ «жизнь вѣчно-высоко-человѣческую», къ чему стремились лучшіе изъ людей, уже восходившихъ на бѣлоснѣжныя вершины духа, — это значить уже не провалиться, а вовсе не быть! Никакихъ абсолютовъ нѣтъ? Нѣтъ. И надо допустить, что надъ человѣкомъ можно смѣло поставить крестъ по всей Европѣ и по всему міру и вбить въ спину ему осиновый колъ. А самое скверное, что искъ-то вчинить-то не къ кому! И суда-то не будетъ, да и не было его никогда! И это скоро всѣ узнаютъ, всѣ человѣкообразные, и пойдетъ разлюли-гармонь. Сорвали завѣсу съ «тайны»! Дрессировщики-то, водители-то пусть даже пустое мѣсто прятали отъ непосвященныхъ, чтобы на пути стада вывести, а теперь хулиганъ пришелъ и сорвалъ... до срока сорвалъ, пока превращеніе изъ скотовъ не закончилось. Нѣтъ, теперь въ школу-то не заманишь. «Отче-то нашъ» и забыли. И учиться не будутъ. Съ привода сорвалось — качай! Кончилась славная поэма. А знаете... — у меня весь миндаль оборвали! Миндальные мои сады рубятъ... а вотъ зимой и все доведутъ до точки... У васъ что-то еще болтается, а у меня весь миндаль, пудовъ восемь оборвали. А было бы на всю зиму.

— Значить, еще хотите жить, докторъ?

— Только развѣ какъ экспериментаторъ. Веду, напримѣръ, записи голоданія. На себѣ изучаю, какъ голодъ парализуетъ волю, и постепенно весь атрофируешься. И вотъ какое открытіе: голодомъ можно весь свѣтъ покорить, если ввести въ систему. Сейчасъ даже лекціи читаются тамъ, — показаль онъ за горы, перекувыркнувъ ладонь, — «Психическія послѣдствія голоданія». Талантливый профессоръ читаетъ. Самъ голодаетъ и — читаетъ. И голодная аудитория набивается дополна! Всѣмъ занятно! Ги-потезы создаются! Какъ бы въ потустороннее заглядываютъ. Вѣдь объектъ съ субъектомъ сливаются. Но-

вый, необычайный курсъ медицинскаго факультета. Садизмъ научный! Какъ если бы подвальнымъ смертникамъ профессоръ, и онъ же смертникъ. — о психологіи казнимыхъ читать взялся! Науку-то какъ обогащаемъ! Да, «Психологія казнимыхъ: лабораторное и клиническое изслѣдованіе, на основаніи изученія свыше милліона, можетъ быть свыше двухъ милліоновъ, казненныхъ, съ примѣненіемъ разныхъ способовъ истязанія, физическихъ и психическихъ, всѣхъ возрастовъ, половъ и уровней умственнаго развитія»! Курсъ-то какой! Со всего свѣта пріѣдутъ слушать и поражаться мастерствомъ грандіознаго опыта! Лабораторнаго матерьяла — горы. Что до нашего опыта у Европы было? Ну, инквизиція... Но тогда научной постановки не было. И потомъ, тамъ какъ ни какъ, а судили. А тутъ... — никто не знаетъ, за что! Но каждый въ подвалѣ знаетъ, знаетъ! — что вотъ, еще день или два дня будетъ слабнуть, — вѣдь имъ, какъ общее правило, въ нашихъ, въ здѣшнихъ-то, крымскихъ, подвалахъ, и по четверкѣ хлѣба соломеннаго не давали, а такъ... теплую воду ставили, — для успокоенія нервовъ!? можетъ быть и хній профессоръ присовѣтовалъ для опыта?! — такъ вотъ, каждый въ подвалѣ знаетъ, что вотъ въ эту или въ ту ночь начнетъ истлѣвать. Гдѣ только? Въ ямѣ ли тутъ, въ оврагѣ, или въ морѣ? И судей своихъ не видалъ, нѣтъ судей! А потащутъ неумолимо и — трахъ! Я даже высчиталъ: только въ одномъ Крыму, за какіе-нибудь три мѣсяца! — человѣчьяго мяса. разстрѣяннаго безъ суда, безъ суда! — восемь тысячъ вагоновъ, девять тысячъ вагоновъ! поѣздовъ триста! Десять тысячъ тоннъ свѣжаго человѣчьяго мяса, мо-ло-до-го мяса! Сто двадцать тысячъ головъ! чело-вѣ-ческихъ!! У меня и количество крови высчитано, на ведра если... сейчасъ, въ книжечкѣ у меня... вотъ... альбуминный заводъ бы

можно... для экспорта въ Европу, если торговля наладится... хотя бы съ Англіей, напримѣръ... Вотъ, считайте...

— Пойдите, докторъ... Вамъ не кажется, что все небо въ мухахъ? Мухи все, мухи...

— А-а... мухи! И у васъ «мухи»? Такъ это же анемія выражается въ зрѣніи... Если разрѣзать глазное яблоко голодающаго животнаго...

— Чѣмъ вы теперь занимаетесь, докторъ?..

— Думаю. Все думаю: сколько же матерьяла! И какой вкладъ въ исторію... социализма! Странная вещь: теоретики, словокройщики, ни одного гвоздочка для жизни не сдѣлали, ни одной слезки человѣчеству не утерли, хоть на устахъ всегда только и работы, что о всечеловѣческомъ счастьѣ, — а какая кровавенькая секта! И замѣтите: только что начинается, во вкусъ входитъ! съ земнымъ-то богомъ! Главное, — успокоили человѣковъ: отъ обезьяны, и получай мандатъ! Всякая вошь дерзай смѣло и безоглядно. Вотъ оно, Великое Воскресеніе... вши! Нѣтъ, какова «кривая»-то! побѣдная-то кривая! Отъ обезьяны, отъ крови, отъ помойки — къ высотамъ, къ Богу-Духу... къ проникновенію космоса чудеснѣйшимъ Смысломъ и Богомъ-Слово, и... нисхождение, какъ съ горы на салазкахъ, ко вши, кровью кормящейся и на все съ дерзновеніемъ ползущей! И к о м у сіе новое Евангеліе-то съ комментаріями преподнесли, картбланшъ выдали, и к т о?!.. Помните, у Чехова, въ «Свадьбѣ», телеграфистъ-то Ять, «Ѣ»-то эта самая, какъ разсуждаетъ про электричество и про... какіе-то два рубля и жилетку? Вотъ теперь эти самые «Яти» и получили свое евангеліе и «хочутъ свою образованность показать». И отъ к о г о получили? Отъ тѣхъ же «Ятей»! И вотъ показываютъ «образованность». Потому-то на эту подлюгу «Ѣ» и походъ. Прообразъ, конечно, я разумѣю. Стереть ее, окаянную! м ѣ ш а е т ѣ! исконную, с л а в я н-

с к у ю! Всѣмъ вошамъ теперь раздолье, всѣмъ — міръ цѣлокупно предоставленъ: дерзай! Никакой отвѣтственности, и ничего не страшно! На Волгѣ десятки милліоновъ съ голодудохнуть и трупы пожираютъ? Не страшно. Впилась вошь въ загривокъ, сосеть-питается, — развѣ ей чего страшно?!. И всѣ народы, какъ юный студентикъ на демонстраціи, взираютъ съ любопытствомъ, что изъ «вшиваго» великаго дѣла выйдетъ. Такой-то опытъ — и прерывать! Вѣдь полтораста милліончиковъ прививаютъ къ социализму! И мы съ вами въ колбочкѣ этой вертимся. Не удалось — выплеснуть, Съченоевъ, бывало, покойникъ: — «Лука, — кричитъ, — дай-ка свѣженькую лягушечку»!— Два милліончика «лягушечекъ» искромсали: и груди вырѣзали, и на плечи «звѣздочки» сажали, и надъ ретирадами затылки изъ ногановъ дробили, и стѣнки въ подвалахъ мозгами мазали, и... — махнулъ докторъ,—вотъ это—Опытъ! А зрители ожидаютъ результатовъ, а пока торговлишкой перекидываются. Вонъ, сэръ Эдуардъ-то, Ллойдъ Джорджъ-то, освободитель-то человѣческій, свободолюбъ-то незапятнанный, что сказалъ! «Мы, — говоритъ, — всегда съ людоѣдами торговали»! А почтенные господа коммонуеры, мандата на «вшивость» для себя еще не пріявшіе, — но въ душѣ близкіе и къ сему, если отъ сего польза видится, — мудрое слово Джоржево положили на сердце свое и... А-а, не все ли равно теперь! О милліончикѣ человѣчьихъ головъ еще когда Достоевскій-то говорилъ, что въ расходъ для Опыта выпишутъ дерзатели изъ кладовой человѣчьей, а вотъ ошибся на бухгалтеріи: за два милліона перестегнули, и не изъ міровой кладовой отчислили, а изъ російскаго чуланчишки отпустили. Вотъ это — Опытъ! Дерзаніе вши бунтующей, пустоту въ небесахъ кровяными глазками узрѣвшей! И вотъ...

Докторъ развелъ руками. Да: и вотъ! Смотритъ на насъ калѣка-дачка на пустырѣ, съ дохлой клячей

подъ сѣнью вонючихъ, «уксусныхъ» деревьевъ. Глядитъ-нюхаетъ изъ-за уголка тощая «Бѣлка», ждетъ. Идетъ за пустыремъ дядя Андрей, въ новомъ парусиновомъ костюмѣ, — ободралъ недавно на дачкѣ «Тихая Пристань» складныя кресла полковничьи и теперь разгуливаетъ безъ дѣла, высматриваетъ новую «работу».

— И все это вымретъ... — тономъ пророка говорить докторъ. — И о н и уже умираютъ. И этотъ Андрей кончится. Мой сосѣдъ Григорій Одарюкъ тоже кончится... и Андрей Кривой, съ машковцевыхъ ~~виноградниковъ~~... Они уже все обработали, а не чувствуютъ... Увидите. Убьютъ и меня, возможно. Еще считаютъ за богача... Когда наступитъ зима... увидите результаты. О п ы т ь и ихъ захватить. Вчера умеръ отъ голода тихій, работающій маляръ... когда-то у меня красилъ... А на берегу красноармейцы избили сумасшедшаго Прокофія, сапожника... Ходилъ по берегу и пѣлъ «Боже царя храни»! Избили голоднаго и больного, своего брата... О-пытъ! Я и самъ теперь опытъ дѣлаю... Сухимъ горохомъ питаюсь.

Онъ шаритъ въ карманѣ своего лондонскаго пиджака и бросаетъ горошину приглыбающей къ нему «Жадныхъ».

— Этимъ самымъ. У меня фунтовъ десять имѣется, въ собачьей конурѣ припряталъ, не изъяли «излишки». И вотъ — по горсточкѣ въ день. Во рту катаю. Зубы у меня плохи совсѣмъ, а челюсти у меня украли при обыскѣ, вынули изъ стакана, — золотая была пластинка! Покатаю, обмякнетъ, — и проглочу. Ничего, двѣнадцатый день сегодня. И еще — миндаль горькій. Жарю. Обратите вниманіе, очень важно. Амигдалины улетучиваются, ядь-то самый. Тридцать штукъ въ день теперь могу принимать. Это, пожалуй, самый безболѣзненный путь — «отъ помойки въ ничто»! Пульсъ ускоряется, сердце израбатываетъ съ быстрѣй, и...

Докторъ запнулся, уставилъ глаза, ротъ разинулъ, и смотреть въ ужасъ...

— Мы... распадается на глазахъ... и не сознаемъ! Да вы взгляните, взгляните... Умремте, скорѣй умремте... вѣдь ужасно теперь... т е п е р ь!.. сойти съ ума! вѣдь тогда мы не сумѣемъ уйти... можетъ не притти въ голову у й т и ! Будемъ живыми лежать въ могилѣ, какъ теперь Прокофій!..

На меня это никакъ не дѣйствуетъ. Я провѣряю себя, пытаюсь постигнуть, какъ я сойду съ ума, какъ о н и будутъ бить тяжелыми кулаками.. Нѣтъ, не дѣйствуетъ. Почему?

— Докторъ, чѣмъ бы мнѣ... куръ поддержать?

— Ку-уръ? Какъ — под-держать? Зачѣмъ — под-держать? Сжарить и съѣсть! со-жрать! У васъ есть даже индюшка?! Почему же ее еще никто не убилъ? Это живой нонсенсъ! Надо все сожрать и — у й т и . Вчера я «опытъ» тоже дѣлалъ... Я собралъ и сжегъ всѣ фотографіи и всѣ письма. И — ничего. Какъ-будто не было у меня ничего и никогда. Такъ, чья-то праздная мысль и выдумка... По-нимаєте, мы приближаемся къ величайшему откровенію, быть можетъ... Быть можетъ, въ дѣйствительности, ни-ничего нѣтъ, а такъ, случайная мысль, для нея самой облекающаяся на мигъ въ доктора Михаила..?! А тогда всѣ муки и провалы наши и всѣ гнусности — только сонъ! Сонъ-то, какъ матерія, не с у т ь вѣдь? И мы не с у т ь...

Онъ смотритъ неподвижно, какъ уже не сущій. И улыбается своей мысли.

— Мы теперь можемъ создать новую философію реальной ирреальности! новую религію «небытія помойнаго»... когда кошмары переходятъ въ дѣйствительность, и мы такъ сживаемся съ ними, что бывшее намъ кажется сномъ. Нѣтъ, это невыразимо! Да, куры... вы спрашивали... У меня была одна курица, любимица Натальи Семеновны... Я думалъ, было, закласть ее, какъ жертву, и положить съ по-

койницей въ шкафъ. Но... бросилъ эту игривую мысль. Горошкомъ кормилъ. Подойдетъ къ балкону... — послѣднее время она мало ходила, сидѣла больше, нахохлившись, — спрошу: — «ну, что, «Галочка», чувствуешь о п ы т ь -то?» А она только головкой поворачиваетъ. И я сейчасъ ей пару горошинъ. На ночь въ комнаты запираю, понятно. И вотъ — самоубійствомъ покончила!

— Да что вы?!

— Отравилась. Весь горькій миндаль поѣла. Приготовилъ прожаривать, а она утромъ проснулась раньше меня, нашла и... въ страшныхъ конвульсіяхъ! Ну, пошелъ я. У васъ есть горькій? Ну, такъ имѣйте въ виду... если штукъ сотню сразу... лучше, конечно, въ толченомъ видѣ, — сеансъ можетъ успѣшно кончиться. Абсолютно. А сейчасъ надо провѣдать горемыку нашу, — въ Па-ри-жѣ жила когда-то! видѣла сонъ прекрасный!.. А слышали новость? Въ Бахчисараѣ татаринъ жену посодилъ и съѣлъ! Какой же отсюда выводъ? Значить. Баба-Яга завелась...

— Баба-Яга?!.. Да. Я самъ только подумалъ.

— Вотъ видите. Значить, сказка. А разъ уже наступила сказка, — жизнь уже кончилась, и теперь ничего не страшно. Мы — послѣдніе атомы прозаической, трезвой мысли. Все — въ прошломъ, и мы уже лишніе. А это, — показалъ онъ на горы, — это только такъ кажется.

Такіе бываютъ человѣчи разговоры.

Онъ уходитъ къ сосѣдкѣ. У него подъ-мышкой мѣшочекъ. Надъ нимъ бѣлый широкій зонтикъ, весь въ заплаткахъ. Идетъ — колыхается. Навстрѣчу ему — голосокъ Ляли:

— Михайла Василичъ въ гости!

И Ляля, и Вова прыгаютъ передъ нимъ, заглядываютъ на мѣшочекъ. Пшеничка или, можетъ быть, кукуруза? И не знаютъ еще, что тамъ самое для нихъ

вкусное, что такъ любятъ дѣти и голуби: послѣдняя горсть гороха.

А я долго еще сижу на краю Виноградной Балки, смотрю на сказку. На радужномъ опахалѣ хвоста, на чудесномъ своемъ экранѣ, павлинъ танцуетъ у дачки, у дохлой «Ляввы». У ея головы недвижной, распластавшись на брюхѣ, тянется-вьется «Бѣлка», вывертывая морду, будто цѣлуетъ «Лявву». Доносится до меня урчанье и влажный хрустъ... Она выгрызаетъ у «Ляввы» языкъ и губы! Такъ скоро! Вѣдь только сейчасъ ходила по пустырю кляча... Вотъ такъ миленькое «тріо»! «Жаднюха» на меня смотреть. Что, горошку? Я беру ее на руки, разглядываю ея лапки... Что смотришь? вотъ начну тебя съ лапки... что?!... Теперь все можно. Она уснула, такъ скоро, довѣрчиво уснула...

Я долго еще сижу на краю балки, смотрю на лѣса въ горахъ. Вѣки мои устали, глаза не видятъ. Сплю и не сплю, сижу. Поторкиваетъ-трещитъ, шумятъ шумы, шумитъ дремучее... Погасаетъ солнце. Шумитъ водопадами въ головѣ... Сорвешься туда, къ камнямъ... А, не страшно. Теперь ничего не страшно. Теперь все — сказка. Баба-Яга въ горахъ.

ВОЛЧЬЕ ЛОГОВО

Въ Глубокую Балку пойти — за топливомъ?..

Тамъ стѣны — глубокой чашей, небо тамъ — синесине. Кусты да камни. Солнечный зной курится, дрожить-млѣть. Спать тысячелѣтніе пни дубовъ, заваленные камнями, — во снѣ послѣднемъ. Я бужу ихъ своей мотыгой. Съ гуломъ и свистомъ летать ихъ проснувшіеся куски — солнце: будутъ свѣтить зимою. Дремлетъ на солнцепекѣ каменная змѣя — желтобрюхъ, заслышитъ шаги — поведетъ соннымъ глазомъ, и завернется: знаетъ меня, привыкъ. Я побаюкаю его тихимъ свистомъ. А онъ все дремлетъ, поставивъ на-стражу глазъ въ золотомъ кольчикѣ. Что и я, — порожденье того же солнца. Такой же нищій. Всегда — одинъ. А вотъ и она, ящерка-каменка, — вышурхнетъ, глянетъ, и — обомлѣть. Отъ страха? Отъ удивленья на Божій міръ? Застынетъ стрѣлкой и пучить бусинки глазъ — икринки. Цикады трясутъ и трясутъ надъ ухомъ ржавой, немолчной гремью, — жаркое сердце балки. Вотъ — оборвутъ, и глохнешь отъ тишины, кружится голова съ умолчья.

Силь нехватитъ дойти до балки, день уже отнялъ силы.

Пень, иззубренный топоромъ... Я знаю его исторію.

Это было полной весной, когда цвѣли глициніи по верандѣ, и черный дроздъ, на верхушкѣ старого миндаля, тихо, нѣжно насвистывалъ вечернюю пѣсенку нашему новоселью. Привѣтно глядѣло все: розовые кусты шиповника по оградѣ, бѣлыя стѣны домика, съ

зелеными ставеньками-ушами; павлинь, прибирающийся подъ кедромъ — къ ночи, синій дымокъ надъ кухней — перваго ужина... уже ночныя, синею мглою охваченныя горы, намекающія душѣ:

— Отнынѣ... вмѣстѣ?

Теперь будутъ онѣ слѣдить за тихою жизнью нашей, впускать и укрывать солнце, шумѣть дождями. Золотыя и синія, — солнечныя и ночныя, — будутъ глядѣть на насъ, до свѣтлаго конца жизни...

Въ тотъ вечеръ робкихъ надеждъ я тихо ходилъ по саду. Мои деревья! Это — старый миндаль... обгрызли его кору, но глядитъ еще бодро и весь осыпанъ. А это... персикъ? Его донимаютъ вѣтры... — ну, ничего, подвяжемъ. А вотъ и дубъ. Ты долго будешь расти, долго-долго.. Увидишь стараго человѣка, меня-другого... онъ сядетъ здѣсь, — поставить скамейку надо, — и потасающими глазами будетъ смотрѣть на садъ, новый всегда, на немѣняющуюся звѣзду надъ Бабуганомъ..

Тогда я нашелъ тебя, товарищъ моей работы, дубовый пенъ. Ты валялся подъ кипарисами, въ полутьмѣ, въ затишьи. Я хозяйственно оглядѣлъ тебя, обласкалъ взглядомъ, — я такъ былъ счастливъ въ тотъ вечеръ! Я тебя обнялъ и выкатилъ на свѣтъ Божій, — радуйся и ты съ нами, будемъ работать вмѣстѣ. Слышалъ ли ты, старикъ, какъ домовитодѣтски мы толковали, куда бы тебя поставить... какъ ты будешь лежать года, какъ хорошо посидѣть на тебѣ вечеркомъ, выкурить папиросу, глядѣть и глядѣть на море, мечтать по далямъ и крѣпко вѣрить, что не порвется нить нашей жизни, потянетъ другую, родную, нить... а ты все будешь благодущнымъ свидетелемъ новыхъ жизней... Теперь ничего не будетъ. Ты весь изсѣченъ, горы колючекъ изрублены на тебѣ, горы мыслей порублены на тебѣ, сгорѣли... Сожгу и тебя, клиньями расколю и сожгу — неродившуюся надежду.

Я разглядываю рубцы на пнѣ, — по нимъ ползають муравьи. Постукивають ворота?..

...Татарскіе кони ржутъ, постукивають въ ворота, — будетъ прогулка въ горы. Цикады бьютъ погрешками, день жаркій-жаркій, обвисли груши въ моемъ саду, персики и черешни осыпали всѣ деревья. Это же не мои деревья! И веранда, съ колоннами, съ занавѣсками изъ шумящаго хрусталя цвѣтного, — это же не моя веранда... Надо спѣшить — будетъ прогулка въ горы... Но куда же дѣвались всѣ?! Лошади давно ждутъ, нетерпѣливо постукивають въ ворота... Я хожу и зову, ищу... Это же не моя веранда, сверкающая огнями!.. Я ищу и зову въ тревогѣ, пробѣгаю въ огромныхъ залахъ. Это не мои комнаты... Мои комнаты были проще, ласковыя, покойныя... Не этотъ холодный свѣтъ, и черешни не лѣзли въ окна... Я хожу и хожу по заламъ... Гдѣ-то тутъ мои комнаты...

Опять я вижу рубцы на пнѣ, бѣгаютъ муравьи.. Осматриваюсь слипающимися глазами. Ну, вотъ и садъ, и мои деревья... Это же сонъ мнѣ снился, минутный сонъ... Вотъ и нашъ тихій домикъ. Спѣшить нигде не надо. Опять «Тамарка» гроыхаетъ воротами...

Дико кричитъ Павлинъ, — что-то его вспугнуло. Что такое? что еще можетъ теперь случиться?..

Я слышу воющій голосъ — къ морю...

— Ой, люди добры-и-и... гляньте!.. Гляньте же, люди добры-и-и!

Это въ «Профессорскомъ Уголкѣ», внизу.

«Уголокъ» давно мертвый. Не звонятъ по пансіонамъ колокола, не сзываютъ гостей на завтраки. на обѣды: сорвали колокола, смѣняли на спиртъ педальный. Пойдутъ колокола въ дѣло — въ пули: много еще цѣльныхъ головъ осталось. Не доносить по вечеру трели отдыхающей пѣвицы, тріо Чайковского:

умолкли пѣвицы и музыканты, раскрасили пѣсни Чайковского, треплются по ларямъ базарнымъ.

Внизу голоса ревутъ, — тамъ еще обитаетъ кто-то! Берлоги еще остались.

— Ой, люди добры-и-и...

Нѣтъ ни людей, ни добрыхъ.

«Золотая Роза» розовѣетъ еще стѣнами. А вонъ и «Вилла Марина», и «Вилла Анна»... но тамъ теперь обитаютъ совки, мелкія совки-сплюшки, кричатъ по ночамъ тоскливо: сплю-у... сплю-у... Спите, не потревожать. Вонъ шафраннаго «Линдена» корпуса, когда-то въ розовыхъ олеандрахъ, въ зеленыхъ кадочкахъ, на усыпанной гравіемъ площадкѣ. Прощай, олеандровая роща! Выдрали ее садовники-трудолюбцы изъ кадушекъ, пожгли кадушки. Старикъ-адмиралъ, хозяинъ, поглядывалъ оттуда въ трубу на море. Выстроилъ себѣ новый корабль — на сушѣ, прохаживался съ сигарой по балкону, въ сіяніи бѣлоснѣжнаго кителя, въ свѣжемъ сверканьи брюкъ, въ бѣлыхъ, безшумныхъ туфляхъ, просоленный морями, бѣлобородый. Промѣнялъ штормы на сладкій штиль, праздный кортикъ — на трудовой сѣкаторъ, шаткую палубу — на крѣпкія, въ гравіи, дорожки. Вывелъ розовыя стѣны изъ олеандровъ, лиловыя — изъ глициній, сады персика и диканки... Разбили его трубу, и ушелъ адмиралъ подъ землю: тамъ-то ужъ совсѣмъ тихо. Всталъ на его «корабль» огромный Корякъ — дрогаль, зацѣпился съ семьей, съ коровой и ждетъ упорно: отойдетъ ему домъ — дворецъ, съ виноградниками и садами, — за великіе труды жизни: возилъ адмирала на таратайкѣ въ городъ! Сторожитъ пустоту — усадьбу да помаленьку выламываетъ рамы.

Внизу голоса растутъ. По балкѣ доходитъ четко — воюющій бабій голосъ:

— Да лю-ди... добрые!.. да вы жъ гляньте!..

— Усѣ кишки вымотаю съ тебе... за мою «Рябку»!..

Это — Коряка голосъ, рыкъ сильный.

— Да вы жъ толичко гляньте... лю-ди добрые... хозяина моего забиваетъ...!

— Мя... со мое подай... изъ глотки вырву! Заразъ сказывай, куда ховали!.. утрибку, гадюки, лопади... съ моей «Рябка»...!

— Побій мене Боже... да усю недѣлю въ Ялтахъ крутился... да вы жъ перво дознайте у сосидій... Дядя Степанъ, да ваша «Рябка» и близко не доступала! За чого жъ вы стараго чоловіка забиваете?!..

Человѣка забиваютъ? И этотъ воющій голосъ — голосъ человѣчій? и рыкъ-зыкъ этотъ?!!

— Шку-ру, песь... мя... со мое подай! Шшо твой выблядокъ у мылыщи ходить... да я самъ утруждащій... Буржуевъ поубивалы, теперь своего брата губите!.. Я за свою «Рябку»... дѣвола лютые..!

— Да я... заразъ въ камытетъ самый, рylieци-воный... якъ вы генераловы сундуки ховалы...

— А тебѣ... шо? ма-ло?! шшо нѣ подавылась?! Мало, сука, добрыхъ людей повыдавала, чужое добро ховала, на базаръ таскала?! Да я твой камытетъ этотъ... одна шайка! Ду-шу вытрясу... мясо мое подай!

— Чего жъ вы не заступляетесь... люди добрыи?!!

Я слышу тупой ударъ, будто кинули что объ землю.

— У-би... иль... живого чоловіка убиль... люди божьи..!

— На-смерть убью — не отвѣчу! У мене дѣти малыи...

По горкамъ шевелятся — выползають букашки-люди. И тамъ, и тамъ. Гдѣ-то въ норахъ таились. Всѣ глядятъ на площадку, подъ Линдена-пансіономъ, съ холмовъ — на сцену, какъ въ греческомъ театрѣ. Прикрыли глаза отъ солнца. Далеко внизу, на узкой площадкѣ, въ балкѣ, прилѣпилась мазанка: синій дымокъ вьется надъ бѣлой хаткой. Во дворикѣ копо-

шатся — люди не люди — мошки: двое крутятся на землѣ; синее пятнышко бѣгаетъ, палкой машетъ.

Съ Вербиной Горки бѣгутъ ребята, орутъ:

— Подъ Линденомъ убиваютъ! Ганька, гляди «Тамарку»!..

Кричитъ Ганька:

— Хочу... какъ убива-ютъ...!

Выглянули и сосѣди. Лялинь голосокъ точить:

— Это Степанъ Корякъ, мамочка... въ бѣлой рубашкѣ... ногой въ животъ, прямо, мамочка!.. колѣнкомъ!..

— Ляличка, не надо! Боже, какіе звѣри... — взываетъ старая барыня. — Ради Бога, Ляличка... уходи, не надо... Няня, да что такое?..

— Да что... Глазкова старика Корякъ за корову убиваетъ... — доходить изъ-подъ горы нянькинъ голосъ.

Она спустилась подъ упорную стѣнку, чтобы лучше видѣть.

— Такъ и надоть, слободу какую взяли! Полонъ-полонъ домъ натаскали, всего-всего... Каждый божій день у Маришки и барашка, и сало, и хлѣба вдосталь, и вино не переводилось... мало! чужую корову зарѣзали! Гляди-гляди, какъ бьетъ-то! а?! Насмерть теперь забьетъ!

Смотрить, несчастная, и не чувствуетъ, что ждетъ ее. Запутывается тамъ узелъ и ея жалкой жизни: кровь крови ищетъ.

А на театрѣ — хрипу и визгу больше, удары чаще.

— Люди добрые... заступитесь..!

— Печонки вырву!.. ска-жешь, выродь гадючій..! мясо куды дѣвалъ..? мя...со-о..?!

— Эхъ, сыновья-то въ городѣ... они бѣ ему доказали! до-кажутъ!

— Самый большевикъ былъ, какъ на чужое... а самого тронули, какъ разоряется!

— За-чѣмъ... Корякъ за свое добро бьетъ! Моду

какую взяли, хоть не води коровы. Въ покои ужъ стали ставить, съ топоромъ ночуютъ!

— Вотъ они, буржуи окаянные... до чего людей довели! Жили всѣ тихо-мирно, на вотъ... завоевались!

На театрѣ дѣло идетъ къ развязкѣ. Рыкъ глуше, словно перегрызаютъ горло:

— Ку...ды...мя...со...

— Ой, побѣгу, мамочка..!

Съ холмовъ воютъ:

— Бей его, Корякъ, добивай!..

— Какъ такъ — бей?! Доказать сперва надо! Бей... Много васъ, бителевъ!

— Онъ вонъ, въ Ялтахъ былъ столько-то дѣнь, баба его доказала!

— Звѣри, а не люди... Ляличка, сту-пай! ступай-ступай, нечего тебѣ слушать...

— Ма-мочка, я хочу...

И докторъ, подъ зонтикомъ, тоже смотреть изъ-подъ руки, потряхиваетъ бородкой. Кричитъ въ пространство:

— Трагедія... подъ горами! Хе-хе!.. Борьба Титановъ!.. волки грызутъ другъ-другу! Валяйте, друзья мои... валяйте апо-фе-озъ культуры! До скорого свиданья...

Уходитъ докторъ къ миндальнымъ своимъ садамъ — «садамъ миндальнымъ».

Лѣзетъ изъ балки другой сынъ нянькинъ, голенастый подростокъ Яшка, — ѣздитъ ужъ съ рыбаками въ море. Кричитъ въ задорѣ:

— Разъ Корякъ взялся — шабашъ! Прихватилъ за грудки... да кѣкъ его о земь... разъ! А старикъ живучъ!

— Уйдите, уйдите всѣ! не могу... не могу — не могу... — кричитъ истерично старая барыня, зажимая уши.

Вскрикнула-всполошила Ляля:

— Ястребъ!.. ястребъ!.. Ай-ю-у-ай!..

Ширококрылый, палево-рыжий ястребъ, съ бѣлымъ комкомъ подъ брюхомъ, тянеть по балкѣ внизъ, гдѣ Корякъ душитъ короворѣза.

— Курочку вашу!!!.. вашу!!!!.. — отчаянно верещитъ Ляля, топочеть и бьетъ въ ладошки. — Туда... за дубки спустился!.. пухъ-то, глядите, пухъ..! Ай-ю-у-ай!..

Бѣлый пушокъ плаваетъ надъ кустами. Я качусь по сыпучей кручи, рву на себѣ послѣднее, падаю на камняхъ и сучьяхъ высохшаго потока. Кричатъ голоса, пугаютъ, въ ладоши бьютъ:

— Къ дубкамъ берите! Слетѣлъ, проклятый!..

Я вижу надъ головой — бѣлесо-пестрое брюхо, съ подтянутыми когтями. Темнокрылою хищной тѣнью уплываетъ стервятникъ по балкѣ — къ морю.

Я добираюсь до мѣста и нахожу бѣлую курочку — кровь и перья. Вижу оторванную головку, съ сомкнутыми глазами, съ похолодавшимъ гребнемъ, и по мертвымъ «сережкамъ» признаю «Жаднюху». Только-только подремывала она на моихъ рукахъ, клевала горошекъ доктора, и въ ясномъ зрачкѣ ея смѣялось золотой точкой солнце... Прощай и ты, маленькое созданье, не оставившее слѣда! Теперь сметаются всѣ слѣды, и перестало быть больно. И теперь ничего не жаль.

Я беру кровавой комокъ въ перьяхъ. Это не кусокъ мяса: это наша родная, собесѣдница кроткая, молчаливый товарищъ въ скорби.

И другой разъ за этотъ истомный день взялъ я тяжелую лопату, пошелъ на предѣлъ участка, на тихій уголь, гдѣ груда камней горячихъ... И наложилъ камень, чтобы не вырыли собаки. Трещить плетень, глядитъ изъ-за плетня Яшка.

— Такъ лучше бы мнѣ отдали!

Онъ правъ, пожалуй. Не все ли равно теперь: земля или брюхо Яшки? Земля — лучше, земля покоить.

Я вижу его глаза, заглядывающіе подъ камень. Ищущіе глаза. Когда стемнѣетъ, я выну ее и схороню въ Виноградской Балкѣ.

Индюшка стоитъ подъ кедромъ, поблескиваетъ зрачкомъ — къ небу. Жмутся къ ней курочки — теперь ихъ четыре только, послѣднія. Подрагиваютъ на своемъ погостѣ. Жалкія вы мои... и вамъ, какъ и всѣмъ кругомъ, — голодъ, и страхъ, и смерть. Какой же погостъ огромный! и сколько солнца! Жарки отъ свѣта горы, море въ синемъ текучемъ блескѣ...

Внизу затихло. Зрители уползли въ балки, въ норы. Убилъ ли Корякъ, — не важно. Теперь — не важно. Убилъ... — слово совсѣмъ пустое.

Я хожу и хожу по саду, дохаживаю свое. Упора себѣ ишу?.. Все еще не могу не думать? Не могу еще превратиться въ камень! Съ дѣтства еще привыкъ отыскивать Солнце Правды. Гдѣ Ты, Невѣдомое?! Какое Лицо Твое? Не хочу аршина и бухгалтерій... Съ ними ходятъ подрядчики и дѣляги. Хочу Безмѣрнаго — дыханіе Его чую. Лица Твоего не вижу, Господи! Чую безмѣрность страданія и тоски... ужасомъ постигаю Зло, облекающееся плотью. Оно набираетъ силу. Слышу его рыкъ зычный, звѣриный зыкъ...

Великіе мудрецы, гдѣ вы?! Туманами поднимаются храмы ваши, въ туманахъ таютъ... Чистый разумъ... призрачный міръ идей... отсвѣтъ метнушагося человеческого мозга! Гдѣ вы тамъ, блѣдныя существа? Въ какихъ краяхъ обитаете? какія на васъ одежды? Въ лучѣ бы солнца спустились, что ли, безплотныя, породили бы изъ неоправданныхъ мукъ, изъ неоплатныхъ страданій новое существо, невѣдомое доселѣ міру! Совершили чудо! Сошли бы въ дождѣ на землю, радугой перекинулись надъ моремъ, упали въ громъ! Или спускались вы, да продали васъ за грошъ, на обертку пустили подъ собачье мясо, въ швыжи забили? Въ Проповѣди Нагорной продаютъ камсу

ржавую на базарѣ, Евангеліе пустили на пакеты... Пустое небо прикрылось синью, море прикрылось синью: стоитъ одно другого.

Скорѣй бы вечеръ... Я... Кто такой это — Я?! Камень, валяющійся подъ солнцемъ. Съ глазами, съ ушами — камень. Жди, когда пнуть ногой. Некуда уходить отсюда... Гляди на горы: онѣ всѣ въ блескѣ, воздушныя. На море... — праздничное оно, всегда. Безмолвіе за нимъ, такъ... — туманность. На что же еще глядѣть?..

Тамъ, въ городкѣ, подвалъ... свалены люди тамъ, съ позеленѣвшими лицами, съ остановившимися глазами, въ которыхъ — тоска и смерть. И тамъ тѣ семеро, бродившіе по горамъ... Обманомъ поймали въ клѣтку. Что они чувствуютъ — скрученное желѣзо? Я еще воленъ бродить. Для нихъ одинъ только ходъ — въ могилу. «Истребитель» стоитъ у пристани, гробъ желѣзный. Его краснозвѣздная команда наѣлась баранины доотвалу, напилась изъ подваловъ и теперь спитъ — до ночи. И красный выппель тоже уснулъ — до ночи.

Что-то говорилъ докторъ... Что-то случиться можетъ... Въ небо смотрю я: можетъ?

Больно глазамъ отъ свѣта.

Я хожу и хожу по саду, смотрю на камни. Что же случиться можетъ? какое чудо? Къ кедру приду, постою, будто ищу чего-то. Отъ кедровъ пышетъ. Душно отъ черныхъ кипарисовъ. Все накалилось, струится, млѣетъ. Солнце всѣ мысли плавить. Отъ кедровъ гляжу на домикъ, на маленькую веранду. Здѣсь ли я жилъ когда-то?! Смотритъ веранда заплаканными глазами зацвѣтшихъ стеколъ. Голубыя глициніи давно опали, засохли тиссы передъ крылечкомъ...

На пустырь, за балкой, возятся возлѣ «Лявры», подсовываютъ оглобли. Вертятся вербины собаки, Цыганъ и Бѣлка.

Кричитъ отъ дороги кто-то:

— Прирѣзать бы, да на ко-клеты!

Это дядя Андрей, съ исправничьей дачи — «Тихая Пристань». Одѣтъ по-дачному, — въ парусиновомъ костюмѣ, въ мягкой, господской, шляпѣ, раздобытой. Смуглый, сутулый, крѣпкій и — темный весь. Посиживаетъ по бугоркамъ, поглядываетъ на дачки... побуркиваетъ въ кустахъ съ такими же. Ходить — подумываетъ.

Не отвѣчаютъ на его окликъ, надъ «Лярвой» возятся.

— Теперь человѣчину ѣдятъ, а на конятину заглядишься! Казанскіе татары за говядину признають... А вамъ все чтобы мя-со было! Я вотъ... невете... реняецъ! По мнѣ хоть и не будь его вовсе, ей Богу! у меня отъ его... за-поръ навсягда, сказать... вовсе для меня вредная пища, ядъ!..

Не отвѣчаютъ ему отъ «Лярвы». Онъ подходитъ къ моей заградѣ:

— Гляжу-гляжу на вашу индюшечку... ужахаюсь?! Ку-да заходить! И, лихъ ее носить, куренковъ куда заводить! Какой дурной подшибъ палкой — по нѣшнему времени... капиталъ! Вонъ какъ у Вербы съ гусемъ... ночнымъ дѣломъ ухватили, даромъ что собаки. Теперь человѣкъ злѣй собаки! А я свинку свою на ячменекъ вымѣнялъ, да за перекопку татары вина пять ведеръ... до весны до самой обезпеченъ. А какъ отсужу Лизаветину корову... Какъ такъ я въ маѣ получилъ за перекопку? Это все Прибытка старая съ дурной головы плететь! Въ маѣ я за эту... за осеннюю перекопку, а вчера опять получилъ, за обрѣзку, очень огромный виноградникъ! Вотъ Лизаветину корову отсужу, на мои гроши купила, стерва... тогда я, сказать, ба-риномъ ходить буду! А чего я спросить желаю... про павлина! Чего онъ у васъ на холостомъ ходу ходить? То ли бы ужъ скушали, а то на базаръ, татары богатые по случаю изъ хвоста позарются... та-

тарки ихнія замѣсто цвѣтовъ въ волоса убирають. А мясо у нихъ сказать... не вредное?..

И онъ отходитъ — въ прогулочку. Идетъ — по-думывается.

Павлинь... Развѣ онъ мой еще? На табакъ если вымѣнять... осталась одна щепотка, а курить надо много... Къ ночи надо беречь, къ ночи наваливаются думы. Одичаль теперь, не поймать. А на табакъ бы можно, — не пшеница.

Осматриваюсь, отыскиваю Павлина. Вонъ онъ, по пустырю бродить, хвостомъ возить. Татаркамъ на украшеніе... богатымъ. Остались еще богатые? Гляжу — прикидываю... и онъ глядитъ на меня, мой «табакъ». Я отвожу глаза, стараюсь подавить прошлое. Первая радостная утра, начинавшіяся крикомъ его на крышѣ нашего домика, его топотаньемъ по желѣзу... А безъ него будетъ еще чернѣе...

Я сажусь на каменное крылечко у веранды. Оно остыло. Солнце ушло за домикъ. Гляжу на сухія грядки, — солнце и съ нихъ сползаетъ. Да, огурцы пожухли. Поклеваны помидоры, висятъ кровяными лоскутками. И поливать не надо. Всматриваюсь въ потрескавшуюся у ногъ землю. Муравьи еще живы. суется-тащутъ по своимъ норкамъ. Какіе-то и у нихъ планы. Этого, какъ-будто, размышляетъ, поводитъ усикомъ... не мыслитель ли муравьиный? Я беру вѣтку сухого тисса и веду по землѣ, мету. Гдѣ теперь планы и... философія? Такъ и все. Чья-то слѣпая сила. Мететь... И... солнце по кругу ходитъ. Вѣчно ли ходить будетъ... Придетъ и на него сила. И оно не будетъ ходить по кругу.

ЧУДЕСНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ

Да когда же накроетъ ночь это ликующее кладбище?! Солнце остановилось надъ Бабуганомъ, не уходитъ. Не насмотрѣлось. Смотри, смотри... «Истребитель» приглянулся тебѣ, и ему посылаешь привѣтнаго зайчика на выппель, — добрый вечеръ!

Просыпаются тамъ — ночь чуютъ. Похаживаютъ, въ черной кожѣ, по палубѣ, пощелкиваютъ дельфиновъ, — чешутся у нихъ руки.

Нѣтъ, западаетъ солнце. Судакскія цѣпи золотятся вечернимъ плескомъ. Демерджи зарозовѣла, замѣдлѣла... плавится, потухаетъ. А вотъ ужъ и синѣть стала. Заходитъ солнце за Бабуганъ, горитъ щетина лѣсовъ сосновыхъ. Погасла. Похмурился Бабуганъ, глядитъ сурово, ночной, — придвинулся. Меркнуть подъ нимъ долины. Тянетъ оттуда тревожной ночью... Выстрѣлы бьютъ по ней, — боятся ли, угрожаютъ...

Пора и вамъ, тихія курочки, прибираться къ ночи. Последнія дамъ вамъ отруби. Пришелъ и Павлинъ покрасоваться хвостомъ, танцуетъ. Чего ты танцуешь, Павка? Нечѣмъ мнѣ заплатить тебѣ. Промѣняю тебя татарину-богачу, — будешь плясать недаромъ.

Я подкрадываюсь къ нему, протягиваю руку. Онъ, словно, чувствуетъ, оглядываетъ меня, взмываетъ на ворота и шумно падаетъ въ темноту.

Я все стою и смотрю, какъ курочки вспархиваютъ на оконце курятника, легкія и пустыя. Индюшка тревожно вертится у пустой чашки, пытается меня глазкомъ. Ну да, больше ничего не будетъ.

Вотъ онъ и конченъ день, незнаемый день, про-

житый для чего-то, — совсѣмъ ненужный. Какое швырянье днями! Можно теперь посиживать на пороѣ, глядѣть на звѣзды, — хоть до утра. Онѣ будутъ мигать, мигать... Поэты ихъ воспѣвали, ученые разглядывали въ стекла. Разглядываютъ давно. Есть ли тамъ, темныя между ними, умирающія земли? Гдѣ ты, страждущая душа, моей родная? Что тамъ развѣяно, по мірамъ угасшимъ? А сколько тамъ крови пролито и выстрадано страданій! Или все свято тамъ... ни свято и ни грѣшно, а такъ — миганье?

Нѣтъ отвѣта и никогда не будетъ. Онѣ мерцаютъ-горятъ, зеленыя, голубыя, — неслышная музыка холодящаго огня надъ тлѣньемъ. Лопаются міры, сгораютъ въ огняхъ, какъ соръ...

Усталые, тихіе шаги. Ты это... Мы сидимъ съ тобою плечо къ плечу и молчимъ. Думаемъ... Не о чемъ теперь думать. Камни такъ думаютъ, тысячи лѣтъ лежать въ неподвижной думѣ. Въ ничто уходить — стираются, пропадаютъ.

Видишь — упала звѣзда, черкнула огневой нитью... Подумала ты, я знаю... но это не можетъ сбыться. Не надо пытаться и звѣзды: онѣ никогда никому не сказали слова, — тѣ же камни.

— Добрый вечеръ!.. — доходить изъ темноты голосъ.

Это наша сосѣдка, что когда-то жила въ Парижѣ. Она пробирается въ свѣтъ звѣздъ, черезъ цѣпляющіе кусты шиповника.

Сидимъ — молчимъ.

— Сегодня... — начинается она съ удушья и замолкаетъ. — Носила няня продать золотую цѣпочку покойнаго Василия Семеныча, шесть золотниковъ. Дали шесть фунтовъ хлѣба... Что же дѣлать?..

Молчимъ. На звѣзды, на море посмотримъ. Стрѣлки струятся — вспыхиваютъ на немъ.

— Голова стала мутная, ничего не соображаю. Дѣтишки таютъ, я совсѣмъ перестала спать. Хожу и хожу, какъ маятникъ.

За шиповникомъ шуршитъ кто-то, нащупываетъ калитку.

— Кто тамъ?..

— Я... — слышится робѣющій дѣтскій голосъ. — Анята... мамина дочка...

— Кто — Анята... Ты чья? откуда?..

— Анята, дочка... мама послала... мама Настя!..

Это, должно быть, снизу, изъ мазеровской дачи. Тамъ Григорій столяръ, Одарюкъ, дачный сторожъ. Бывшій сторожъ, теперь — хозяинъ.

Я подхожу къ воротамъ и признаю дѣвочку лѣтъ шести, бѣловолосую, съ бѣлой косичкой-хвостикомъ. Бывало, она играла въ садикѣ своей дачи, кричала мнѣ вслѣдъ всегда:

— Ба-линь!.. дластвуй!..

Ее и въ темнотѣ видно. Она стоитъ за калиткой и колукаетъ столбикъ, молчить. Я спрашиваю, что ей нужно. Она начинаетъ плакать тихими всхлипами.

— Мама послала... дайте... маленькій у насъ помираетъ, обкричался... Крупки на кашку дайте... Папа Гриша уѣхалъ, повезъ кровати...

Я безсильно смотрю на нее, въ щетлю попавшую, какъ и все, — на темныя массы горъ, на черный провалъ, гдѣ городъ, гдѣ только одинъ огонь — красный глазъ «истребителя»: одинъ онъ не спитъ, зажегся.

Что я могу ей дать?

Она проситъ позволить — подобрать на землѣ: можетъ, отъ куръ осталось, виноградныхъ выжимокъ прошлогоднихъ. Она и въ темнотѣ видитъ и возьметъ — совсѣмъ трошки!

Но у меня нѣтъ жмыха. Какъ индюшка, глядитъ на меня глазкомъ, — по ея вздоху чувствую: нѣтъ жмыха?! Какъ и «Тамарка», она еще не можетъ понять, что случилось. Вѣдь ее посылала мама... мама Настя!

Она уноситъ горстку крупы въ бумажкѣ.

Я стою за воротами, въ темнотѣ. Я прислушива-

юсь, какъ уходить она за балку, подъ горку, гдѣ надѣдно торчитъ желтая днемъ, невидная теперь мазеровская дача. Тамъ они погибають, пятеро.

Я припоминаю Одарюка, статнаго, красиваго мужика, хорошо добывавшаго въ Севастополѣ на оборонной работѣ. Революція кончила всѣ работы, сбила его съ пути, и пошелъ Одарюкъ по легкой, казалось ему, дорожкѣ. Онъ живо спустилъ хозяйскую мебель, кровати, посуду и умывальники пансіона, — мѣнялъ за горами на пшеницу, вино и сало. Выпили-съѣли дачу, а столяръ никому не нуженъ. А ходить по садамъ за полуфунтомъ... ну, еще будетъ время. Можно домѣнывать, что осталось, бродять и недорѣзанныя коровы... И принялся Одарюкъ за рамы, снималъ двери, содралъ линолеумъ... Да еще сколько желѣза будетъ, какая крыша! А рабочая власть — своя: безъ хлѣба челоуѣкъ не оставитъ! Того не было и при царской власти.

А ночь идетъ и идетъ.

— Вотъ не могу придумать... — томится старая барыня. — Есть у меня будильникъ...

А кому нуженъ теперь будильникъ! Уснуть — и не просыпаться.

— И еще у меня что есть... Только ужъ я не знаю... — говорить она нерѣшительно. — Вотъ, изъ горнаго хрусталя...

Она открываетъ коробочку и — будто шумитъ горошкомъ — вытягиваетъ длинное ожерелье, мелко сверкающее на звѣздахъ.

— Чудесное ожерелье... Смотрите, какая роскошь!...

Я перебираю граненые шарики — крупные, мельче, мельче. Они пріятно шумятъ, холодятъ и играютъ въ пальцахъ — тянутся на резинкѣ.

— Думаю, его если...

Она говоритъ такъ скорбно, словно теряетъ безцѣнное. Чудачка, что за него дадутъ!

— Видите... оно для меня о-чень дорого...

Я понимаю: на этих хрустальных шариках кусочки ея души. Но теперь нѣтъ души, и нѣтъ ничего святого. Сдраны съ человѣческихъ душъ покровы. Сорваны — пропиты кресты натѣльные. На клочки изорваны родимые глаза — лица, послѣднія улыбки-благословенія, нашаренныя у сердца... послѣднія слова-ласки втоптаны сапогами въ ночную грязь, послѣдній призывъ изъ ямы треплется по дорогамъ... — носить его вѣтрами.

Человѣческое младенчество! Пора, наконецъ, покончить съ этими пустяками!..

— Столько было съ нимъ связано... Покойный Василій Семенычъ въ Парижѣ его купилъ, на бульварѣ Дез'Итальяен... заплатилъ три-ста франковъ! Тогда это была ужасная для насъ сумма! Это сколько будетъ на наши деньги? Сто двадцать рублей на золото?! Сколько же можно было тогда купить хлѣба, простого хлѣба!..

— Пудовъ... сто двадцать.

— Ка-акъ.....! это не можетъ быть...

— Чернаго хлѣба можно было купить... двѣсти пудовъ, больше.

— Двѣсти... пудовъ! Значить, если намъ... по два пуда на мѣсяцъ... Значить, на... двадцать лѣтъ?!

— На восемь лѣтъ, — поправляю я.

— Бо-же мой! Здѣсь... — она прижимаетъ ожерелье къ горлу, я не вижу ея лица, — здѣсь б ы л о на восемь лѣтъ жизни..! для дѣтей!! Не можетъ этого быть... это же сумасшествіе. Мы потеряли счетъ... мы все, все потеряли! Такой дешевый былъ хлѣбъ!? печеный хлѣбъ!..

— Да, п е ч е н ы й хлѣбъ... — съ трудомъ выговариваю я это странное, забытое слово: печеный! Мы потеряли не с ч е т ъ... мы потеряли ж и з н ь! Для мертвыхъ все — ни-че-го!

Печеный хлѣбъ... Я вглядываюсь въ это странное

слово... давно забытое. И вдруг... я вспоминаю! Я слышу, так ослѣпительно слышу, — слышу! — вязкій и пряный духъ живыхъ пекаренъ, вижу и темные, и черныя караваны на телѣгахъ, на полкахъ, на головахъ, въ столбушкахъ, разсыпанные на камняхъ... дурманный аромать ржаного тѣста... Я слышу drobный хрустъ ножей, широкихъ, смоченныхъ, врѣзающихся въ хлѣбы... я вижу зубы, зубы, рты, жующіе съ довольнымъ чмоканьемъ... напряженныя глотки, вбирающія спазмами...

— Тогда рабочій человѣкъ имѣлъ рубль въ день, и больше... Шестьдесятъ шесть фунтовъ хлѣба... печенаго!! Теперь...

— Ти-ше! Ради Бога...

— На хлѣбной Волгѣ погибають миллионы отъ голода... а радіо оповѣщаетъ міръ, какъ всѣ довольны...

— Ради Бога... ти-ше!

Мы молчимъ. Мигаютъ звѣзды.

— Триста франковъ! Оно же удивительной работы... Я такъ все ясно помню, тотъ день. Было очень жарко, въ іюнѣ мѣсяцѣ... сезонъ въ Парижѣ. Въ «Опера» давали «Гугенотовъ». Унасъ было совсѣмъ немного денегъ. Мужъ ходилъ въ Сорбонну, я ему помогала въ языкѣ. Въ тотъ день мы отдыхали, были въ Луврѣ... На тротуарахъ... — они широкіе въ Парижѣ, — подъ полотняными маркизами, — кафэ, все столики, все столики... наряды, столько всякаго народу... иностранцевъ... Прямо, не вѣрится, какъ-будто сонъ... Кучера въ цилиндрахъ, съ длинными бичами. За столиками ѣдятъ мороженое, бушэ-зефиръ, кроке-точки... пьютъ цвѣтное что-то... Столько свѣту!.. какъ сонъ... Господи, какъ сонъ... Персики въ корзинахъ, абрикосы, клубника такая крупная, даже вотъ сейчасъ, какъ пахнетъ... Бѣлыя шляпы, въ золотистыхъ кружевахъ и лентахъ, такая была мода. И цвѣты, цвѣты... цѣлые возки, въ корзинахъ, въ грудяхъ, на рукахъ...

розы, сирени, лиліи... Сладкій аромат ихъ помню. Помню, странный старикъ ходилъ съ тремя подсолнечниками на груди и приставалъ ко всѣмъ: «Вейе, месье!» Ему совали деньги и говорили: «мерси, месье!» Скоро сорокъ лѣтъ, а я все помню, мою весну. Ъли мороженое изъ земляники, и Василій Семенычъ уронилъ въ вазочку сигару... какъ смѣялись! Хромой газетчикъ сказалъ такъ бойко: «бон аппети, месье!» И теперь тамъ такъ!? Вижу, какъ дымится политая мостовая и все налитые слѣдки подковъ... все блеститъ, блеститъ... Потомъ остановились у витрины... и вотъ, это... вотъ это самое, лежало т а м ъ! Вотъ это самое. Теперь оно... з д ѣ с ѣ! з д ѣ с ѣ!!?

Я перебираю шарики. Холодные, стучать: чок-чок.
— Такъ мнѣ понравилось... Стою — смотрю. И вотъ Василій Семенычъ говорить — а, купимъ! — Онъ никогда мнѣ не отказывалъ, но тутъ, такая сумма... А я, какъ въ трансѣ... ну, не могу уйти! «Это принесетъ мнѣ счастье!» Ну, вотъ, д о л ж н а купить. Зашли... Шикарно въ магазинѣ, все сверкаетъ... какіе жемчуга... И хозяинъ такой изящный, милый... Французъ. Сейчасъ вотъ вижу: черноглазый, въ лиловомъ галстухѣ съ жемчужиной, волосы курчавятся, чуть съ просѣдью... Типа такого... бон-виван! Они какими-то... сладкими духами душатся, эти бон-виваны... нѣжнымъ апельсиномъ пахнутъ. — «Кэ вуле ву, мадамъ?» Я говорила, какъ парижанка, и мы чудесно поболтали. Такая эспаньолка у него — а ля Наполеонъ Третій, или кто тамъ еще... забыла. Прикинулъ къ шеѣ, подкинулъ бархатъ, — дивно! Повелъ насъ въ комнатку зеркальную, пустилъ рожокъ... Какъ миллионы брилліантовъ, очаровательно-волшебный блескъ! И все мнѣ: — «О, мадамъ! И всегда деньги, какъ въ банкъ положите!» — представьте, это былъ шедевръ! послѣдняя работа какого-то стараго итальянца... Вотъ эти, какъ это называется... да, грани! который гранилъ съ фасет... недавно умеръ! —

«Такой работы уже не будетъ, мадамъ! Люди стали нетерпѣливы и не умѣютъ цѣнить. Это былъ — гранд'артистъ!» И мы купили. Потомъ смотрѣли «Гугеноты», я проходила по фойѣ, и всѣ такъ на меня глядѣли... должно быть, принимали за богачку! Съ нимъ я не разставалась скоро сорокъ лѣтъ. И вотъ вчера грекъ предложилъ мнѣ за него... Ну, какъ вы думаете, сколько?! Три! три, фунта, хлѣба!

— За человѣка не дали бы и крошки.

— Вы взгляните, зажгите спичку...

Спичку... Давно нѣтъ спичекъ. Я высѣкаю по кремешку на трутъ, дымится, но получить огонь — мученье.

— Въ немъ восемьдесятъ семь камней, и въ каждомъ больше сорока фасетокъ! Сколько граней! И вотъ, три фунта!

Чудачка... Граней! А сколько граней въ человѣческой душѣ! Какія ожерелья растерты въ прахъ... и мастера побиты...

— Я просила грека: ну, хоть де-сять фунтовъ! Говорить — ѣшь камушки! Говорю: есть у васъ совѣсть?!. — «А что такое совѣсть?» — говоритъ. — «У насъ простой коммерческій расчетъ! это гораздо больше, чѣмъ ваша совѣсть! Нужно везти на Ялту, оттуда пойдеть въ Америку и въ Европу, къ настоящимъ людямъ, гдѣ все на настоящихъ ногахъ. А вы знаете, — говоритъ, — что такое теперь поѣхать въ Ялту?! Это же — на тотъ свѣтъ поѣхать! Вы думаете — ваши господа большевики такіе ангелы? Прежде я черезъ два часа въ Ялтѣ, а теперь я черезъ два часа... въ балкѣ, если не добылъ пропуска! А если я добуду пропускъ, я очень чего-то потерялъ... но объ этомъ надо помолчать! Четыре раза я поѣхалъ — три меня ограбилъ! Вы думаете, не желаютъ кушать въ Ялтѣ? Вы думаете — нѣкоторые люди не любятъ брилліатовъ и золота?! И все-таки я не отказываюсь купить эти камушки и даю вамъ за нихъ три дня...

три дня жить! Вотъ чего стоитъ м о я совѣсть!!»

Въ морѣ играютъ звѣзды. Я смотрю. Направо, за Кастелью — Ялта, смѣнившая янтарное, виноградное свое имя на... какое! Ялта... солнечная морянка, издѣвкой пьянаго палача — Красноармейскъ отнынѣ! Загаженную казарму, портянку бродяжнаго солдата, похабство одураченнаго раба — швырнули въ бѣлыя лиліи, мазнули чудесный ликъ! Красноармейскъ. Злобой неутолимой, гнойнымъ плевкомъ въ глаза — тянетъ отъ этого слова готтентота.

Новые творцы жизни, откуда вы?! Съ легкостью безоглядной расточили собранное народомъ русскимъ! Осквернили гроба Святыхъ и чуждый вамъ прахъ Благовѣрнаго Александра, борца за Русь, потревожили въ вѣчномъ снѣ. Рвете самую память Руси, стираете имена-лики... Самое имя взяли, пустили по-міру безымянной, родства непомнящей. Эхъ, Россія! соблазнили Тебя — какими чарами? споили какимъ виномъ?!

Народы гордые! попустите вы стереть имя отчизны вашей?! Крѣпись, Старая Англія, и ты, роскошная Франція, въ мечѣ и шлемѣ! крѣпкимъ щитомъ прикройся! Не закачайся, Лютеція, корабль пышный! не затони въ зашумѣвшемъ морѣ человѣчьяго непотребства! Случится можетъ... И ты, Лондонъ гордый, крестомъ и огнемъ храни Вестминстерское свое Аббатство! Придетъ день туманный — и не узнаешь себя... Много безъ роду и безъ креста, — жаждутъ, жаждутъ... Много рабовъ готовыхъ. Груды золота по подваламъ, и много пустыхъ кармановъ.

Я смотрю въ сторону б ы в ш е й Ялты. Ея не видно. Но знаю я: течетъ и течетъ туда награбленное добро, поснятое съ живыхъ и мертвыхъ. Течетъ — къ морю. Въ море стекаютъ рѣки. Течетъ черезъ сотни рукъ, подымается на фелуги, на пароходы — плыветъ въ Европу, на Амстердамъ, на Лондонъ... за океаны, на Санъ-Франциско... Берегись, старая Ев-

ропа, скупщица! не растеряй чудесное ожерелье славы! Кто знает...?!

И вы, матери и отцы родину защищавших... да не увидят ваши глаза палачей ясноглазых, одѣвшихся въ платьѣ дѣтей вашихъ, и дочерей, насилуемыхъ убійцами, отдающихся ласкамъ за краденые наряды!..

А вы, несущіе міру н о в о е, называющіе себя вождями, любуйтесь и не отмахивайтесь. Пафосомъ словъ своихъ оплакиваете страждущихъ?... Жестокіе изъ властителей, когда-либо на землѣ бывшихъ, посягнули на величайшее: душу убили великаго народа! Гордые вожди массъ, возсядете вы на костяхъ ихъ съ убійцами и ворами и, пожирая остатки прошлаго, назоветесь вождями мертвыхъ.

А она все сидитъ и томить-стонетъ:

— Ну, какъ же быть-то... съ дѣтьми-то какъ..? Михайла Васильичъ принесъ горошку, послѣднее. Самъ ѣсть желуди и горькій миндаль, мелеть на кофейной мельничкѣ винограднаы косточки и печетъ изъ нихъ какіе-то пирожки... опытъ надъ собой производить и пишетъ работу. Вы понимаете, онъ уже... не въ себѣ. Ну, какъ же? Конечно, я отдамъ ожерелье... пусть хоть три фунта....

Я не могу сидѣть, слушать... Я ухожу и брожу по саду, путаюсь по кустамъ, натыкаюсь на кипарисы, ищу дышать... Душно отъ кипарисовъ, отъ треска цикадъ, отъ неба... Ночь черная, ободокъ молодой луны давно свалился. Подходить урочный часъ — ходить начинаютъ, съ лицами въ тряпкахъ — въ сажѣ, поворачивать къ стѣнкѣ, грабить. Защитить некому. Могутъ притти съ минуты на минуту. Загремятъ въ ворота и крикнуть слово, отпирающее всѣ двери:

— Отворяй, съ ордеромъ изъ Отдѣла!..

А сосѣди ткнутся головами въ подушку и будутъ слушать...

ВЪ ГЛУБОКОЙ БАЛКѢ

Въ морѣ начинается бѣлѣть, — въ морѣ разсвѣтъ виднѣе, — но горы еще ночныя, въ долинахъ — мгла. Напекаютъ широкимъ бѣловатымъ пятномъ дачь. Время идти въ Глубокую Балку, по холодку, — рубить.

Топоръ и ремень со мной. Я поднимаюсь на гребень Горки. Все — на порогъ новаго дня и — спать. Невесело просыпаться.

Сѣрые виноградники по холмамъ, мутная галька пляжа... красный огонь на вымпелѣ!.. Не ушелъ еще «истребитель». С е м е р о могутъ встрѣтить еще одно утро жизни. Я напрягаю глаза — въ сѣрую муть разсвѣта. Видно на посвѣтлѣвшемъ морѣ, какъ суетятся на пристани темныя пятнышки. Ихъ ведутъ, — запоздали? Дѣлаютъ э т о, обычно, глухою ночью. Или хотять показать, какъ встаетъ надъ родными горами солнце, въ послѣдній разъ?..

Я неотрывно смотрю. Погасаетъ огонь на вымпелѣ, начинается дымить труба. Почему шѣтуховъ не слышно? не погромохиваетъ съ шоссе раннею таратайкой? Или пропали звуки?!.. Дробная сверль свистка — единственный знакъ разсвѣта?..

Нѣтъ... Я слышу унылый крикъ — неумирающій голосъ съ минарета. Стоитъ надъ городкомъ бѣлая, тонкая свѣча, — и только одна она еще посылаетъ измученный привѣтъ утру. Только она одна кричить воплемъ, что надъ горами, надъ городкомъ, надъ моремъ, надъ всѣмъ, что на нихъ и въ нихъ, пребываетъ Великій Богъ, и будетъ пребывать вѣчно, и все су-

щее — Его Воля. Вознесите Великому молитву за день грядущій!

Пѣнится за кормой, и, бросая дугою слѣдъ, «истребитель» уходитъ въ море. Пошелъ — на Ялту.

Ихъ было семеро, съ поручикомъ-командиромъ. Татары больше. Долгіе мѣсяцы держались они въ лѣсахъ и камняхъ, на перевалѣ, въ снѣгахъ и ливняхъ. Грозилъ и не сдавались. По Крыму ихъ были сотни — не захотѣвшихъ невѣдомой имъ Европы. Ловятъ перепеловъ на дудочку, селезней на утиный «крякъ». Ихъ поймали заманкой: объявили — прощенье. Они спустились съ оружіемъ, — своей честью, — почернѣвшіе и худые, съ тревожно-сверкающими глазами застигнутой горной птицы. Они ходили по городку тревожно, плечо къ плечу, приглядываясь къ угламъ, прислушиваясь къ ночнымъ моторамъ. Они стереглись ночами, не выпуская изъ рукъ винтовки. Они поглядывали къ горамъ, гдѣ камни были для нихъ — родное: изъ камня выросли ихъ аулы. Пока — имъ не разрѣшали туда вернуться. Ихъ возили на фаэтонахъ: смотрите — друзья, союзники! покорились! Ихъ кормили бараниной и поили виномъ — братались. И тѣнью слѣдовали за ними ясноглазые люди, въ кожѣ. Ихъ испытывали пріятельски о лихой жизни на перевалѣ, объ оставшихся тамъ глупцахъ, о тропкахъ... Потомъ — отобрали оружіе: теперь миръ, и они завтра поѣдутъ въ свои деревни. Потомъ ихъ забрали, ночью. Потомъ... сегодня уѣдутъ дальше. Уѣхали. Съ ними могутъ покончить въ морѣ — швырнуть съ камнями...

Я долго стою на горкѣ, смотрю на кипящій хвостъ.

Можетъ быть, тутъ же на берегу, ихъ жены, матери... или изъ деревень горныхъ видятъ черную лодочку на морѣ и не чувуютъ. Радуются прощенью, ждуть: власти нельзя не вѣрить. Слезы выплаканы давно. Теперь — ослѣпнуть. Такъ ослѣпла старая татарка, надъ которою сжалились осенью, отдали за-

дышающесея тѣло ея офицера-сына, забитаго шомполами. Она вымолила его, выбила головой у камня, въ ногахъ у палачей выла.

— Теперь можешь везти! — сказали.

И она, счастливая, на горной глухой дорогѣ, цѣлобала его въ погасающіе глаза, приняла его вздохъ на родныхъ колѣняхъ. Глухіе буковые лѣса слушали ея тихій плачь — да камни. Да старикъ-возница, со-сѣдъ-татаринъ, теръ кулакомъ глаза.

— Не плачь, горькая женщина, — сказалъ онъ.
— Лучше своя земля.

Э т и х ъ не выдадутъ.

Я отрываю себя отъ моря, иду — высчитываю шаги, чтобы запутать мысли. Вотъ и Глубокая Балка — конецъ мыслямъ. Теперь — бить крѣпче, по пнямъ дубовымъ, тысячелѣтнимъ, въ землѣ увязнувшимъ...

Здѣсь стѣны — чашей, по нимъ — корявые кусты граба, надъ головою — небо. Рубить, не думать. А толкнутся думы — рвать ихъ по зарослямъ, разметать, разсыпать. Смотрѣть на странные кусты граба, игру природы. Не кусты, а чудесныя превращенія, таинственные намеки...

Вотъ — канделябръ стоитъ, пятисвѣчникъ, зеленой бронзы, — кто его сбросилъ въ балку? А вотъ, если прищуришь глазъ, — забытая кѣмъ-то арфа. затиснутая въ кусты, — заросшее прошлое... рядомъ — старикъ горбатый, протягивающій руку. Кольцами подымается змѣя, живая совсѣмъ, когда набѣгаетъ вѣтеръ. Знаки упадка и пустоты, и лжи? А гдѣ-то вознесшійся черный крестъ, заросшій... Вонъ онъ, не затеряется: прицѣпилась къ нему портянка, и насунутое горлышко бутылки посвистываетъ-гудитъ въ вѣтеръ. Это матросы изъ Севастополя стрѣляли здѣсь въ цѣль — въ бутылку. А вотъ знаменательный знакъ вопроса: вѣтромъ загнуло-выгнуло тонкую поросль граба. Недоумѣнный вопросъ — о чемъ? Я все повырбрую въ балкѣ, но крестъ оставлю, горлышко сниму

только. Нѣтъ, оставлю и горлышко: въ осенній вѣтеръ будетъ гудѣть-выть Крестъ — само естество живое — въ опустѣвшей Глубокой Балкѣ. Будетъ стонать, вопить. А вопросительный знакъ...

Я ударомъ срубаю знакъ: онъ всегда заставляетъ что-то рѣшать и думать. Довольно рѣшать и думать! никакихъ вопросовъ! Конецъ и арфѣ, и канделябру, и старику... Змѣю я кромсаю на кусочки. Никакихъ намековъ! Пусть пустота — и только.

Я вырубаю дубовые «кутюки» — съ визгомъ летятъ осколки. Глазъ бы хоть выбили... оба глаза. Тьма все накроетъ. Смотрятъ на меня ящери, желтобрюхъ толстой веревкой медленно уползаетъ съ тропки — тихіе жильцы балки. Съ ними люблю молчать. Кузнечики прыгаютъ на меня, ерзаютъ въ моихъ дырѣяхъ — по знакомству. И я замираю отъ изумленія, когда примѣчу въ кусту изможденнаго «богомолъ»: въ порыжѣвшей ряскѣ, стоитъ онъ на умной своей молитвѣ, воздѣвая изсохшія руки-лапки. Не на Крестъ ли онъ молится, монахъ усохшій? Или не видитъ, что на Крестѣ — бутылка?!

Если бы только это: кусты и камни, въ камняхъ и въ норахъ живущее! Но есть и еще, другое...

Я непременно увижу позеленѣвшую солдатскую гильзу, измятую манерку или лоскутъ защитнаго цвѣта, — и все, залившее кровью жизнь, ударяетъ меня наотмашь. Колышется и плыветъ Балка, текутъ по ней стеклянныя паутины...

Живутъ вещи въ Глубокой Балкѣ, живутъ — кричать.

Здѣсь когда-то — тому три года! — стояли станомъ оголѣлыя матросскія орды, грянувшія брать власть. Били отсюда пушкой по деревнямъ татарскимъ, покоряли покорный Крымъ. Пили завоеванное вино, разбивали о камни и вспарывали штыками жестянки съ консервами. Еще можно прочесть на ржавчинѣ — сладкій и горькій перецъ, фаршированные

кабачки и баклажаны, компотъ изъ персиковъ и черешни, — «Шишманъ»... Тотъ самый Шишманъ, котораго разстрѣляли по дорогѣ. Валялся въ пыли, на солнцѣ, фабрикантъ консервовъ, въ сюртукѣ и манишкѣ, съ вырванными карманами, съ разинутымъ ртомъ, изъ котораго они выбили золотые зубы. Теперь не найти консервовъ, но много по балкамъ и по канавамъ ржавыхъ жестянокъ, свистящихъ дырками на вѣтру. Одурѣвшіе отъ вина, мутноглазые, скуластые толстошеи били о камни бутылки отъ портвейна, муската и аликантэ, — много стекла кругомъ! — жарили на кострахъ барановъ, вырвавъ кишки руками, выскобливъ нутро камнемъ, какъ когда-то ихъ предки. Плясали съ гикомъ округъ огней, обвѣшанные пулеметными лентами и гранатками, спали съ дѣвками по кустамъ...

Славные европейцы, восторженные цѣнители «дерзаній»!

Охраняемые Закономъ, за богатыми письменными столами, съ которыхъ никто не сброситъ портреты дорогихъ лицъ, на которыхъ солидно покоятся начатая работы, съ пріятнымъ волненіемъ читаете вы о «величайшемъ изъ опытовъ» — міровой перекройки жизни. Повторяете подмывающія слова, заставляющія горделиво биться уставшее отъ покоя сердце, эти громкія побрякушки — титаническіе порывы духа, гигантское обновленіе жизни, стихійные взрывы народныхъ силъ, величавыя устремленія осознавшаго свою мощь гиганта-пролетаріата... — кучу гремучихъ словъ, проданныхъ за пятакъ безпардонно-безпутными строкописцами.

Тоскующіе по взлетамъ, вы рукоплещете и готовы послать привѣтъ. Вы даете почетныя интервью, восхищаясь и одобряя, извиняя великодушно частности, обязательно повторяя, что не ошибается только тотъ, кто... Ну, понятно. Ваши громкія имена, мѣченныя счастливымъ рокомъ, говорятъ всему міру, что все въ

порядкъ вещей. Благосклонныя рѣчи ваши наполняютъ сердца дерзателей, выдаютъ имъ похвальный листъ.

Невысока колокоल्या ваша: съ нея не видно.

Покиньте свои почтенные кабинеты, съ успокоительнымъ свѣтомъ пріятныхъ лампъ, съ тысячами томовъ, закрывшихъ золотомъ переплетовъ оголенную сущность жизни. Ступайте и досмотрите сами. Увидите не бумагу, засыпанную словами: увидите затекшія кровью живыя души, брошенные какъ соръ. Увидите все, если только хотите видѣть! Увидите и самихъ дерзателей, развязно не забывающихъ, что императорскіе — дворцы, рольсъ-ройсы и поѣзда, тонкія вина прошлаго, покоющія кресла, поглощающіе ковры, бѣлье тончайшаго полотна съ несорванными коронами, посуда съ гербами чужихъ столовъ, — добытое дерзаньемъ, — куда пріятнѣй пустыхъ панелей бродяжной жизни; что прекрасныя вещи важнѣе прекрасныхъ словъ, а славу можно сорвать и дерзостью; что соблазнительными рѣчами можно замазать глаза рабамъ, наглухо забить уши, а для охраны — можно нанять штыки.

Пойдите сами!

Но не съ именемъ громкимъ, на міръ бряцающимъ. Громкому имени подадутъ покойный вагонъ-салонъ, сладко баюкающій качаньемъ, пущенный на послѣднюю корку, вырванную у нищаго. Громкое имя пропишутъ въ зеркальной рамкѣ столичнаго Гранд'Отель, заботливо сбереженнаго про себя. Громкое имя оттиснуть жирно въ «извѣстіяхъ» собственнаго завода. Будутъ поить виномъ Высочайшей марки, будутъ кормить телятами въ молокъ, стерлядями и дичью лѣсовъ сибирскихъ, мастерски изготовленными лейбъ-поваромъ а ля рюссъ, — такими деликатесами, которые уже и во снѣ не снятся милліонамъ людей безъ имени. И покажутъ гордому имени волшебную панораму... въ рамкѣ!

Нѣтъ! Вы дерзните пойти безъ имени, пойти въ нѣдра... И не глядите черезъ кулакъ. Увидите! Но осторожны будьте: можете упасть въ яму.

Хорошо наблюдать грандіозный пожаръ съ горы, бурю на океанѣ — съ берега. Величавое зрѣлище!

Пусто, глухо въ Глубокой Балкѣ, но и здѣсь не уйти онъ никуда. А если подняться выше — увидишь бѣлыя петли шоссе, на Ялту. Стоять на бугрѣ двѣ палочки, два столба телеграфныхъ. Проволоки на нихъ какой уже годъ звенять все одно и то же — посылають приказы смерти. Здѣсь разстрѣляли на полномъ солнцѣ только что наканунѣ вернувшася съ германскаго фронта больного юнкера-мальчугана, не знавшаго ни о чемъ, утомившагося съ дороги. Сволокли соннаго, привели на бугоръ, къ столбамъ, поставили, какъ бутылку, и разстрѣляли на прицѣлъ — за краги. А потомъ опять пили, жрали баранину и спали по кустамъ съ дѣвками. Пьяными глотками были «тырціональ»...

За кустами граба и дубняка виднѣется деревянный шпиль и красная крыша разбитой фермы. Недавно шумѣла молодостью и силой. Помню благодатныхъ коровъ, бурыхъ и бѣломордыхъ — «Красулекъ», «Полекъ», томно шутившихся на солнцѣ, съ лѣндой жующихъ, когда бойкія бабьи руки позванивали играючи по ведрамъ. Помню мудрую хлопотную, сверкающую бидоны, громяющую къ закату, когда черная таратайка спускалась съ ними, звонко плескавшими. И славныхъ ребятъ помню — пузатаго мальчугана-трехлѣтка, обожженнаго солнцемъ до черноты, съ кушищемъ пышнаго ситнаго въ кулачкѣ, — убѣгающаго отъ куръ съ ревомъ, и круглоликую голоножку, играющую съ телятами. Я и сейчасъ еще слышу вязкій и острый духъ коровьяго пота и навоза. Что за благодатная сыть! какое море молочное!.. благодатное какое солнце!..

Изсякло море. Сигнали коровъ во всенародное стойло, и... усохло море молочное...

Вѣтромъ развѣяны коровы. Заглохла ферма. Растаскиваютъ ее сосѣди. Тамъ — пустота и кровь. Тамъ конопатый Гришка Рагулинъ, матросъ, вихлястый и завидушій, курокрадъ недавній и словоблудъ, комиссаръ лѣсовъ и дорогъ округи, вошелъ ночью къ работницѣмъ погибавшей фермы и недававшуюся заколотъ штыкомъ въ сердце. Нашли свою мать съ штыкомъ проснувшіяся съ зарею дѣти... Пѣли по ней панихиду бабы, кричали при бѣломъ свѣтѣ, съ обиды за трудовую сестру свою, требовали къ суду убійцу. Отвѣтили бабамъ — пулеметомъ. Ушелъ отъ суда вихлястый курокрадъ Гришка — комиссарить дальше.

Куда ни взгляни — никуда не уйдешь отъ крови. Она — повсюду. Не она ли выбирается изъ земли, играетъ по виноградникамъ? Скоро закрасить все въ умирающихъ по холмамъ лѣсахъ.

Я рублю и рублю... Довольно: полонъ мѣшокъ «кутюковъ» дубовыхъ, довольно сучьевъ. Потяну ремнемъ въ гору, потомъ съ горы, потомъ въ гору... Солнце залило балку, надъ головой день полный и жарко-жаркій. Сажусь у Креста, на камень. Дремотно зудятъ цикады. Дремлется на жарѣ...

И Г Р А С О С М Е Р Т Ь Ю

— Добрый день!..

Я вздрагиваю — лечу какъ въ пропасть. Спаль я? Солнце совсѣмъ высоко, а у меня еще много дѣла: надо нарвать листву, выпустить курочекъ; надо итти далеко, къ татарину, просить ячменю пять фунтовъ за проданную рубаху...

— Кажется, вы спали... Помогу вамъ нести.

Стоить подъ «крестомъ» оборванный человекъ: чернявый, съ опухшимъ желтымъ лицомъ, давно небритымъ, невымытымъ, въ дырявой широкополой соломкѣ, въ постолахъ татарскихъ, показывающихъ пальцы-когти. Бѣлая ситцевая рубаха подтянута ремешкомъ, и черезъ дырѣя ея виднѣются желтые пятна тѣла. По виду — съ пристани, оборванецъ.

Я его давно знаю: собратъ, молодой писатель, Борисъ Шишкинъ. Онъ присаживается на камень, и мы молчимъ.

Почему-то мнѣ особенно тяжело при немъ. Тянетъ на меня жутью. Чуетъ мнѣ, что неумолимое стоитъ за его спиной, стоитъ-поигрываетъ, — смѣется: пожметъ за горло и неожиданно выпустить — ну, дыши! Его судьба необыкновенно трагична. Я вижу, какъ она откровенно играетъ съ нимъ: то — вотъ отнимаетъ жизнь, то — вотъ неожиданно даруетъ! И — сыграетъ навѣрняка. Съ нимъ что-то должно случиться. Что — не знаю. Но съ нимъ что-то случится... Когда я встрѣчаюсь съ нимъ, мнѣ становится его жалко и тяжело. Его мечта — онъ ея не теряетъ — уйти хоть подъ землю отъ этой жизни и отдаться пи-

сательству. Я знаю, что онъ и теперь пишетъ — гдѣ-нибудь на камнѣ, на берегу моря, въ заброшенномъ виноградникѣ, въ полнолуніе — безъ огня. Между строкъ, на старыхъ газетахъ, чернилами изъ синихъ какихъ-то ягодъ: не достать бумаги, не купить ни за какія деньги.

И теперь, въ этой балкѣ, онъ говоритъ о томъ же:

— Если бы очутиться на дикомъ островѣ, ракушками питаться, кореньями... и никого чтобы, хоть безсрочно! только бы не мѣшали писать... Сколько у меня темъ! Вы знаете... я хочу о другомъ писать... о дѣтскомъ, о такомъ чистомъ, ясномъ... а это все такъ давить!..

Я знаю, что онъ талантливъ, душа у него нѣжна и чутка, а въ его очень недлинной жизни было такое страшное и большое, что хватить и на сто жизней.

Онъ былъ на великой войнѣ солдатомъ, въ пѣхотѣ, и на самомъ опасномъ — германскомъ фронтѣ. Душою нѣжный, любовно рассказывавшій о травкахъ, онъ долженъ былъ убивать штыкомъ въ брюхо. Онъ попалъ въ плѣнъ на вылазкѣ, три раза бѣжалъ и три раза его ловили. Въ побѣгахъ онъ переплывалъ рѣчки, блуждалъ въ лѣсахъ, хоронился днями въ хлѣбахъ, шарилъ въ сараяхъ по деревнямъ, умирая отъ голода, вырывалъ у дѣтей куски. Въ послѣдней побѣгѣ онъ дошелъ до передовыхъ позицій, въ ночной обстрѣлъ, былъ раненъ своею пулей и оказался въ нѣмецкой цѣпи. Его чудомъ не разстрѣляли, какъ шпіона. Его подвѣсили, въ наказаніе, на столбу, за скрученные назадъ руки, ему «щекотали» скребками ребра до обморока и потомъ его опустили въ шахты. Въ шахтахъ морили голодомъ. Онъ раздѣлся какъ отъ водянки и едва передвигалъ ноги, но его заставляли возить вагонеткой уголь. Но судьба поиграла съ нимъ и подъ землею. Его засыпало взрывомъ съ десяткомъ плѣнныхъ. Черезъ трое сутокъ его отрыли — единственного живого: счастливо его при-

крыла опрокинувшаяся телѣжка. Онъ съ полгода пролежалъ въ больницѣ и воротился въ Россію при обмѣнѣ плѣнныхъ. Онъ добрался до городка на нижнемъ Днѣпрѣ, уже при совѣтской власти, и долженъ былъ поступить на службу, — выбралъ себѣ по сердцу — подбиралъ безпризорныхъ дѣтей-сиротъ. Городъ взяли казаки, его захватили на улицѣ съ портфелемъ, признали за комиссара и потащили, но проходившій по улицѣ офицеръ узналъ въ немъ своего исправнаго взводнаго по ротѣ, на германскомъ фронтѣ. Это было, конечно, чудо. Но чего не бываетъ въ жизни! Онъ перебрался въ Крымъ, гдѣ встрѣтилъ свою семью, попалъ въ армію добровольцевъ, признанъ нестроевымъ и служилъ въ городкѣ, при комендатурѣ. При отступленіи онъ не ушелъ за море. Его арестовали большевики и уже хотѣли, раздѣвъ до подштанниковъ, гнать на Ялту, гдѣ ожидалъ вѣрный разстрѣлъ, какъ опять его спасло чудо: онъ показалъ кому-то тощую книжку своихъ разсказовъ и разсказалъ исторію своей жуткой жизни. Пьяный палачъ глядѣлъ на него тупо и повторялъ: — «А, чортъ... его не беретъ пуля! моя во-зъметъ!» — Взялъ его за плечо, сдавилъ крѣпко и, повторивъ еще разъ, жутко — «моя... во-зъметъ...» — оттолкнулъ бѣшено: — «Ступай... къ чорту!» Онъ опять поступилъ на службу — по приказу. Онъ долженъ былъ шарить по дачамъ и, противъ воли, совѣстливый и тихій, онъ отбиралъ кровати, столы и стулья, лампы и самовары — для начальства. Онъ завѣдывалъ рабочимъ клубомъ, куда никто не ходилъ, и политической читальней, изъ которой не брали книгъ. Но онъ былъ честный работникъ, ему предложили отвѣтственную должность, ему предлагали стать коммунистомъ, но онъ подалъ заявление о болѣзни и, наконецъ, получилъ свободу. Теперь онъ могъ ходить по садамъ — работать за полфунта хлѣба и писать разсказы.

— Теперь я свободенъ! Совсѣмъ уйду изъ прокля-

таго городишки... не буду ни-чего видѣть, слышать... Въ скалахъ буду жить. Солнышко да звѣзды, да море... У насъ тамъ ти-хо! За десять верстъ отсюда. Пусто, подѣ Кастелью. Тамъ была дача у дядюшки.. дядюшка еще въ прошломъ году въ Константинополь уѣхалъ, и мы отхлопотали, какъ трудовое хозяйство... будемъ садъ обрабатывать. Отецъ, мать и я. Братишку на дняхъ отъ военной службы по чахоткѣ освободили... Посѣяли мы кукурузу, виноградъ снимаемъ, заведемъ корову... Заходилъ къ вамъ на дачу проститься, здѣсь отыскалъ...

Онъ былъ неописуемо счастливъ. Онъ сидѣлъ подѣ «крестомъ», наклонивъ голову къ колѣнямъ, и что-то проглядывалъ въ тетрадки.

— Буду писать повѣсть... «Радость жизни»! Я такъ ее чувствую теперь... Только не этой жизни, а... ласковой... я ее представляю себѣ, какъ голубое небо...

Онъ такъ счастливъ, что не можетъ думать. Онъ только чувствуетъ.

— Тамъ у насъ есть древнѣй «Хаосъ», обвалъ давнѣй... въ камняхъ — ниши. Устрою себѣ тамъ комнатку, а свѣтъ будетъ проходить въ щели, сверху... Тамъ хорошо писать! А вмѣсто стола будетъ глыба изъ діорита... На будущій годъ посѣемъ пшеницу. Только бы зиму перебиться! Теперь печемъ лепешки изъ желудей... у насъ съ прошлаго года запасено, но только тошно отъ нихъ...

Его опухшее желтое лицо — лицо округи — говорить ясно, что голодаютъ. И все-таки онъ счастливъ.

— А лучше бы было, пожалуй, тогда уѣхать... Европа! Ради семьи остался. Отца, мать жалко было бросать, сестренку... Теперь рѣдко буду приходить въ городъ...

Такъ мы сидимъ подѣ «крестомъ», думаемъ — свое каждый.

— Да!!... — вскрикивает онъ вдругъ. — Слышали, что случилось?

— Что же случилось? Развѣ можетъ еще что-нибудь случиться!

— Убѣжали! сегодня ночью!..

— О н и... убѣжали?!... Т ѣ...?!

Передъ глазами круги, шары...

— Всѣ... всѣ убѣжали... теперь ужъ тамъ! — показываетъ онъ на горы. — Изъ-подъ самой «мушки»!

Докторъ... провидецъ докторъ! Передъ смертью ему о т к р ы л о с ь ?.. или ходили слухи? Но если бы были слухи, не прозѣвали бы т ѣ...

— Произошло это около часу ночи. Въ два часа ихъ собирались забрать на «истребитель»... везти въ Ялту. За н и м и-т о и прислали. Ходили слухи, что они стали слабѣть отъ голоду, — всего по четверкѣ хлѣба да и не каждый день! а какого хлѣба... вы сами знаете. Съ ними сидѣлъ какой-то французъ, за что — неизвѣстно. Онъ-то и показалъ на допросѣ, какъ все случилось. А мнѣ знакомый передавалъ, коммунистъ. Всю ночь такая каша у нихъ была...! Будутъ теперь аресты, возьмутъ заложниковъ... Вотъ какъ было. О н и не собирались бѣжать первое время, надѣялись, что поддержать и выпустятъ. Но когда стали слабѣть — рѣшили, что хотятъ заморить ихъ голодомъ. Что ихъ разстрѣляютъ, они не вѣрили. Вѣдь, объявили амнистію! Ну, сошлютъ... И вотъ какъ-то узнали, что въ Симферополѣ разстрѣляли спустившихся съ горъ «зеленыхъ», какъ и они, и главного кого-то, черкеса, кажется... А то ухаживали и соблазняли службой. Тогда — рѣшили бѣжать, когда выведутъ изъ подвала. Что ихъ повезутъ сегодня ночью, они не знали. Потомъ передумали: испугались, что скоро ослабнуть такъ, что не въ силахъ будутъ бѣжать. И вотъ, рѣшили бѣжать этой ночью! Какъ разъ за часъ до увоза!.. подумайте — какой случай! Составили планъ и бросили жребій, кому со-

бой пожертвовать... кому съ часовымъ схватиться. Вѣдь, безоружные! Французъ не тянулъ жребія, отказался бѣжать. Вѣрилъ, что его непременно освободятъ, неизвѣстно за что схватили... Французъ — и только. Теперь его повезли въ Ялту: зналъ о побѣгѣ и не донесъ! Жребій выпалъ татарину. Они всѣ — тамъ были и русскіе, и татары, и чеченцы... они обнялись и поцѣловались... простились передъ судьбой... Какъ это... хорошо! Совсѣмъ одичали, затравлены... всюду кровь, и... такое братство, передъ судьбой! Потомъ нарочно подняли шумъ въ подвалѣ, чтобы выманить часового. Вышло, часовой сунулся... Татаринъ схватилъ винтовку... тотъ на него... и о н и ринулись! сбили наружного часового и пропали. Ночь была темная, побѣжали прямо къ горамъ, разсыпались... захватили винтовку... Наружный поднялъ тревогу, убилъ татарина, закололъ. Теперь отвѣтитъ за всѣхъ французъ. Въ городишкѣ нѣтъ лошадей, и ночь... а имъ всѣ пути извѣстны. Теперь Переваль дастъ знать! Подпоручикъ у нихъ лихой!.. Пошады теперь не будетъ... Всѣ шестеро.

Я благодарно смотрю на горы, затянувшіяся жаркой дымкой. Они уже тамъ теперь! Благодатный камень!... и вы, лѣса...

— Коммунисты теперь напуганы, опять Переваль отрѣзанъ. И на машинѣ не сиганешь — обстрѣлъ! Всѣ повороты пристрѣляны. Теперь шочевать бояться, будутъ налеты съ горъ. Квартиры извѣстны... понятно, у т ѣ х ѣ есть связь, а не нащупаешь...

Хоть шестеро жизнь отбили! Я съ любовью смотрю на горы, благостныя, суровыя, — покровители храбрыхъ. Храбрыхъ укроютъ камни. Простая правда у нихъ — с в о я. Храбрыми Богъ владѣть! Могутъ быть милостивы — недвижныя. Л ю д и на нихъ живутъ, укроютъ л ю д и. Последнимъ кускомъ подѣлятся. Правда у нихъ — с в о я. Будетъ продолжаться борьба, за п р а в д у, борьба за

душу. И днемъ, и ночью. На глухихъ тропкахъ, надъ пропастями, въ орлиныхъ гнѣздахъ, на проѣзжихъ дорогахъ... Съ радостью припадутъ къ ключамъ свѣтлымъ, будутъ слушать чуткую тишину въ горахъ... Чудо м о г л о случиться!

— Жить интересно все-таки! — восторженно говорить счастливецъ. — Я хорошо понимаю, что значить — у й т и отъ смерти! Счастье *сознательнаго* рожденія... такъ чудесно!

Пора выходить изъ балки. Онъ помогаетъ мнѣ тянуть хворостъ, взвалилъ и мѣшокъ съ тяжелыми «кутюками». Онъ переполненъ счастьемъ.

— Я... сво... бодень!! Чудесный сегодня день! Какія горы!.. вижу, какъ онѣ дышать, и праздникъ у нихъ сегодня, воскресенье... Я напишу о нихъ! Какіе бываютъ случаи...

Я его вижу въ п о с л ѣ д н і й разъ. Ни онъ и никто не знаетъ, что вотъ случится... Дѣтски-наивное лицо его свѣтится такимъ счастьемъ. А гдѣ-то плетутся петли, и никто не чувствуетъ, какая спасетъ отъ смерти, какая его задавить.

Такъ доходимъ до домика. Насъ встрѣчаетъ Павлинъ тоскливымъ крикомъ — стоять на воротахъ, зелено-фіолетово-синій, играетъ солнцемъ.

— Ахъ, красота какая! Сколько всего разсыпано... бери только!

И я не чую, что смерть заглядываетъ въ его радостные глаза, хочетъ опять сыграть. Четыре раза, шутя, играла! Сыграетъ въ пятый, навѣрняка, съ издѣвкой.

ГОЛОСЪ ИЗЪ ПОДЪ ГОРЫ

Я сижу на порогѣ своей мазанки, гляжу на море. И тишина, и зной. Не дрогнетъ паутинка, отъ кедра къ кипарису. Я могу часами сидѣть, не думать. Колокола въ головѣ и ревы — голодный шумъ?... Красные клочья вижу въ себѣ я внутренними глазами, — содомъ жизни...

Но вотъ, рождается тонкій и нѣжный звукъ... Если схватить его чуткой мыслью, онъ приведетъ съ собой друга, еще, еще... — и въ охватывающей дремотѣ они покроютъ собой всѣ гулы, и я услышу оркестръ... Теперь я знаю музыку сновъ — не сновъ, понятны мнѣ «райскіе голоса» пустынниковъ — небесные инструменты, на которыхъ играютъ ангелы?...

Поетъ и поетъ невѣдомая гармонія...

... П-бааа....!

Сбилъ ее въ горахъ выстрѣлъ — поймалъ кого-то? — И вотъ — кровавые клочья... и вотъ они — дѣйствующие сей жизни: стонущіе, ревушіе...

Бѣлые курочки болью смотрятъ въ мои глаза. Знаю — и въ вашихъ головкахъ шумы, но не уловите тонкій звукъ, не приведете гармонію. Что вы смотрите такъ? тѣни стоятъ за вами?... Что вы, маленькіе друзья мои, вглядываетесь въ меня тоскующими глазами? Не надо бояться смерти... За ней — истинная гармонія! Ты, «Жемчужка», не понимаешь, какой и ты чудесный оркестръ, — ничтожный, я все же — наичудеснѣйшій. Твой черный зрачокъ, пуговочка-малютка, — величайшее чудо жизни! Въ этой лаковой точкѣ огромное солнце ходитъ... міры безкрайные! И море въ

твоимъ глазѣ, и горы, вонь эти, сѣрая, въ камнѣ, въ дымкѣ... и все на нихъ — и лѣса, и звѣри, и люди, стерегущіе по пустымъ дорогамъ, притаивающіеся въ камнѣ... и я, у котораго въ головѣ вся жизнь. Все уловишь своимъ глазкомъ, который скоро уснетъ, все унесешь въ невѣдомое... А твое перышко — оно уже потускнѣло, но и оно — какая великая симфонія! В е л и к і й даль тебѣ жизнь, и мнѣ... и этому чуду-муравью. И О н ѣ же возьметъ обратно.

Ахъ, какой былъ чудесный оркестръ — жизнь наша! какую игралъ симфонію! А капельмейстеромъ была — мудрая Жизнь-Хозяйка. Пѣли свое, чудесное, эти камни, камни домовъ, дворцовъ, — какъ орутъ теперь дырявыми глотками по дорогамъ! Желѣзо пѣло — бѣжало въ моряхъ, въ горахъ... звонило по дойникамъ, на фермахъ, славной молочной пѣсенкой, и коровы трубили благодатной сытью. Пѣли сады, вызванные изъ дикости, смѣялись миріадами сладкихъ глазъ. Виноградники набирали грезы, пьянѣли землей и солнцемъ... Пузатые бочки дубовъ лѣнивыхъ, барабаны будущаго оркестра, хранили свои октавы и громъ литавръ... А корабли, съ мигающими глазами, незасыпающими въ ночи?! А ливнемъ лившаяся въ желѣзное чрево ихъ золотая и розовая пшеница свое пѣла, тихую пѣсню тихо родившихъ ее полей... И звоны вѣтра, и шелестъ травъ, и неслышная музыка на горахъ, начинающаяся розовымъ лучомъ солнца... — какой вселенскій оркестръ! И плетущійся старикъ-нищій, кусокъ глины и солнца, осколокъ человѣчій, — и онъ тянулъ свою лѣсню, довѣрчиво становился передъ чужимъ порогомъ... Ему отворяли дверь, и онъ, чужой и родной, убогая связь людская, засыпалъ подъ с в о и м ѣ кровомъ. Ходилъ по жизни ласковый Кто-то, благостно сѣялъ душевную мудрость въ людяхъ...

Или то сонъ мнѣ снился, и не было звуковъ ча-

рующего оркестра? Я знаю, — не сонъ это. Все это б ы л о въ жизни.

Я же ходилъ и по темнымъ дорогамъ Сѣвера, и по бѣлымъ дорогамъ Юга. Я довѣрчиво говорилъ съ людьми, и люди довѣрчиво отвѣчали мнѣ, и Христосъ невидимо ходилъ съ нами. Чужія поля были м о и поля, и далекая пѣсня незнакомаго хутора меня манила. Шаги встрѣчнаго на глухой дорогѣ были шаги моего товарища по жизни, и не было отъ нихъ страха. И ночлеги въ поляхъ, и ласковость родной рѣчи... Правила всѣмъ и всѣми старая, мудрая, Жизнь-Хозяйка!

И вотъ — сбился оркестръ чудесный, спутались его инструменты, — и трубы, и скрипки лопнули... Шумъ и ревъ! И не попадись на дорогѣ, не протяни руку, — оторвутъ и руку, и голову, и самый языкъ изъ гортани вырвутъ, и исколютъ сердце. Это они въ головѣ — шумы-ревы развалившагося оркестра!

Шуршитъ за изгородью, шипитъ... будто змѣи ползутъ на садикъ. Я вижу черезъ шиповникъ — ползетъ гора хвороста и деревъ, со свѣжими остріями рубки. Шипитъ хвостомъ по камнямъ дороги. Ползетъ гора хворосту, придавила человѣка. Останавливается, передыхаетъ, — и слышу глухой голосъ изъ-подъ горы:

— Добрый день...

Черезъ рѣдкій шиповникъ я вижу волосатые ноги, въ ссадинахъ, мотающіяся отъ слабости.

— Добрый день, Дроздъ. Свалите пока, передохните.

— Нѣтъ ужъ... потомъ и не подымешь...

Это почтальонъ Дроздъ. Почтальонъ когда-то... Теперь...? Какія теперь и откуда письма?!

Правда, въ первый же день прихода завоеватели объявили «сношенія со всѣмъ міромъ». Пришелъ на Горку пьяный Павлякъ, комиссаръ-коммунистъ недавній, бахвалился:

— Установиль сношенія съ Франціей... съ чѣмъ угодно! Пу-устъ напишуть, покажутъ связь... Какъ мухъ изловимъ!...

Не совладалъ Павлякъ съ величіемъ своей власти: выпрыгнулъ изъ окна, разбилъ черепъ. И прекратились «сношенія». Новый начальникъ, рыжебородый разсылный, рычитъ изъ-за рѣшетки:

— Че... го-о?... Никакой заграницы нѣту! одни контриціонеры... мало вамъ пи-сано? Будя, побаловали...

И вотъ — сложилъ свою сумку Дроздь и — «занимается по хозяйству».

Каждый день поднимается онъ мимо моей усадьбы, съ топоромъ, съ веревкой — идетъ за шоссе, за топливомъ, — на зиму запасаетъ. Я слышу его заботливые шаги передъ разсвѣтомъ. Нарубить сухостоя и слегъ, навалить на себя гору и ползеть-шипить по горамъ, какъ чудище, черезъ балки, — и вверхъ, и внизъ. За полдень проходить мимо, окликнуть и постоять: духъ перевести надо.

Это — шраведникъ въ окаянной жизни. Такихъ въ городкѣ немного. Есть они по всей растлѣвающейся Россіи.

При немъ жена, дочка лѣтъ трехъ и наслѣдникъ, году. Мечталъ имъ дать «постороннее» образованіе, — всестороннее, очевидно, — дочку «пустить по зубному дѣлу», а сына — «на инженера». Теперь... — впору спасти отъ смерти.

Когда-то разносилъ почту по пансіонамъ, съ гордостью:

— Наша должность — культурная миссія!

Когда-то покрикивалъ весело:

— Господину Петрову — цѣлыхъ два! Господину агроному... пи-шуть!

Потомъ говорилъ торжественно, въ измѣнившемся ходѣ жизни:

— Гражданкѣ Ранейской... по прошлогоднему

званію — Райнесъ! Товарищу Окопалову... съ соці... алистическимъ привѣтомъ-съ!

Потомъ — прикончилось.

Онъ съ благоговѣніемъ относился къ европейской политикѣ и европейской жизни.

— Господину профессору Коломенцеву... изъ... Лондона! Пріятно въ рукахъ держать, какую бумагу производить. Ужъ не отъ самого ли Лойдъ-Жоржа?... Очень почеркъ рѣшительный...

Ллойдъ-Джорджа онъ считалъ необыкновеннымъ.

— Вотъ такъ.... по-ли-тика! Будто и на социализмъ подводить, а... тонкое отношеніе! Съ нимъ политику дѣлать... не зѣвать. Прямо... необыкновенный теиій!...

И пришло Дрозду испытаніе: война. Растерянный, задерживался, бывало, онъ у забора:

— Не по-ни-маю...! Такой былъ прогрессъ образованія Европы, и вотъ... такая некультурная видимость! Опять о н и частныхъ пассажировъ потопили! Это же невозможно переносить!.. такое озвѣрѣніе инстинктовъ... Надо всѣмъ культурнымъ людямъ сообщить и принести культурный протестъ... Иначе... я ужъ не знаю что! Немыслимо!

Онъ ходилъ въ глубокой задумчивости, какъ съ горя. За обѣдомъ, хлебная борщъ, онъ вдругъ задерживалъ ложку, ужаленный острой мыслью, и съ укоризною взглядывалъ на жену. Его четырехугольное, скуластое лицо, съ мечтательными, голубиного цвѣта, глазами, какіе встрѣчаются у хохловъ, сводило горечью.

— Развѣ не посолонила? — спрашивала жена.

— Такъ, нарушать, прин-ципы, культурной, нравственности! — съ укоризной чеканилъ Дроздъ, трясая ложкой и расплескивая борщъ на скатертку. — Европа-Европа! Куда ты идешь?! надъ бездной ходишь!.. Какъ ниспровергнуто все, ажъ...!

— Да кушай, Гарасимъ.... борщокъ стынетъ. Сда-лась тебѣ твоя Европа, какое лихо!... Ну, шшо тѣбѣ... гроши тѣбѣ даютъ?...

— Гро-ши! Ну, шо ты у полытикѣ domeкаешъ? А-ааа... Правильно говорить Прокофій: подходятъ страшныя времена изъ Апокалипса Ивана Богослова... кони усякіе, и черныя, и бѣлыя... и всадники на нихъ огненныя, въ желѣзѣ... въ же-лѣ-зѣ!

— Зачиталь голову твоею Прокофій, всѣмъ голову морочить. Таня сказывала... всѣхъ дѣтей на крышу съ собой забралъ ночевать и топоръ унесъ, чудеса ему чудятся...

— Чу-де-са... — съ укоризною отвѣчалъ Дроздъ. — Чудеса могутъ быть. Если куль-ту-ра такъ... ниспровергается, то обязательно нужны чудеса, и будутъ! От...кровеніе! А почему — от...кровеніе?! Отъ.... крови! Если такая кровь, обязательно будутъ чудеса! Прокофій чу-етъ. Говорить какъ?... — «Не имѣю права брать за работу деньгами, въ деньгахъ кровь! Я тебѣ сапоги сошью — ты мнѣ... хлѣбушка душевно принеси!» — Вотъ какъ надо, если по закону духовному... Это—куль-ту-ра! И вотъ даже Лойдъ Жоржъ..!

— Сиротъ и оставить Прокофій твой.

— Сиротъ должны добрые люди подобрать, съ любо-вію! Чего ты такъ понимаешь? Нужна нравственная мораль! Чѣмъ люди живы? Ну?! Что графъ Левъ Толстой велитъ... его вся Европа уважаетъ, какъ... ге-нія! А въ двадцатомъ вѣкѣ... и одинъ дикій инстинктъ! А-аааа....!

Онъ очень любитъ слова: прогрессъ, культура. Говорить — «прѣ-грессъ» и «референ-думъ». Онъ уважалъ людей образованныхъ и называлъ себя... прогрессистомъ. Онъ не разбирался въ партіяхъ: онъ только хотѣлъ — «культуры». И когда налетѣли большевики и стали хватать по доносамъ, кого попало, схватили и смиреннѣйшаго Дрозда — «врага народа». То были первые большевики, матросы, дикари, и съ ними гимназистъ изъ Ялты — командиромъ. Они посадили Дрозда въ сарай, вмѣстѣ съ калѣкой нота-ріусомъ и Иваномъ Михайлычемъ, профессоромъ, ко-

тому на дняхъ пожаловали пенсію — по фунту хлѣба въ мѣсяцъ. Двѣ ночи сидѣлъ Дроздъ въ сараѣ, ждалъ разстрѣла. Спрашивалъ «господь»:

— За что?! Политикой не занимался, а только развѣ про культуру. Скажите рѣчь имъ... про культуру и мораль! обязательно скажите! просвѣтите темныхъ!...

Въ сарай совались матросы головы:

— Что, господа енералы.....?! Сегодня ночью рыбъ кормить будете господскимъ мясомъ....

— Хорошо, братцы... Одинъ Господь Богъ и въ смерти и въ животѣ воленъ, а ты только Его орудіе... помни и не гордись! Можетъ, для твоего вразумленія такъ дано... каяться потомъ будешь! Ну, ладно, все едино... ну, мы пусть генералы... хорошо... — поокивалъ имъ Иванъ Михайлычъ, — хотя ты, другъ мой глупый, правой руки отъ лѣвой не отличишь, а въ политику полѣзъ. Тебѣ бы, дурачку, на кораблѣ плавать, да съ нѣмцами воевать, Россію нашу оборонять, а ты, вонъ, винцо потягиваешь чужое, да охальничаешь! А зачѣмъ вотъ трудового человѣка, почтальона, убить хотите? У него дѣтки малые, на рукахъ мозоли... Креста на васъ нѣту!...

— А не твоего ума дѣло, старый чортъ... разговорился! Ужо съ рыбами поговори, дворянская кость! по праздникамъ кладешь въ горсть, по буднямъ размазываешь?....

Не стерпѣлъ Иванъ Михайлычъ обиды, схватилъ черезъ дверь костлявой рукой матроса за синій воротникъ, — обомлѣлъ даже матросъ отъ такой дерзости, крикнулъ только:

— Пу...сти... по-рвешь, чортъ!... чего сдурѣлъ?...

— Какъ — чего? Да я самъ вологодской, какъ ты... православной!

— Какъ такъ?! Ужли и ты вологодской?! — обрадовался матросъ, и его широкое, какъ кастрюля, дочерна загорѣлое лицо, раздвинулось еще шире и заиграло зубами.

— Какъ же не вологодской! Говору своего не чуешь? Смѣются-то какъ про насъ!... «Ковшикъ мѣнный упалъ на пно.... оно хошь и досанно, ну да ланно — все онно»!

— Ахъ, шутъ те дери... вѣрно-прравильно! Ну, старикъ... нашъ, вологодской? Покажься мнѣ... — радовался матросъ, захватывая Ивана Михайлыча за плечи. — Правильный, нашъ! А... стой! Уѣзду?!

— Чего тамъ — стой... ну, Усть-Сысольскова уѣзду... ну?!

— Ка-акъ такъ! А я тожа... Ус... сольскова! Н-ну... дѣ-лааа...

— Я самъ земельку оралъ да въ школу бѣгалъ... да вотъ и профессоръ сталъ, и книжки писалъ... и опять могу землю драть, не боюсь! А чего вы этого человѣка забрали, топить собираетесь?...

— За-чѣмъ... мы его на разстрѣлъ присудили, за снисхожденіе...

— Да вы, головы судачьи, глаза-то сперва мыломъ промойте...

— Да ты чего лаешься-то, не боишься ничего, старый чортъ?!

— Говорю — вологодской, весь въ тебя! А чего мнѣ бояться-то, милой? Я ужъ одной ногой давно въ гробу стою... а вы вотъ, видно, сами себя боитесь, — мальчишку-молокососа себѣ за командира выбрали, стариковъ убивать! Да его еще за уши рвать нужно... я ему, такому, двойки недавно за диктовку ставилъ... Вы съ него, сопляка, штаны-то попустите да поглядите: задница, небось, порона, не поджила!...

Дергалъ нотаріусъ старика, — ку-да! А тутъ еще подошли матросы. И ужъ что ни говорилъ имъ ялтинскій гимназистъ, какъ ни взывалъ къ революціонному самосознанію и партійной дисциплинѣ, вологодскій матросъ взялъ верхъ. Выпустилъ изъ сарая всѣхъ:

— Ну, васъ, къ лѣшему!

То было другое время, — другіе большевики, первые. То были толпы російской крови, захмѣлѣвшей, дикой. Они пили, громили и убивали подъ бѣшеную руку. Но имъ могло вдругъ открыться, путемъ неожиданнымъ, черезъ «пустякъ», быть можетъ, даже черезъ одно мѣткое слово, что-то такое, передъ чѣмъ пустяками покажутся всѣ слова, лозунги и программы, требующія неумолимо крови. Были они свирѣпы, могли разорвать человѣка въ клочья, но они неспособны были душить по плану и равнодушно. На это у нихъ не хватило-бы «нервной силы» и «классовой морали». Для этого нужны были нервы и принципы «мастеровъ крови» — людей крови не вологодской...

И вотъ, ни въ чемъ неповинный Дроздъ получилъ избавленіе отъ смерти. Получилъ — и умолкъ навѣки. Онъ уже не говорить о культурѣ и прогрессѣ. Онъ — какъ воды въ ротъ набралъ, и только глаза его, налитые стекляннымъ страхомъ, еще что-то хотѣть сказать. Даже о погодѣ онъ не говорить громко, и не кричить, какъ бывало, размахивая газетой:

— Замѣчательная телеграмма! Рака нашли!... Нѣмецъ сывротку открылъ!

— Планету новую отыскали! Какъ-съ?... Да, комету... Звѣзду пятой величины! пятой!!

Въ войну его мучилъ Верденъ. Онъ не спалъ ночами и что-то выглядывалъ по картѣ. Бѣжить, бывало, — газетой машеть:

— Отби-ли!.. семнадцатый штурмъ-атаку! Геройскій духъ французовъ все смель... къ исходному положенію! къ исходному!...

И все это кончилось — и Верденъ, и духъ... И Дроздъ умолкъ.

Вотъ онъ стоитъ подъ придавившей его горою. Ноги сочатся кровью, словно его полосовали ножами. Подсученные штаны въ дыркахъ. Изъ-подъ горы высматрываетъ съ натугой бурое, исхудавшее, взмокшее лицо — мученика лицо!

— Физическій суставъ совсѣмъ заслабъ... — таинственно шепчетъ Дроздъ. — Питаніе... ни бѣлковъ, ни желтковъ! Какъ-съ... да, жи-ровъ! Бывало, двадцать пять пудовъ съ подводы принималъ... развѣ крикнешь только. Курей водилъ... Дите тамъ заболѣть — курячій бульонъ жизнь можетъ воротить! Сосѣди всѣхъ курей, какъ бы сказать... дескредитировали... Последняго кочетка сегодня изъ-подъ кадушки вынули! Какъ ужъ хоронилъ... Нашъ народъ... — его голосъ чуть шелеститъ, — весь развратный въ своей психологіи... Какъ-съ? Понятно, надо бы на родину. Катеринославскій я. Племянникъ пишетъ — хлѣба мнѣ пудовъ пять приготовилъ... а какъ доставишь? Поѣхалъ — то сыпнякъ, а то ограбили. А совсѣмъ собраться — все бросай! А вѣдь усякой стаканчикъ, сковородка... сами понимаете, задаромъ отдать надо, — ни у кого нѣтъ средствъ. Библіотека тоже у меня... — пудовъ... на пять наберется! погибнетъ вся моя культура... — шепчетъ и шепчетъ Дроздъ, глядитъ испуганно.

— Да, плохо, Дроздъ.

— Позвольте, что я вамъ хочу сказать... Вся цивилизація приходитъ въ кризисъ! И даже... интигенція! — шипитъ онъ въ хворостъ, глядитъ пугливо по сторонамъ. — А, вѣдь, какъ господинъ Некрасовъ говорилъ: «Сѣйте разумное, доброе, вѣчное! Скажутъ спасибо вамъ безконечное! Русскій народъ!!»... А они у старухи крадутъ! Всѣ позиции сдали — и культуры, и морали. Къ примѣру, старушка подо мной живетъ, Наталья Никифоровна, — можетъ, знаете... блюла пріютъ для сиротъ, которые отъ педагога Тихомирова, для народныхъ учителей... и на старости лѣтъ ей куска хлѣба не положено! И вотъ одинъ образованный интеллигентъ сжалился... Да какъ! — «Я, говоритъ вамъ паекъ добуду. Это безобразіе, такому человѣку погибать! Тогда все ниспровергнуто!» — Побѣждалъ къ докторамъ, сты-

дить: старушка святая погибаетъ въ голодной смерти! не уйду, покуда не отчислите! Отчислили. Загребъ всѣ сладости, — къ старушкѣ. — «Исхлопоталь! молитесь на меня!» Заплакала старушка: угодникъ Божій объявился! Выдалъ ей четверку сахару, съ рисомъ смѣшалъ, мучки фунтикъ... Четвертую ей часть пайка, а самъ себѣ все кашку рисовую варилъ на сахарѣ! Люди усе дознали. Прибегъ къ старушкѣ: — «Недоразумѣніе! Я васъ не покину, но чтобы компромиса не было для меня... а то какъ дознають, — и васъ подѣ судъ за незаконное полученіе, и докторовъ въ подвалъ посадятъ!» Заплакала старушка. — «Уйдите отъ меня, я змѣевъ боюсь!» А вѣдь онъ шу-бу на мѣху имѣетъ и золотыя за-понки, съ часами! Усе такъ! Ну, поѣду съ горки, теперь я — дома...

— Слыхали, Дроздъ... бѣжали сегодня ночью!

Дрогнула гора, хвостомъ заерзала...

— Ка-акъ.....?! тѣ.....?! быть того не можетъ.....!

Онъ смотритъ въ ужасѣ Онъ не говоритъ, а дышитъ, и глаза его скосились въ сторону. Ни души кругомъ, никто не слушаетъ.

— Не распространяйте, Бо-же сохрани!... — шепчетъ-шелеститъ онъ, возя хвостомъ. — Тутъ такое можетъ... А вѣрно?... Та-акъ... Ну, поѣхалъ...

Шипитъ шага два и останавливается — лицомъ на море. Шепчетъ:

— А дозвольте васъ спросить... Какъ же теперь... Лойдъ Жоржъ?..

— То-есть... что вы хотите знать, Дроздъ?

Гора молчитъ, раздумываетъ — все къ морю. Потомъ хвостъ ея медленно заворачивается съ шипѣньемъ, словно и онъ все думаетъ, Дроздъ приближается ко мнѣ, и опять — чуть слышно:

— Такъ, вообще... существуетъ?!..

Онъ согнулся подѣ тяжестью горы, вытягиваетъ, какъ черепаха, бурое лицо, и смотритъ вывороченными съ натуги, кровавыми глазами. Пытаетъ ими.

— Это на томъ свѣтъ, Дроздъ. Все это —
было.

— Значить... по-мерь?!

— Живъ. И съ апетитомъ кушаетъ бефштексъ и
запиваетъ портеромъ.

Дроздъ смотритъ съ ужасомъ.

— По...ртеромъ?!..

Какой-то жуткй намекъ улавливаетъ онъ въ этомъ
словѣ.

— Да, портеромъ. Знайте, Дроздъ: каждый на-
родъ имѣетъ своихъ радѣтелей. И они... умѣютъ такъ
говорить и дѣйствовать, что, поговоривъ о человѣче-
ствѣ и высокихъ цѣляхъ, въ результатъ они приобрь-
таютъ... для своихъ, — лишнюю бочку портера!
Вы понимаете?..

— Це-це-це-це... — пощелкиваетъ языкомъ
Дроздъ. — Да-аада-аа...

Онъ совсѣмъ валится на шиповникъ и упираетъ
измученные глаза въ мои. Шепчетъ въ страхъ:

— А мы-то, дураки... Да безъ насъ нѣмцы бы ихъ
еще въ четырнадцатомъ сглotalи!.. Вотъ такъ... обер-
ну-уль..!

— Бефштексъ и портеръ! А у насъ... Такъ-то, ми-
лый Дроздъ!.. И ни-кому не нужны. И сами виноваты!

Онъ испуганъ насмерть. Онъ вертитъ шеей.

— А вѣдь какъ Европа... какую куль-ту-ру сѣяла!
А?! И самъ Лойдъ Жоржъ... я читалъ усъ его слова...
до слезъ! Ну, теперь все пропадетъ... Герценъ замѣ-
чательно пишутъ: Россія пропадетъ — все пропа-
детъ! И правильно говорить Прокофій... от-кровеніе!
Отъ кро-ви.

И онъ уходитъ, праведникъ на кладбищѣ нашемъ.

Праведники... Въ этой умирающей щели, у за-
сыпающаго моря, еще остались праведники. Я знаю
ихъ. Ихъ немного. Ихъ совсѣмъ мало. Они не по-
клонились соблазну, не тронули чужой нитки, — и
бьются въ петлѣ. Животворящій духъ въ нихъ, и не

поддаются они всесокрушающему камню. Гибнетъ духъ? Нѣтъ, — живъ. Гибнетъ, гибнетъ... Я же такъ ясно вижу!

А тамъ... гдѣ нѣтъ миндальныхъ садовъ, блистающаго моря и этого смѣющагося солнца, пирующаго на кладбищѣ? Тамъ — какъ?..

Я смотрю на Сѣверъ, за Чатырь-Дагъ синѣющей... Россія, яблочныя сады, поля... Если бы очутиться тамъ, далеко-далеко отъ развалившихся городовъ, отъ деревень погибающихъ... Все итти, итти... Вотъ луга, росистые луга, къ ночи. Какая свѣжесть! какую нѣжностью дышать дали! Обѣщаютъ — чего ни пожелаешь. Такъ бывало... Теперь?.. Что это — темными шапками по лугамъ? стога ли? Гнилые стога — порѣзанная сила. Сойти съ дороги — и привалиться... Можетъ быть, тихій сонъ навѣютъ поля ночныя, накаркаютъ вороны на разсвѣтъ...

НА ПУСТОЙ ДОРОГѢ

Сентябрь отходитъ. Затихли вѣтры осенняго равноденствія — жару сбили. Въ эту пору погода суха, мягка. Воздухъ прозраченъ, тонокъ. И звонко все, — сухо-звонко. Выгорѣвшіе скаты скользки и жарко блещутъ. Кузнечишки, сухая мелочь, вспыхиваютъ по нимъ сѣрыми брызгами. Сбитое вѣтромъ «перекати-поле» звонко треплется по кустамъ. Днемъ и ночью зудятъ цикады, заводятъ свои пружинки.

Кастель начинаетъ золотиться. Въ долину, по ближнимъ горкамъ, — все больше рыжихъ и красныхъ пятенъ въ подсыхающихъ виноградникахъ, по грабу и дубняку. Я всякое утро примѣчаю, какъ пятна всползаютъ выше, а сѣраго камня больше выглядываетъ въ лѣсахъ: сохнутъ лѣса, сквозятъ. Крѣпкой, душистой горечью потягиваетъ отъ горъ, горнымъ виномъ осеннимъ, — полыннымъ камнемъ. Пьешь его на зарѣ, — и будто чуть-чуть покалываетъ шампанскимъ. Вино веселое...

А голая стѣна Кушъ-Каи — все та же, — все та же лѣтопись: пишетъ по ней невѣдомая рука. Все вбираетъ въ себя, все видитъ. Смотришь на ея камень ясный и думаешь о пустынь... Кругомъ такъ тихо... Но знаю я, что во всѣхъ этихъ камняхъ, по виноградникамъ, по лощинамъ, прижались, зажались въ щели и затаились букашки-люди, живутъ — не дышать. Ничего же не слышно! Ни выкрика, ни стога. Глядятъ на осень, а осень дѣлаетъ свое дѣло — раздѣваетъ.

Я знаю... знаю, какъ кругомъ тихо.

Былъ я недавно тамъ, — бродилъ по пустой догорѣ, по берегу. Такъ, безъ цѣли, какъ вьется въ вѣтрѣ «перекати-поле». Зѣвали бывлыя дачи. Густо сыпали кипарисы шишки — бери, не жалко. Пчелы звенѣли на дикой мятѣ, готовили зимніе запасы — маленькія незнайки! Пауки по взгорьямъ раскинули полотняные навѣсы, какъ отъ солнца, а сами дремлютъ по уголкамъ, будто поджидающіе по прохладнымъ лавкамъ заспанные торговцы. Я такъ все вижу, всѣ мои чувства остры и тонки... Я чувствую даже камни, могу говорить съ пустой дорогой. Она мнѣ рассказываетъ очень много... Можетъ быть, я скоро солюсь со всѣми — и откроются мнѣ предѣлы?..

Я долго стоялъ у «Черныхъ Камней», гдѣ море пробило себѣ лазейки, сторожилъ, не увижу ли крабика между камнями. Не выползалъ крабикъ. Зачѣмъ мнѣ крабикъ? развѣ онъ мнѣ что скажетъ? Это было очень давно, въ сказкахъ дѣтства... Тогда вѣщія щуки дарили счастье, камни на распутьи указывали судьбу, а на могилкахъ тростинки цѣли... Это было очень давно, такъ давно, что никто не помнитъ...

Я отдыхалъ на камнѣ, полоскало мнѣ ноги море. Старикъ-татаринъ цапался по откосу, съ усиліемъ выдиралъ какую-то сухую траву, — зачѣмъ?

— Селям-алекум!

— А-а-лекум! — хрипнулъ старикъ, взмахивая рукой, словно хотѣлъ сказать: про-паль «алекумъ», какъ все!

Я шелъ и шелъ, выглядывая какой-нибудь ухоженный татарскій виноградникъ, тая гдѣ мѣшочкѣ, подъ шишками, заплатанную рубаху. Не дать ли татаринъ-сторожъ хоть грушъ сушеныхъ... Не попался ухоженный виноградникъ. Я забирался въ ржавыя заросли ажины. Не было на ажинѣ ягодъ. Не было человѣка на дорогѣ. А вотъ цѣлыхъ три чловѣка! Дѣти...

Ихъ было трое — двѣ дѣвочки и мальчикъ. Стар-

шая, лѣтъ двѣнадцати, тревожно взглянула на меня обведенными синевой, усталыми, ввалившимися глазами, когда я присѣлъ рядомъ. Двое младшихъ раскладывали на тряпкѣ обглоданныя бараньи кости, кусокъ овечьяго сыра и татарскій чурекъ, лепешку.

— Мунька, убери! — крикнула старшая, кинувъ на меня быстрый взглядъ каримъ глазкомъ, и сама, по-хозяйски, завернула тряпку.

Пиръ неожиданный! Не скатерть ли «самобранка», эта тряпка? И не изъ сказки ли эти бараньи кости и брынза, и чебурекъ пышный — на этой пустой дорогѣ?..

— Ъшьте. Я не возьму, не бойтесь.

Они на меня косятся. Мальчуганъ, лѣтъ семи, смотритъ ошипаннымъ галчонкомъ, — худой, ротастый. Они все подсушены сильно, но ихъ лица приятно-дѣтски, красивы даже. У старшей лицо серьезно, тонкія губы сжаты, выгнуты чуть въ углахъ, — показываютъ характеръ. Но почему этотъ пиръ неожиданный!? и зачѣмъ эти разноцвѣтныя ленточки?.. Въ черныхъ волосахъ старшей — и за ушами, и на плечахъ, и по груди, яркія ленточки! Она все время сама оглядываетъ себя: красиво! И даже на замызганной, въ дыряхъ, ситцевой юбочкѣ — всюду нацѣплены разноцвѣтныя ленточки!

— Почему ты такая, въ лентахъ? Праздникъ, что ли?

Она плутовато усмѣхнулась.

— А такъ... татары нарядили...

Татары?! Я еще ничего не понимаю.

— Да какъ накорми-ли насъ! Всю ночь въ кошарѣ кормили, и все рядили. А потомъ мы заснули. И виномъ поили, и барашку ѣли... И еще и домой дали!

— За что же они тебя виномъ поили? Татары вина не пьютъ.

— А такъ... поили... — повела она плечикомъ и усмѣхнулась къ морю. — И сами пили. И опять при-

ходить наказали. У нихъ хорошо въ кошарѣ, весело. Барашки, собаки... Еще катыкъ ѣли... а они на своей зурнѣ играли... зурна, называется.

Слово за слово — она довѣрчиво рассказала мнѣ свою сказку.

— Мы изъ-подъ «Линдена», Глазковы фамилія. Знаете?! Такъ вы повыше живете? Такъ это у васъ павлинь... Теперь знаю. А вы мнѣ перышковъ дайте... Нашего папашу арестовали, будто корову у Коряка зарѣзалъ. А это... — поглядѣла она на меня, рѣшила что-то и сказала: — Мы не знаемъ, кто у него «Рябку» зарѣзалъ. Мы съ голоду калѣемъ. Миша и Колюкъ убѣжали въ горы... — вы никому не скажите! — братья старшіе. А то бы и ихъ Корякъ заканителить. Камунисть онъ. Отплотимъ ему... какъ онъ папашу билъ! Сказать татарамъ знакомымъ... Онъ черезъ Переваль ходить... Хорошо, Колюкъ покажетъ!... — сказала она съ дѣтской злостью, и у ней задрожали губы.

— Мы... Коляка... убьемъ! камнемъ убьемъ!.. — крикнулъ галчонокъ и погрозилъ кулачкомъ. — Сволочь!

— У него сундуки ховали... всѣ булзуи... мамаса сказать... — отозвалась меньшая.

— Молчи, дура! — крикнула старшая. — Носъ, вотъ, утри! — Все зло отъ Коряка пошло. Стали мы голодать безъ папашы... Вотъ, мамаша и послала насъ собрать шиповникъ или что попадется... ажину тамъ. Велѣла повыше въ горы итти, а то тутъ все погорѣло. И буковые орѣшки-пьянки... А такіе, буковые. Отъ нихъ голова пьяная бываетъ, если много грызть, а то они жи-ирные, вку-усные! Пошли мы... шли-шли... — нѣтъ ничего, все посохлѣ. И черезъ лѣсъ прошли, на Яйлу вышли, у Кушъ-Кай... Человѣчьи кости сколько видѣли...

— Три кости, вотъ такія..! — показаль до плеча галчонокъ.

— Темно ужъ стало, а черезъ лѣсъ ворочаться опять... Заблудились, и ѣсть хочется, ноги не идутъ. Съ утра ничего не ѣли, ягоды только. Мунька реветъ стала, не можетъ итти. И Степушка реветъ... Что я съ ними буду?! И вдругъ собака на насъ... громадная овчарка! Какъ закричимъ! А тутъ татары, хлопцы... чабаны! Я по-ихнему умѣю хорошо, — сказала... Они и повели насъ въ кошару. Вѣжливые такіе. Два хлопца. А у нихъ костеръ, барашки ходятъ... Сталъ онъ меня цѣловать... только не безобразіе какое, а... понравилась я ему. Невѣстой меня называлъ, дурной! — опять усмѣхнулась дѣвочка и повела головкой. — Мусмэ якиши! Досыта накормили. Потомъ сбѣгаль другой, вина принесъ и зурну... и вотъ ленточекъ... деревня близко ихняя. У старшины сыновья они, богатые! Больше тысячи барашковъ было, а теперь мало... Потомъ я спать стала, утомилась. Проснулась къ утру, а они смѣются! а на мнѣ все ленточки эти!.. Какъ татарку убрали... у нихъ такъ невѣсть убираютъ. Такъ они насъ желѣли! И съ собой дали, несемъ мамашѣ. Велѣли и еще приходить. Хлопцы очень хорошіе...

Она погладила ленточку на рваной юбкѣ и усмѣхнулась.

— Не какъ наши хулюганы. Пашка вонъ, подѣ нами живетъ, пошла на кордонъ, хлѣбца попросить... тоже мамаша послала, а они съ ней нехорошо сдѣлали! Она ужъ теперь... сами знаете... нарушенная стала! Такъ все къ нимъ и ходитъ. На годъ только меня старше. Била ее мать — не ходи, дурнакъ будетъ... а она воетъ-кричитъ: пойду и пойду! Вотъ страмота! Съ голоду подыхать?.. Теперь какая гладкая стала!.. А татары вѣжливые. Если бы замужъ взялъ... пошла бы! — бойко сказала она, развязно хлопая по землѣ ладошкой. — Что жъ, что чужая вѣра!

Ну, вотъ и сказка. Смотрю на нее, сытую на одинъ

день, радостную невѣсту... Сказать — не ходи въ кошару?! Я не сказалъ, пошелъ.

Я тоже ишу кошары — татарина въ виноградникѣ, продаю заплатанную рубаху. Пустая дорога — не пустая: писано по ней осколками человѣчьихъ жизней... Вонъ какой-то еще осколокъ...

Я узнаю подвалъ у дороги — когда-то ѣздили за виномъ. Въ рыжемъ бурьянѣ — заржавленная машина, пустая бочка лиловая спускаетъ обручи. Черная кошка-выдра зябко сидитъ на ней — грѣетъ кости. Трепчатъ цикады. Задремываетъ пустыня. Не совсѣмъ пустыня: на ржавомъ замкѣ красныя печати. Вино — что его тамъ осталось! — идетъ кому-то...

Сидитъ человѣкъ на краю дороги, подъ туями, накручиваетъ подвертку. Мелкоглазый, въ рыженькой бородачкѣ, рваный. Прихлопываетъ по сухой хвоѣ:

— Сидайте, ваша милость! вездѣ слободно...

По скрипучему говорку и заиканью я узнаю Федора Лягуна. Онъ живетъ по этой дорогѣ, дальше, — досматриваетъ чье-то покинутое помѣстье.

— Утихомирили всѣхъ господъ, теперь слободно... всѣ утрудящій теперь могутъ, не возбраняется... — Онъ нашариваетъ мой мѣшокъ. — Шишечку собираете... — хорошо! Для самовара... Только вотъ чайку теперь... не каждый въ силахъ... А вотъ у господина Голубева пять фунтовъ отобрали! А какой былъ профессоръ... сто сорокъ десятинъ у такого мѣста!... покосы какіе, виноградники... какіе капиталы?!

— А что, живъ профессоръ?

Лягунъ смѣется. Рыжеватая бородачка смѣется тоже, а крапины на изможденномъ и зломъ лицѣ, веснухи, — поянѣли.

— Живетъ! До девяноста годовъ — живетъ! Всѣхъ переживетъ, на этотъ счетъ настойный! Какъ первые наши приходили, севастопольскіе... — потрясли. Старухъ его не въ чемъ и въ гробъ лечь было.

Босую клали. Ему не обидно, слѣпой вовсе. А крѣ-пкій! Пришли ваши, добровольные... — онъ опять за свое, книги сочинять! Про человѣка шзучаетъ, насчетъ кишковъ. Не видать ему, такъ онъ на машинкѣ все стучалъ. Какъ ни идешь мимо — чи-чи-чи... чи-жить себѣ, шпарить по своей наукѣ! А имѣнье ему въ свой чередъ деньгу куетъ. Ну, и вышла у меня съ нимъ сшибка. Ка-акъ матросики наши налетѣли, се-минуть ко мнѣ... потому я здѣшній пролетарій, законный. ...«Товарищъ Лягуны, какого вы взгляду объ професорѣ? какъ намъ съ имѣ? казнить его, либо какъ?..» А время тогда было шатовое... къ какому берегу поплывешь? Сегодня они, завтра, глядишь, энти подойдутъ... Теперь закрѣпились, а тогда... Ну, я, ваша милость, прямо скажу: я человѣкъ прямой... живемъ мы съ женой, вродѣ какъ въ пустынѣ, самой праведной жизнью... Скажи я тогда одно-о слово... — шабашъ! на мушку! У нихъ разговоръ короткой. Прикрылъ! Говорю — я въ ихнихъ бумагахъ не занимаюсь, а, конечно, они по наукѣ что-то въ книгахъ пишутъ... Безпорядку, я говорю, не замѣчаю, окромѣ какъ пять коровъ... А самъ я, товарищи, — говорю, — вовсе человѣкъ больной, въ чихоткѣ... у меня чихотка три-дцать пятый годъ, и самая кровавая чихотка! Дозвольте мнѣ, товарищи, одну коровку, черненькая... комолая... А въ коровахъ я понимаю. Была у него Голанка, ноги у ней сзадѣ — такъ, дугой... Дали! Только я отъ ее телка принялъ — стельная она была... глядь! мать твою за ногу, энти наскочили! А ужъ я въ городѣ сторожу, пронюхалъ... и х-н-н-н минноседъ у пристани вертится! Къ себѣ бѣжать! Сейчасъ корову за рога, — къ нему. — «Здравствуйте, его превосходительство! наши опять пришли! пожалуйста вамъ коровку, сберегъ до свѣтлаго дня! Ужъ за прокормъ что положите, а телочекъ приставился, подохъ!» Съѣли мы его, понятно. Сдулъ съ него сѣна тридцать пудовъ! Тоже и ему страшно, съ

перваго-то дня: можетъ, наши опять наскочутъ?! Тогда бъ я съ нимъ, что могъ!.. Какъ такъ — что?! Что жъ, что слѣпой? Заговоры какіе... А у него капиталы! Отчислилъ, молъ, сто миліоновъ на угнетеніе утрудящихъ, на контррреволюцію! Вы что думаете?! Я такъ могу на митингъ сказать... всѣ трепетаютъ отъ ужасу! Слеза даже во мнѣ тутъ закипаетъ!

Онъ стучить себя веснушчатымъ жилистымъ кулачкомъ въ грудь и такъ впивается въ мои глаза своими, острыми, зелеными глазами, дышитъ такою злостью, что я отодвигаюсь.

— Я, ваша милость, такъ могу сказать!.. И чихотка можетъ открыться взразъ, до крови... Заперхаю, заперхаю... «До чихотки, — говорю, — могутъ довести нашего брата, какъ гнетутъ!» Кого хочу — могу подвести подъ «мушку». Со мною негодится зубаться, я человѣкъ больной... всегда могу разстроиться! Ну, онъ ни гу-гу! — про корову. Ладно. Только это ваши задрапали по морю — наши родименькіе идутъ. Я, ни слова не говоря, къ нему. А онъ слѣпой, ничего не знаетъ, стучаетъ про свое! Вскожу на виранду, гдѣ у нихъ лѣсенка, подъ виноградомъ... — его дѣлмилосердіе не допускаетъ, дѣвица для ухода у него. Говорю: допускайте, я ихъ спаситель жизни! Вскожу. — Опять, говорю, здрасте, его превосходительство! позвольте васъ съ праздничкомъ проздравить, наши опять пришли!» Выпрямился такъ... — онъ, вѣдь, высокой! — а ничего не видитъ. — «Что тебѣ, Федоръ, надобно?» — «Довѣрьте мнѣ Голанку, а то могутъ быть непріятности. Вы меня знаете, какой я человѣкъ для васъ внимательный, а мнѣ молоко прямо необходимо, какъ я вовсе въ скоротечной чихоткѣ... тридцать пятый годъ страдаю...» Даль! Очень деликатно, ни слова! Такъ мнѣ благодарное обращеніе пондравилось, и я имъ даже отъ любви сказалъ: — «Вы, — говорю, — его превосходительство, надѣйтесь на меня теперь. Я, можетъ быть,

бо-ольшую силу у нихъ имѣю, этого никто не можетъ знать!.. ни одного худого слова про васъ не будетъ доказано! Заштрахую васъ коровкой. Могу даже сказать, что комунистовъ прикрывали! Даже почетъ вамъ будетъ!» Ка-акъ онъ вспрыгнетъ! — «Вонъ, — кричитъ, — с-сукинъ сынъ!» Затопоталъ, такъ и налился, какъ гусь... руками нащупываетъ, трясется... Я человѣкъ прямой, но ежели со мной зубъ за зубъ... ладно! Ну скажите!

Онъ вглядывается въ мои глаза, и въ его зеленоватомъ взглядѣ я чувствую такое, что задыхаюсь, но не могу уйти: я долженъ все выпить.

— А если я все знаю?! По инструкціи я долженъ объявлять! У комунистовъ свой законъ... даже на мать обязанъ донести по партіи! А на эту сволочь всю... А я каждый божій день въ кофейняхъ былъ или по базару... мнѣ все офицеры извѣстно было, кто гдѣ проживалъ! кто что пожертвовалъ... какія рѣчи говорили... Н а м и только и крѣпко все. А тутъ самый буржуй, сто-о со-рокъ десятинь у такомъ мѣстѣ!.. Ладно. Сейчасъ въ свой комитетъ. Самого врага нашель! Отъ чихотки гибнемъ, а никогда молочка стаканчикъ! А у самого семь коровъ! Товарищъ Дерябинъ председатель былъ, стро-гой, у-у..! Все отобрать! до нитки!! Только что девяносто лѣтъ ему, и кто-то изъ Москвы бумагу написалъ, а то бы на разстрѣлъ! Ну, правда, ничего за нимъ не могъ замѣтить, и ску-пой былъ, ни на что рубля не жертвовалъ. Все отобрали, всѣхъ коровъ. И машинку взяли. Теперь стучи хоть объ столъ. А намедни дѣлмилосердіе попалась, змѣемъ меня обозвала и... вотъ ей-богу, фигу показала! Сво-лочь! Руку нашли въ Москвѣ! Будто машинку имъ вернуть хотять... Верну-ли, для науки ученые исхлопотали. Ему бы помирать давно, а онъ...

— Все на машинкѣ стучаетъ?

— Старикъ на-стойный! Нѣтъ, со мной нельзя ца-паться! Есть у меня врагъ одинъ... ну, да Господь поможетъ. Будто я поросенка ихняго собакой изорвалъ! А они мою телку отравить грозятся... Я ихъ устерегу! Вы изволите знать Шишкина?.. какіе это люди? Борисъ ихній въ добровольцахъ былъ, прила-дился... отвертѣлся ото всего! Теперь... въ камни за-лѣзаетъ, чегой-то ли-шетъ!.. Я съ имъ много разовъ говорилъ... У, какой человѣкъ хи-трый! И про меня, будто, сочиняетъ!.. Не чую?! Да ежели опять в а ш и верхъ возьмутъ... что они съ нами исдѣлають?! Бѣжать — не миновать! Я съ ими сусѣди... и ни-чего, отъ меня имъ креду не будетъ... но я человѣкъ боль-ной, собой не владаю, когда у меня, можетъ, полведра чистой крови выхлещеть... я каждый часъ передъ Господомъ могу предстать, какъ вотъ травка... Го-сподь видитъ! Они меня выперли съ дядинкина сада, господина Богданова... который министромъ былъ! а ихній дяденька сушій врагъ пролетаріата, за границу уезжалъ! а старикъ Шишкинъ самъ на хозяйство сталъ, лишилъ меня доходу... Я десять лѣтъ въ сторо-жахъ у господина Коробинцева и Богданова служилъ, мое право законное, а они съ Днѣпровскаго уѣзду на-бѣгли, заѣпали... хотятъ корову покупать... На какіе капиталы?! — я васъ спрошу. Мы темныхъ дѣловъ этихъ не допускаемъ! У нихъ, можетъ, отъ англичанъ огромныя деньги для... нападенія на пролетарскую власть!? А?! Я старику давалъ преду...стереженіе! Не зубайся! Пущай моя корова гуляетъ къ ихнему мѣстѣ. — «Самимъ... сѣна мало!» Ла-дно!

Я слушаю, слушаю, слушаю... Онъ сильно пьянъ. Веснухи на его костлявомъ лицѣ темнѣють, глазки совсѣмъ запали — щелочки въ огнѣ.

— Совѣсть у меня... въ груди, а то... про-пали Шишкины! Страшный Судъ теперь... Господь-Спра-ведливецъ... намъ препоручилъ...

Онъ съчетъ пальцемъ по рябой ладони и вытягивается въ мои глаза. Мнѣ душно отъ гнилого перегара..

Я больше не хожу по дорогамъ, не разговариваю ни съ кѣмъ. Жизнь сгорѣла. Теперь чадить. Смотрю въ глаза животныхъ. Но и ихъ немного.

МИНДАЛЬ ПОСПѢЛЬ

Кастель золотится гуще — сѣраго камня больше. Осень идетъ бойчей, — гдѣ выкрасить, гдѣ раздѣнеть. Курлыкають журавли по зорямъ, тянутся косяками. Уже свистять по садамъ синицы.

Зори — свѣжѣй. Небо — въ новомъ, осеннемъ, блескѣ, голубѣетъ ясно. Ночами — черно отъ звѣздъ и глубоко-бездонно. Млечный Путь сильнѣй и сильнѣй дымится, течетъ яснѣе.

Утрами въ небѣ начинаютъ играть орлята. Звонко кричатъ надъ долинами, надъ Кастелью, надъ самымъ моремъ, вертятся черезъ голову, — рады они первому дальнему полету. Парятъ дозоромъ надъ ними старые.

И море стало куда темнѣй. Чаше вспыхиваютъ на немъ дельфины всплески, ворочаются зубчатая черныя колеса...

Молодые орлы летаютъ... Значить — подходить осень, грозить Бабуганъ дождями.

На ранней зарѣ — чуть сѣро — приходятъ ко мнѣ человѣческія лица, — уже о т ш е д ш і я... Смотрятъ они въ меня... Глядятъ на меня — въ меня, въ каменной тишинѣ разсвѣта, замученные глаза... И угасающіе глаза животныхъ, полные с в о е й муки, непониманія и тоски. Зачѣмъ они т а к ѣ глядятъ? о чемъ просятъ?.. Въ тишинѣ рождающагося дня-смерти понятны и повелительны для меня зовы-взгляды. Я сердцемъ знаю, чего требуютъ отъ меня о н и — уже нездѣшніе... И передъ этой глухой зарей, передъ этой пустой зарей, я даю себѣ слово: — въ душу

принять ихъ муку и почитать свѣтлую память б ы в-
ш и х ъ.

Опять начинаемъ... который день? Студайте, тихія курочки, и ты, усыхающая индюшка, похожая на скелеть. Догуливайте послѣднее!

По краю сада растутъ старыя миндальныя деревья. Они раскидисты, какъ родныя ветлы, и уже роняють желтые узенькіе листочки. Черезъ порѣдѣвшую свѣтку ихъ хорошо голубѣетъ небо.

Я взбираюсь на дерево, цапающее меня за лохмотья, царапающее сушь, и начинаю обивать палкой. Море — вотъ-вотъ упадешь въ него. И горы, какъ-будто, подступили, смотрять — что за чучело тамъ, на деревѣ, машетъ палкой?! Чего онѣ не видали! Глядятъ и глядятъ, тысячи лѣтъ все глядятъ на человѣчье кружало. Всего видали...

Миндаль поспѣлъ: полопался, пріоткрылъ зелено-вато-замшевыя кожурки, словно рѣчныя ракушки, и лупится черезъ щелки розовато-рябенькая костяшка. Густымъ шорохомъ сыплется — только поведешь палкой. Туп-туп... туп-туп... — слышу я сухіе дробные голоски. Попригиваютъ внизу, сбрасываютъ кожурки. Любо смотрѣть на веселое прыганье миндаликовъ по вѣткамъ, на пляску тамъ... — первые шаги-голоски ребяť стараго миндального дерева, пустившихся отъ него въ раздолье. Не скрипи, не горюй, старуха! Коли не срубить — за зимними непогодами снова придетъ весна, опять розово-бѣлой дымкой окутаешься, какъ облачкомъ, опять народишь, счастливая, потомство!

Вижу я съ миндаля, какъ у Вербы, на горкѣ, «Тамарка» жадно былизываетъ разсохшуюся кадушку, сухимъ языкомъ шуршитъ. А что же не слышно колотушки за пустыремъ, гдѣ старый Кулешъ выкраиваетъ изъ желѣза печки — мѣнять на пшеницу, на картошку?!

Отстучалъ положенное Кулешъ. Больше стучать не будетъ.

Голоногая Ляля топочеть-гоняется за миндаликами, — попрыгали они въ виноградникъ.

— Добрый день и тебѣ. Ну, какъ... ѣдите?

— Плохо... Вчера луковичекъ накопили, корку совъ... Вотъ скоро Алеша поддержитъ, привезетъ изъ степи хлѣбца, са-альца!..

Я знаю это. Старшій нянькинъ пустился въ вино-торговлю, контрабандистомъ. Поѣхалъ съ Коряковымъ затемъ за горы, повезъ на степу вино — вымѣни-вать, у кого осталось, на пшеницу. Лихіе контрабан-дисты... Ловятъ ихъ и на перевалѣ, и за переваломъ, — всѣ ловятъ, у кого силы хватить. Пала и на степь смерть, впереди ничего не видно, — виномъ хоть от-вести душу. Пробираются по ночамъ, запрятавъ вино въ солому, держать бутылку наготовѣ — заткнуть глотку, на случай. Хлѣбъ насущный! Тысячи глазъ голодныхъ, тысячи рукъ цѣпкихъ тянутся черезъ го-ры за пудомъ хлѣба...

— Копали крокусы...? Бери камушекъ, разбивай миндалки....

— Спаа-си-бочка-а!.. ба-альшо-е спасибочко!..

Хлѣбъ насущный! И вы, милые крокусы, золотые глазки, — тоже нашъ хлѣбъ насущный.

— А Кулешъ-то по-меръ!.. съ голоду померъ! — почмокиваетъ Ляля.

— Да, Кулешъ нашъ померъ. Теперь не мучается. А ты боишься смерти?..

Она поднимаетъ на меня сѣрые, живые глазки, — но они заняты миндалями.

— Глядите, надъ вами-то... три миндалика цѣ-лыхъ!

— Ага... А ты, Ляля, боишься смерти?..

— Нѣтъ... чего бояться... — отвѣчаетъ она, грызя миндаликъ. — Мапочка говоритъ, — только не му-читься, а то какъ сонъ...со...онъ-сонъ. А потомъ всѣ

воскреснуть! И всѣ будутъ въ бѣ...лыхъ рубашечкахъ, какъ ангельчики, и вотъ такъ вотъ ручки... Подъ рукой-то, подъ рукой-то..! разъ, два... четыре цѣлыхъ миндалика!

Померъ Кулешъ, пошелъ получать бѣлую рубашечку, — и такъ вотъ ручки. Не мучается теперь.

Послѣдніе дни слабѣй и слабѣй стучала колотушка по желѣзу. Разбитой походкой подымался Кулешъ на горку, на работу. Станетъ — передохнетъ. Подбадривала его надежда: подойдутъ холода, повезутъ на степь печки, — тогда и хлѣбъ, а, можетъ, и сало будетъ! А пока — стучать надо. За каждую хозяйскую печку получалъ желѣза себѣ на печку, — ну, вотъ и ѣшь желѣзо!

Остановится у забора, повздыхаетъ.

Онъ — широкій, медвѣдь-медвѣдемъ, глаза ушли подъ овчину-брови. Прежде былъ рыжій, теперь — сивый. Тяжелые кулаки побиты — свинецъ-камень. Послѣдніе сапоги — разбились, путають по землѣ. Одежда его... какая теперь одежда! Картузь — блинъ рыжій, — краска, замазка, глина. Лицо... — сносилось его лицо: синегубый сѣрый пузырь, воскъ грязный.

— Что, Кулешъ... живешь?

— Помираемъ... — чуть говоритъ онъ, усиленіемъ собирая неслушающія губы. — Испить нѣтъ-ли...

Его подкрѣпляетъ вода и сухая пружка. Съ дрожью затягивается кручонкой, — послѣдній табакъ-отрада, золотистый, біюкъ-ламбатскій! — отходитъ помаленьку. Много у него на душѣ, а подѣлиться-то теперь и не съ кѣмъ. Со мной подѣлится:

— Вотъ те дѣла какія... нѣтъ и нѣтъ работы! А, бывало, на лошади за Кулешомъ пріѣзжали, возьмиись только! На Токмакова работаль, на Голубева-профессора... на части рвали. Тамъ крышу починять-лемонтировать, тому водопроводъ ставить, а то... по отхожей канализаціи, по сортирному я дѣлу хорошъ... для

давленія воды у меня глазъ привышный, рука легкая, главное дѣло: хлюгеря самые хвасонистые могъ рѣзать... пѣтушковъ, кониковъ... андела съ трубой могъ! Мои хлюгеря не скрипятъ, чу...ютъ вѣтеръ... кру...тятся, ажъ... по всему берегу, до Ялтовъ. Потому, — рука у меня легкая, работа моя тонкая. Спросите про Кулеша по всему берегу, всякой съ уваженіемъ... Въ Ливадіи, кто работалъ? Кулешъ. Миколай Миколаичу, Великому Князю... кто крыль? Самый я, Кулешъ... трубы въ гармонию? Думбадзя меня виномъ поилъ, съ амшираторскаго подвала! «Не измѣняй намъ, Кулешъ... у тебя рука легкая!» Шинпанскаго вина подноси-ли! Я на недѣль два дни обязательно пьянствую, а мнѣ льгота супротивъ всѣхъ идетъ, всѣмъ я ндравлюсь. Я этого вотъ... дельфина морскова не хлюгеръ рѣзалъ, латуни золоченой... царевны могли глядѣть... по...биты, царство небесное, ни за что! Вотъ ужъ никогда не забуду... пирожка мнѣ печатнаго съ царскова стола... съ ладонь вотъ, съ ербами! Такой ербъ-орель! Болѣ рубля, ей-богу... яственнѣйшій орель-ербъ! Ореликъ нашъ русскій, могущій... И гдѣ то теперь летаетъ! Ливадіи управляющій... генераль былъ, солидный изъ себя... велѣлъ подать. «Не измѣняй намъ, Кулешъ... у тебя рука легкая!» А вотъ... дорѣзался. Упоръ вышелъ...

Объ «упорѣ» онъ говорить не любитъ. А вотъ прошлое вспомнать...

— Сотерну я любитель! Два съ полтиной въ день, а то три... какъ цѣнили! На базаръ, бывало, придешь... Ну, и шо ты мнѣ суешь? Да рази жъ то са-ло? Чутокъ желтитъ — я и глядѣть не стану! Ты мнѣ сливочное давай, розой чтобы пахло... кожаща чтобы хрюпала, а не мыло! Тьфу!

Плюетъ Кулешъ, головой мотаетъ.

— Тянетъ съ этого... со жмыху, внутрихъ жгетъ. Чистый ядъ въ этихъ выжмалкахъ виноградныхъ... намедни конторшшикъ померъ, кишка зашлась. А-ахъ,

вся сила изъ мене уходить... голова гудеть. Брынза опять была... шесъ ко-пеекъ! Тараньку выберешь... солнышко скрозъ видать, чисто какъ портвейна... ба-лычку не удасть...

Онъ всплескиваетъ руками, словно хватаетъ моль, и такъ низко роняетъ голову, что отъ плѣшки за картузомъ, отъ изогнувшейся шеи съ острыми позвоночками, отъ собравшихся — подъ ударомъ — истер-тыхъ плечъ, — передается отчаяніе и... покорность.

— Голубчики мои-и!.. Сласть-то какую проглядѣ-ли... на ч т о смѣняли! Па-дали всякой, соба-чинѣ ради!... А?! Кто жъ это насъ подвелъ — окрутилъ?! Какъ псу подъ хвостъ... По-няли теперь и х ъ, да... Жалуйся поди, жаловаться-то кому? Кому жалова-лись-то... тѣ-то, бывало, жа-ловали... а-теперь и пожа-дѣть некому стало! Жалуйся на и х ъ, на кумани-стовъ! Волку жалуйся... некому теперь больше. Чуть слово какое — по-двалъ! Въ морду ливонверомъ ты-четъ! Нашего же брата давятъ... Рыбаковъ намедни зарестовали... сапоги поотымали, какъ у махонькихъ. Какъ на море гнать — выдають... какъ съ морю во-ротился — скидавай! Смѣются! Да крѣпостное право лучше было! Тамъ хоть царю прошеніе писали... а тутъ откуля о н ъ призошелъ? а? Говорить — е г о не поймешь, какого о н ъ присхожденія... порядку нашего не принимаетъ, церковь грабить... попа на-медни опять въ Ялты поволокли... Женщина наша на базарѣ одно слово про и х ъ сказала, подшель мальчишка съ ружьемъ... цопъ! — зарестовалъ. Мо-гутъ теперь безъ суда, безъ креста... Народу что по-били!.. Да гдѣ жъ она, правда-то?! Нашими же шея-ми выбили...

Онъ проситъ еще водицы. Пьетъ и сосетъ грушку.

— Въ больницу, что ли, толконуться... можетъ, предпишутъ чего въ лекарство... Въ десятомъ годѣ, въ Ялтахъ когда лежалъ... легкое было... воспаление, молочко да яичко, а то ко-клеты строго предписали...

а подрядчикъ Иванъ Московской бутылку портьвейны принесть. — «Только выправляйся, голубчикъ Степанъ Прокофьичъ... не измѣняй, у тебе рука легкая...» Ну, кто мнѣ теперь изъ и х ъ... такого скажетъ?! Тыркъ да тыркъ!.. Власть ва-ша да власть на-ша!.. А и власти-то никакой... одно хулюганство. Тридцать семь лѣтъ все работой жилъ, а тутъ... за два года всѣ соки вытянули, какъ червя гибну! А-аааа! Барашку возьмешь. Ты мнѣ съ почками подавай, въ сальцѣ!.. Борщокъ со шкварочками... баба какъ красинькими запра-вить... — рай увидишь! Семья теперь... все дѣвчонки! Не миновать — всѣмъ гулять... съ камисарами! У-у... сонъ страшный... Борщика-то бы хоть довелось поѣсть напоследокъ вдосталь... а тамъ...!

Не довелось Кулешу борщика поѣсть.

Вышелъ Кулешъ со двора, шатнулся... Глянулъ черезъ Сухую Балку на горы: ой, не доползти на работу — стучать впустую, — когда еще везти на степу печки! Подумалъ... — и поплелся къ больницѣ. Пошелъ вихляться по городку, по стѣнкамъ.

Будто все та же была больница — немного развѣ пооблупилась.

Сказала ему больница:

— Это же не болѣзнь, когда человекъ съ голоду умираетъ. Васъ такихъ полно въ городъ, а у насъ и серьезнымъ больнымъ пайка не полагается.

Сказалъ больницѣ Кулешъ:

— Та тѣперь вже усенародная больница! Та якъ же бачили, шо... усе тѣперь будэ... бачили, шо...

Посмѣялась ему больница:

— Бачили да... пробачили! Полный пролетарскій дефицитъ. Кто желаетъ теперь лѣчиться, пусть и лекарства себѣ приносить, и харчи должны припасти, и паякъ доктору. Не могутъ голодные доктора лѣчить! И солону припасти нужно, всѣ тюфяки порастаскали.

Тогда собрался Кулешъ съ силами, нашелъ слово:

— У васъ... всѣ крыши текутъ... желоба сорваны на печки... Я съ васъ... дешево... подкормите только, заслабъ... языкъ хоть поглядите.

Не поглядѣли ему языкъ.

Онъ оглянулъ больницу, черезъ туманъ... И — пошелъ. Черезъ весь городокъ пошелъ: на другомъ концѣ была диковинная больница. Шель-вихлялся по стѣнкамъ, цапался за колючую, пропыленную ажину, присаживался на щебень. Пустыремъ шатнулся, — по битому стеклу, по камню...

Стояла на пустырьѣ огромная деревянная канура — ротонда, помость высокій. Совсѣмъ недавно рывкала она зычными голосами на митингахъ, шелкала краснымъ флагомъ, грозила кровью, — хвалила свои порядки. Вспомнилъ Кулешъ сквозь муть, вспомнилъ съ щемящей жутью... и — плюнулъ. Потащился по трудной сыпучей галькѣ... вдоль моря потащился...

Синее, вольное... — играло оно солнечными волнами, играло въ лицо прохладой.

Кулешъ дотащился до синей глади, примочилъ голову, освѣжилъ замирающіе глаза — окрѣпнуть, можетъ... Замутилось въ головѣ старой, всему покорной. Сталъ Кулешъ на колѣни... Моря ли испить вздумалъ? морю ли поклониться на прощаньи?... Качнулось къ нему все море, его качнуло... — и повалился онъ набокъ. И пошелъ-поползъ бокомъ, какъ ходятъ крабы, головастый, сизый... Тянуло его къ дому, скорѣй къ дому... А далеко до дома!

Спрашивали его встрѣчные — свои, трудовые люди:

— Ты что, Кулешъ... ай пьяный?..

Смотрѣлъ на встрѣчныхъ Кулешъ, мутный, пьяный отъ своей жизни, отъ своей красной жизни. Чуть лопоталъ, губами:

— На ноги... постановьте... иду... до дому...

Его поставили на ноги, и онъ опять зацарапался

— до дому. У пустой пристани взяли его какіе-тѣ, доволокли до моста, до рѣчушки...

— Самъ... теперь... — выдохнулъ Кулешъ послѣднее свое слово, призналъ родную свою, Сухую Балку.

С а м ъ т е п е р ь ..!

Пошелъ твердо. Доткнулся до долгаго забора, привалился... Закинулся головой, протяжно вздохнулъ... и померъ. Тихо померъ. Такъ падаетъ листъ отжившій.

Хорошо на миндальномъ деревѣ. Море — стѣна-стѣной, синяя стѣна — въ небо. На славный Стамбулъ дорога, гдѣ прутики завтракаютъ сардинками, швыряютъ въ море недоѣденные куски... Кружится голова отъ синей стѣны, безкрайной... Такъ, находить. Надо держаться крѣпче.

Виденъ мнѣ съ высокаго миндаля бѣленькій городокъ, рыжіе, выжженные холмы, кипарисы, камни... и тамъ, вся изъ стекла, будто дворецъ хрустальный, — кладбищенская часовня... И тамъ-то теперь Кулешъ. Только-только сидѣлъ подъ этимъ миндальнымъ деревомъ, рассказывалъ про борщокъ съ салцемъ, — и занесло его въ гробъ хрустальный! Ну, и прозвище у него — Кулешъ! Отмѣтила его жизнь-чудачка: Кулешъ — умеръ отъ голода! Полеживаетъ теперь, уважаемый мастеръ, въ хрустальномъ чудѣ. Что за глупое человѣчество! Понаставило хрустальныхъ дворцовъ по кладбищамъ, золотыми крестами увѣнчало... Или ужъ хлѣба съ избыткомъ было?... Вотъ и... проторговалось, и человѣка похоронить не можетъ!

Пятый день лежитъ Кулешъ въ человѣчьей теплѣ, все ждетъ отправки: не можетъ добиться ямы. Не одинъ лежитъ, а съ Гвоздиковымъ, портнымъ, съ пріятелемъ; живого, третьяго поджидаютъ. Оба настаивали — шумѣли на митингахъ, требовали себѣ имѣнья. Подъ народное право все забрали: забрали и винные подвалы — хоть купайся, забрали сады и та-

баки, и дачи. Куда дѣвали?! Провалились и горы сала, и овечьи отары, и подвалы, и лошади, и люди... И ямы нѣту...?!

Шипить раздутый Кулешъ въ теплицѣ: я-а-а... мы-ы-ы...

Говорить Кулешу пьяница, старикъ-сторожъ:

— Постой-погоди, товарищъ... надо дѣло по правдѣ дѣлать! Закапывать тебя...? Вѣрно, надо. А то отъ тебя житья не будетъ... горой раздуло, шипишь... А ты меня накормилъ-напоилъ? Одинъ-разъединый я про всѣхъ про васъ, сволочей проклятыхъ! Да гдѣ жъ это видано, чтобы рабочій человѣкъ... ни пимши — ни жрамши... у камнѣ могилу рылъ?... По-стой... Нонче право мое такое... усенародное!.. самъ ты могилки себѣ загодя не вырылъ... а пайка мнѣ не полагается... подикась, поговори съ товарищами... они, мать ихъ... все начистоту докажутъ...! Ну и... должѣнь я поснять съ тебя хочъ покровъ-саванъ и на базаръ оттащить... Хлѣбушка... плохо, плохо, а хвунтика два... долженъ быть?...да винца, для поминка...мотыжка чтобы веселѣй ходила... А съ тебя, чортъ... и поснять-то нечего, окромя портковъ рваныхъ!.. Вотъ ты и потерпи маленько. Вотъ котораго сволокутъ въ парадѣ, тогда... за канпанію и свалю, въ комунную...

И лежитъ раздутый Кулешъ въ хрустальномъ дворцѣ — ждетъ светы.

Рядышкомъ съ нимъ лежитъ портной Гвоздиковъ, по прозванію — Шесть-Глиста, укромно скончавшійся за замкнутою дверкой убогаго жилища. Разказывала Рыбачиха:

— Никто и не примѣтилъ. Хозяева-татары носомъ только учуяли... А ужъ онъ въ отдѣлкѣ! Лежитъ третій день, весь-то въ мухахъ!... Зеленые такія... панихидку надъ нимъ поють...

Веселая панихида.... И портной выкупа не принесъ. Пришелъ во дворецъ хрустальный въ драныхъ

подштанникахъ, за которые не дадутъ на базарѣ и орѣшка.

Спи, старый Кулешъ... глупый Кулешъ, разинутымъ ртомъ ловившій невѣдомое тебѣ «усенародное право»! Обернули тебя хваткіе ловчаки, швырнули... Не будутъ они подъ мухами, на солнцѣ!

И ты, невѣдомый никому, Шестъ-Глиста! И вы, милліонами сгинувшіе подъ землю голоднымъ ртомъ... — про васъ исторія не напишетъ. О васъ ли пишутъ исторію? Нѣтъ исторіи никакого дѣла до пустырей, до береговъ рѣкъ пустынныхъ, до мусорныхъ ямъ и логовищъ, до дѣвчонокъ русскихъ, мѣняющихъ дѣтское тѣло на картошку! Нѣтъ ей никакого дѣла до пустяковъ. Великими занята дѣлами-подвигами, что надъ этими пустяками мчатся! Напишетъ она о тѣхъ, что по радіо говорятъ съ міромъ, принимаютъ парады на площадяхъ, приглашаются на конгрессы, въ пристойныхъ фракахъ отъ лондонскаго портного, — не отъ тебя, Шестъ-Глиста! — и именемъ васъ, погибшихъ, рѣшаютъ судьбу погибающаго потомства. Тысячи перьевъ скрипятъ пріятное для уха, — продажныхъ и лживыхъ перьевъ, — глушатъ косноязычные ваши стоны. Вздаты они въ безшумныхъ автомобиляхъ, летаютъ на корабляхъ воздушныхъ... Тысячи мастеровъ запечатлѣютъ картины ихъ «отхода» — на экранахъ, тысячи лживыхъ и рабскихъ перьевъ задрезжатъ, воспѣвая хвалу — В е л и к о м у ! Тысячи вѣнковъ красныхъ понесутъ рабы къ подножію колесницы. Милліоны рванаго люда, согнаннаго съ работъ, пропоютъ о «любви беззавѣтной къ народу», трубы будутъ играть торжественно, и красные флаги снова застелятъ глаза вамъ лестью—вождя своего хороните!

Спи же съ миромъ, глупый, успокоившійся Кулешъ! Не одного тебя обманули громкія слова лжи и лести. Милліоны такихъ обмануты, и милліоны еще обманутъ...

А вѣдь ты не дуракъ, Кулешъ! Передъ ямой-то и

ты понял. Перестали прѣзжать за тобою на лошади и поить портвейномъ... Но ты все же надѣялся хоть на хлѣбъ. Кричали тебѣ хваткіе ловкачи:

— Завалимъ трудящихся хлѣбомъ! Совѣтская власть такіе построила лектрическіе еропланы... каждый по пять тыщъ пудовъ можетъ. Весь Крымъ завалимъ!..

Закрыли тебѣ глаза — на кровь, крѣпко забили уши. И оралъ ты весело, какъ мальчишка:

— Ай да наши! родная власть!..

Недѣли прошли и мѣсяцы... Не прилетали аэропланы. Гнали твоихъ дѣвчонокъ комиссары — нѣтъ хлѣба! На матерей орали:

— Ну, и что же?! Ребята ваши! ну, и швыряйте въ море!..

Спрашивалъ я тебя:

— А что же, Кулешъ, в а ш и... аэропланы?

Ощеривалъ ты голодные зубы, синѣющія десны, въ ниточку узялъ мертвѣющія губы и находилъ вѣрное теперь, с в о е слово:

— Опасаются опущаться... Го-ры... а то — мо-ре... Крушенія опасаются!

И жутко было твое лицо.

Нѣтъ, ты не дуракъ, Кулешъ... Ты — простакъ.

« Ж И Л Ь - Б Ы Л Ь У Б А Б У Ш К И С Ъ Р Е Н Ь К І Й К О З Л И К Ъ »

Внизу обобрано, — надо забираться выше.

Съ высоты миндаля мнѣ видно, какъ черезъ вытоптаннй коровами виноградникъ идетъ отъ дачи — «Тихая Пристань» — близорукая учительница Прибытко, съ пустымъ мѣшкомъ за плечами, пощелкиваетъ дощечками на ногахъ. Идетъ на промыселъ. Она — человекъ стойкій. У ней двое ребятишекъ-голоножекъ — Вадикъ и Кольдикъ. Ея мужа убили въ Ялтѣ, но она не знаетъ: не уѣхалъ ли на корабль въ Европу. Пусть не знаетъ. При ней и неутомимая мать-старушка, сухенькая, подвижная, Марина Семеновна, — съ зари до зари воюетъ на землѣ съ солнцемъ: отбиваетъ у солнца огородикъ.

Я хочу отойти отъ кружащей меня тоски пустыни. Я хочу перенестись въ прошлое, когда люди ладили съ солнцемъ, творили сады въ пустынь.

«Тихая Пристань»...

Пустырь былъ на этомъ мѣстѣ — колючка, камень. Пріѣхалъ старикъ-чудакъ, отставной исправникъ, любитель розъ и покоя, сказалъ — да будетъ! — и выбилъ-таки изъ камня чудесное «розовое царство». Да, исправникъ. Они тоже — немножко люди. Все, что у него было въ карманѣ и въ головѣ, отдалъ землѣ сухой, и вотъ, къ концу его жизни, она подарила ему свою улыбку — «Тихую Пристань». Съ зари до зари возился старикъ съ лопатами и мотыгами, съ гравіемъ и бетономъ, съ водой и солнцемъ; сажалъ, прививалъ и строилъ, кричалъ съ рабочими, которые

воровали у него гвозди и даже камень, тысячу разъ грозился все бросить и не бросалъ, исполосовалъ сердце, но... дождался: сѣлъ на верандѣ, закурилъ кручонку, полюбовался — все хорошо зѣло! И померъ. И хорошо сдѣлалъ, во-время: выволочили бы его, старика, изъ розоваго сада, — а, собака-исправникъ! — и прикончили бы въ подвалѣ или оврагѣ.

Погибаетъ «розовое царство». Задичали, заглохли, посохли розы. Полѣзли изъ-подъ корней дикіе побѣги. Треснуло и осѣло днище громаднаго водоема. Посохли сливы и вишни, и грецкіе орѣхи, и кальвилы; заржавѣли-задичали забытыя персиковыя деревья. Треснули трубы водоводовъ, заросли хрусткія дорожки, полѣзъ бурьянъ въ виноградникъ, сѣли репейники и крапивы въ клумбы — задушили нѣжную землянику. Плющи завили деревья. Выползла изъ дубовыхъ тысячелѣтнихъ шней кудрявящаяся поросль, держи-дерево дружно съ грабомъ давить и напираетъ, высасываетъ соки; гнѣздится садовая нечисть, плететъ коконы, опутываетъ и точить — сверлить. Голубой цикорій и морковникъ заполонилъ луговинки, «перекати-поле» забрало скаты, и лѣнливыя желтобрюхи нѣжатся на ступеняхъ каменныхъ лѣсенокъ. Сѣрыя жабы ржаво кряхтятъ ногами въ зеленой тинѣ былого водоема. Дичаетъ «Тихая Пристань», годъ за годомъ уходитъ въ камень. Уйди человекъ — опять пустыня.

Сухенькая старушка тщетно пытается задержать пустыню: лишь бы уберечь виноградникъ, огородикъ... Мотыгой и цапкой борется она съ солнцемъ и съ бурьяномъ. Воюетъ съ коровами, прорывающими и рогами, и боками, загородку — доглотать неоглоданное солнцемъ. Висятъ еще кое-гдѣ грушки — марилизъ, фердинандъ и бѣра, а пониже бассейна, по низинкѣ, еще можно схватить травы. Но это — самое дорогое мѣсто — «козье».

У Прибытковъ — слава на всю округу, — чудес-

нѣйшая коза, вымѣненная на одѣяло и вышитую рубаху у чабана подѣ Чатырь-Дагомъ. Взращенная подвигомъ и молитвой. Ну, и коза! Четыре бутылки даетъ несравненная «Прелесть»! Вадикъ и Кольдикъ круглый день рыщутъ по саду, по балочкамъ, носятъ своей козѣ травку и прутики, всякую кожурку, бобикъ...

— Козочка наша! «Пле-дестъ»!

Стоитъ коза на колу, подѣ грушей, блаженствуетъ, узкіе глазки щурить. Дремлетъ-мѣлетъ, пожевываетъ, молоко набираетъ, бурое вымя наливаетъ, до копытцевъ опускаетъ. Не коза — «Прелесть».

Когда, передѣ вечеромъ, я отыскиваю запропавшую индюшку, меня тянетъ зайти на «Тихую Пристань» — навѣстить Прибытковъ. Господи, козу доятъ! И я взираю изъ отдаленія. Стоитъ коза — не шелохнется; понимаетъ, что великое совершается: жуетъ-пожевываетъ, глазки въ блаженствѣ жмурить. Доятъ Марина Семеновна, нѣжно, будто поглаживаетъ, а коза сама помогаетъ, — ноги разставила, ходъ молоку даетъ: все берите! А Вадикъ и Кольдикъ подсовываютъ козѣ грушки:

— «Пледестъ»! «Пледестъ»!

Пріятно слушать, какъ позваниваетъ бѣлая струйка въ хрустальный кувшинъ граненый; пріятно смотреть, какъ растекается молоко по прозрачной стѣнкѣ, какъ нахрустываетъ коза грушки. Тайнство совершается... Меркнетъ вечерній свѣтъ, фіолетовая коза стоитъ, глядитъ розоватыми глазками, и молоко розовеетъ въ огнистыхъ граняхъ, радужной пѣной пѣнится. А Вадикъ и Кольдикъ кулачки къ горлышку подобрали, ждутъ-смотреть. Глотаютъ слюни, и слышится, какъ бурчить у кого-то — у козы, или у голоногихъ.

А неподалечку стоитъ на колу «капиталь» — спасеніе и надежда. Это выкормокъ «Прелести», козель-великанъ, стриженный, сизый, крутобокій, — и «Сударь» и «Бубикъ» вмѣстѣ.

Всѣ по округѣ знаютъ, какъ vyhаживали козла, какъ его холостили, и сколько теперь въ немъ сала, и когда будутъ козла рѣзать. Вотъ это — счастье! Знаютъ, и всѣ завидуютъ. Когда въ школьномъ союзѣ муку дѣлили, до золотника вѣшали, — не додали учительницѣ Прибыткѣ.

— Ну, что тамъ спорить! У васъ же козель имѣется, такое счастье!

Такъ семнадцать золотниковъ и сгibli.

Когда я встрѣчаю Марину Семеновну въ Глубокой Балкѣ — за «кутюками», мы всегда говоримъ про «Бубика»:

— А какъ вашъ «Бубикъ»?

— Только не сглазить бы... прямо, мѣшокъ съ саломъ! И то возьмите: вѣдь отъ себя отрываемъ... Каждый день ему хотъ кусочекъ лепешки принесешь. Какіе ужъ нонче желудки, ползаешь-ползаешь по балкамъ — хотъ четверочку наберу. Какъ въ банкъ носимъ. А вотъ похолоднѣй будетъ, — сало-то въ немъ перекипать станетъ, очищаться... закрупчаетъ. Сало, я вамъ скажу, козлиное... и свиному не уступить, чистый смалецъ!

Сосѣдъ Верба, сумрачный винодѣль-хохолъ, нарочно зашелъ къ Прибыткамъ. Съ годъ не захаживалъ — все серчалъ, что перебили у него аренду «Пристани». Не утерпѣлъ — пришелъ:

— До козла вашего прійшовъ, Марина Семеновна... що це за дыво!?

Покрестила въ умѣ Марина Семеновна козла, отплюнулась влѣво непримѣтно: сглазить еще Верба — темный глазъ.

— Ну что жъ, поглядите, сосѣдъ... съ добраго глазу. Растетъ божья тварь. Козликъ, прѣшпитъ не буду... радостный растетъ козликъ, въ мяскѣ да въ салѣцѣ...

Смотрѣлъ Верба на козла пристально, вдумчиво. И такъ, и этакъ смотрѣлъ. И такъ руки складывалъ,

и такъ. И голову по-всякому выворачиваль, — въ душу вбираль козла.

И Марина Семеновна смотрѣла и на козла своего, и на Вербу, — и его, и козла своего вбирала въ душу, переполнялась. Ждала — готовилась.

— Ну вотъ шшо я вамъ, сосѣдка, обязанъ сказать... — выговориль-таки Верба, вдумчиво подергавъ повислый усъ. Сердце даже зашлось у Марины Семеновны, — сама послѣ до точки рассказывала въ Глубокой Балкѣ. — Это я такъ вамъ обязанъ сказать, Марина Семеновна... подоброму, пососѣдски если... шо не бачу якъ... мовъ, це даже и не козель...

— Какъ — не козель?! — взметнулась Марина Семеновна. — Да якій же по-вашему козель буваєть?!

— Вѣрьте моему слову, Марина Семеновна... не козель, а... Государственный Банкъ!

Такъ и потекло сердце у Марины Семеновны, — растеклось въ торжество и гордость: великая была она хозяйка.

— И вотъ опять шо я вамъ кажу, сосѣдка... Съ такимъ козломъ зиму ты вотъ какъ переживете! Пудика на полтора — на два...

— Не скажите... на два съ гакомъ! Смальца съ него сойдесть...

— ...двѣнадцать фунтовъ.

— Ну, не скажите! У меня глазъ наметанный... Да чтобъ у меня никогда ни единой козочки не вошло... — до полпуда выйдесть!

— Ни-ни-ни... Марина Семеновна... никакъ не думаю. А впрочемъ... къ пятнадцати, може, капнесть...

— Вы его за ножку потяните, сосѣдь... подъ лужико...

— Да Боже жъ мой, да я жъ и такъ вижу... по його хвѣсту! Прямо — рента...

Оглядѣль еще и еще, потянулъ за бородку и пошелъ вдумчиво.

Оба — хозяева искони. Оба пропѣли славу творящей жизни. Кому понятно молитвенное служеніе на поляхъ, въ садахъ и хлѣвахъ, — пѣснь славословія рождающемуся ягненку, въ колосья выбивающимся хлѣбамъ? Понятна она душѣ парящей, сердцу, живущему въ ласкѣ съ землей и солнцемъ; понятна уху хозяина, которое слушать умѣетъ прозябаніе почекъ въ весеннемъ вѣтрѣ, въ благодатныхъ дождяхъ, подъ радугой. Дики и непонятны эти земныя пѣсни душѣ пустой и сухой, какъ вывѣтрившійся камень. Жадная до сокровищъ скопленныхъ, она назоветъ молитвенныя мечты хозяина пошлымъ словомъ — выдуманымъ безглазыми — мѣщанство! Въ хлѣвѣ и полѣ тучномъ она увидитъ только одно — корысть.

Отецъ дьяконъ, хозяинъ тоже, нарочно поднимался изъ городка — лицедрѣть миѳическаго козла. Сказалъ:

— На четырехъ ножкахъ — безпроигрышная лоторея! Васъ, Марина Семеновна, во главу угла всякаго хозяйства поставить можно. За такого, съ позволенія сказать, козлофона, медали давали въ прежнія времена! Этотъ вашъ козель — изъ иностранцевъ... швейцарской породы, не иначе. Либо отъ Фальцъ-Фейна, либо отъ Филибера. Я ихъ очень породу знаю. Это... филиберовскаго завода козель!

Въ великую славу вошелъ козель Марины Семеновны. Въ такую славу, что другой разъ поднялся отецъ дьяконъ до «Тихой Пристани» — сказать одно слово по секрету:

— По долгу совѣсти, Марина Семеновна, ради вашихъ сиротъ, счелъ полезнымъ предупредить: ночами думаю о козлѣ вашемъ! И тревогу борю въ себѣ, — держите козла крѣпко! Про вашего козла разговору много по городу. У насъ Безрукій всѣхъ кошекъ переловилъ... у отца Василя собачку недавно переняли... шоколадненькая-то была, подъ фокса! А

тутъ такой роскошный козель, а вы на-юру обитаете...
Храните, какъ зѣницу ока!

— Отведи, Господи! — закрестилась Марина Семеновна, козла покрестила. — Глазу не спускаю. Ужъ вонъ у Коряка корову зарѣзали въ нижней балкѣ, къ Гаршину дорывались... у Букетовыхъ корову свели... у...

— Про что же я-то вамъ говорю! Двѣ-над-цатую корову рѣжутъ... Марина Семеновна! двѣ-надцатую! И самъ нехорошіе все сны вижу. Вся теперь опора наша... на Господа Бога да, по-земному сказать, на коровку! Электрическую бы тревогу провести въ хлѣвушекъ, чтобы какъ коснулся — скрючило бы врага! Нѣмцы такъ проволоку электрическую по границамъ своимъ вели... да электрической силы у меня нѣту!..

— Охъ смотрите, отецъ дьяконъ... — предостерегла и въ свою очередь Марина Семеновна, разстроенная и уже сердитая на дьякона: — и у васъ свести могутъ!

— И у меня могутъ, и у васъ — козла! Козла легче свести, Марина Семеновна, повѣрьте моей опытности. Козель — что! Онъ нѣмое существо и глупое! Коровка... другое дѣло! она рогомъ можетъ... затрубить на врага ночного, а козель... онъ только копытцемъ простукаетъ тревогу. Нѣтъ, Марина Семеновна, опасность чреватая у васъ.

Чуть было не поссорились отъ тревоги. И повѣсила съ того дня Марина Семеновна на хлѣвушекъ замокъ тройной, съ музыкой печальной, какъ у чугунныхъ шкаповъ. И рогульки ставила передъ дверкой, какъ засѣку, и жестянки на нихъ навѣшивала: темная ночь если, напорется врагъ на звонъ, на колочки, — тревога будетъ.

Учительница останавливается за плетнемъ и начинаетъ жаловаться: богатый татаринъ не доплатилъ полпуда прецкихъ орѣховъ еще съ зимы, хотъ бы ячменемъ отдалъ за уроки!

— Люди теряютъ честность! Это былъ самый правовѣрный татаринъ. А вчера рѣзалъ барашка и не далъ даже головку...

Потомъ сообщаетъ объ ужасномъ человѣкѣ:

— Дядя Андрей... это ужасный! Выпустилъ поросенка въ садъ, и вся наша картошка взрыта. Содралъ парусину со всѣхъ лонгшезовъ и всѣ бутылки продалъ...

Она засыпаетъ кучей тревожнаго и больного. Слава Богу, что можно собирать падалку по садамъ. Каждый день она таскаетъ на горку въ мѣшкѣ, — ѣдятъ сами и кормятъ козочекъ. Учителя копаютъ по садамъ чашки и получаютъ виномъ, бутылку за день. Что же будетъ зимой?..

Я слушаю, сидя на миндалѣ, смотрю, какъ рѣзятся орлята надъ Кастелью. Вдругъ набѣгаетъ мысль: что мы дѣлаемъ?! почему я въ лохмотьяхъ, залѣзъ на дерево? учительница гимназіи — босая, съ мѣшкомъ, оборванка въ пенснѣ, ползаетъ по садамъ за падалкой... Кто смѣется надъ нашей жизнью? Почему у ней такіе запуганные глаза? И у Дрозда такіе...

— Слышали?.. Вчера сторожъ выволокъ изъ часовни Михайлу, который уморилъ себя угаромъ... отлучился куда-то, а покойникъ пропалъ. Приходить жена — пропалъ, собаки растаскали... Встрѣтила вчера на базарѣ Ивана Михайлыча... бредетъ въ своей соломенной широкополкѣ, съ корзиночкой, грязный, глаза гноятся... трясется весь. Гляжу — лари облодить и молча кланяется. Одинъ положилъ раздавленный помидоръ, другой — горсточку соленой камсы. Увидалъ меня и говорить: — «Вотъ, голубушка... Христовымъ именемъ побираюсь! Не стыдно мнѣ это, старику, а хорошо... Господь сподобилъ принять подвигъ: въ людяхъ Христа бужу»!.. Еще силу находить, философствуетъ... А когда-то Академія Наукъ

премію ему дала и золотую медаль, за книгу о Ломо-
носовѣ!..

Кружится голова... Я сползаю съ миндальнаго де-
рева. Синія стѣна валится на меня, море валится на
меня...

Открываю глаза — синіе круги ходятъ, зеленые...
Ушла учительница. Горка миндаля рядомъ. И Ляля
убѣжала... Я собираю въ мѣшочекъ. Горы — въ дым-
кѣ... Смотрю на нихъ...

...Поѣздки верхомъ, привалы... Въ придорожныхъ
кофейняхъ обжариваютъ кофе на гремучихъ жаров-
няхъ, тянетъ шашлычнымъ духомъ, шипятъ чебуреки
въ бараньемъ салѣ. Подъ шелковицей спятъ синими
курдюками вверхъ шоссейные турки, раскинувъ мѣд-
ные кулаки. Осликъ дремлетъ, лягаетъ по брюху мухъ.
Жужжить и звенить жара... Бурлыкаетъ вода въ кам-
нѣ, собака доглаживаетъ лѣнливо жирный маслакъ ба-
раній, осыпaeмый мухами... Автомобиль рокочетъ,
глотаеъ жару и пыль...

Открываю глаза. Они еще не въ мѣшочкѣ, мин-
дальные орѣшки, собирать ихъ надо...

...Тешутъ на землѣ камни греки и итальянцы, по-
стукиваютъ молоточки, — бьютъ въ голову. Татары,
поджарые, на поджарыхъ коняхъ, лихо закидываются
на поворотѣ, блестя зубами, тянутъ катыкъ изъ крын-
ки, придерживая задравшагося, пляшущаго коня...
«Айда! Алекум-селям!..» Синія вуалетки выются изъ
фаэтоновъ, летитъ бутылка на камни, брызжетъ...
Скрипитъ по жарѣ можара, волю бодаютъ рогами до-
рожный камень... — Цобъ, шайтанъ! — Табаки ви-
сятъ бурими занавѣсками на жердяхъ... Сады полны,
изнемогаютъ... Шумятъ пестрые виноградники, пол-
заютъ татарчата, срѣзаютъ грозди, а голенастые пар-
ни шагаютъ съ высокими деревянными бадьями у за-
тылка, несутъ въ давилню... Вино, вино... течетъ
красное вино, залило руки, чаны, пороги, хлещетъ...

Тянетъ бродильнымъ духомъ... И винодѣлы, одурѣвшіе отъ паровъ, въ синихъ передникахъ, помахиваютъ ковшами... Пора, пора на коней сажаться, жара свалила...

Пора... Въ рукѣ у меня миндаликъ, давняя радость дѣтская... Теперь я знаю, какъ онъ растеть... Нѣтъ никого, и Ляля убѣжала. Только земля горячая и сухая да цикады, трещать-трещать...

К О Н Е Ц Ъ П А В Л И Н А

Ужъ и октябрь кончается — поблестѣло снѣгомъ на Кушъ-Каѣ. Потаяло. Зорями холодѣеть крѣпко. Рыжія горы день ото дня чернѣють — тамъ листопадъ въ разгарѣ. А здѣсь еще золотится груша — пылають сады въ закатахъ. Осыплются съ первымъ вѣтромъ. Кузнечики пропадаютъ, и моимъ курочкамъ — тройкѣ — не разжиться на гулевѣ. Будемъ кормиться виноградными косточками, жмыхомъ! Его ѣдятъ люди и умирають. Продають на базарѣ, какъ хлѣбъ когда-то. За нимъ надо итти далеко, выпрашивать. Онъ горькій, кислый, и тронуть грибомъ бродильнымъ. Можно молоть его, можно жарить...

Когда солнце встаетъ изъ моря, — теперь оно забираетъ все правѣе и ходитъ ниже, — я смотрю въ пустую Виноградную Балку. Все отдала свое. Набило въ нее вѣтрами вороха «перекати-поля». Смотрю за балку: на балконѣ Павлинъ уже не встрѣчаетъ солнце. И меня не встрѣтитъ вольнымъ дикарскимъ крикомъ, не размахнется... Выбралъ другое мѣсто? Нѣтъ, его крика никто не слышитъ. Пропалъ Павка. Все-таки оставалось что-то отъ прежней жизни: грустно поглядывала она глазкомъ павлиньимъ... Уже четвертый день нѣтъ Павки!.. Уходитъ въ прошлое и калѣбка-дачка учительницы екатеринославской, — послѣднюю раму кто-то вырвалъ...

Я вспоминаю съ укоромъ тотъ тихій вечеръ, когда заголодавшій Павка доверчиво пришелъ къ пустой чашкѣ, стукнулъ носомъ... Стучалъ долго. Съ голоду ручнѣють. Теперь это всякій знаетъ. И зати-

хають. Такъ и Павка: онъ подошелъ ко мнѣ близко-близко и посмотрѣлъ пытливо:

— Не дашь?..

Бѣдный Павка... Табакъ! чудесный табакъ ламбатскій! Или — не табакъ это, а... Я ни о чемъ не думалъ. Я хищно схватилъ его, вдругъ отыскавъ въ себѣ дремавшую, отъ далекихъ предковъ, сноровку — ловца-звѣря. Онъ отчаянно крикнулъ трубой, страхомъ, а я навалился на него всѣмъ тѣломъ и вдругъ почувствовалъ ужасъ отъ этой красивой птицы, отъ глазастыхъ перьевъ, отъ ея танца, раздражающаго передъ смертью, отъ пустынныхъ, зловѣщихъ криковъ... Я вдругъ почувствовалъ, что въ немъ роковое что-то, связанное со мной... Я давилъ его шелковое синее, скользкое горло, вертлявое, змѣиное горло. Онъ боролся, дралъ мою грудь когтями, билъ крыльями. Онъ былъ силенъ еще, голодный... Потомъ онъ завелъ глаза, затянулъ бѣловатой пленкой... Тутъ, я его оставилъ. Онъ лежалъ набоку, чуть дышалъ и трепеталъ шеей. Я стоялъ надъ нимъ въ ужасѣ... я дрожалъ... Такъ, должно быть, дрожать убійцы.

Слава Богу, я не убилъ его. Я гладилъ его по плюшевой головкѣ, по коронованной головкѣ, по атласной шейкѣ. Я поливалъ на него водой, слушалъ сердце... Онъ приоткрылъ глазокъ и посмотрѣлъ на меня... и дернулся... Ты правъ, Павка,... надо меня бояться. Но онъ былъ слабъ, и не имѣлъ силъ подняться.

Мнѣ теперь будетъ больно смотрѣть на него, и стыдно. Пусть унесутъ его.

Его понесла славная дѣвочка... Теперь ея нѣтъ на свѣтѣ. Сколькихъ славныхъ теперь нѣтъ на свѣтѣ! Она сказала:

— Я знаю, на базарѣ... татаринъ одинъ богатый... Онъ, можетъ быть, возьметъ дѣтямъ.

Я видѣлъ, какъ понесли его, какъ мотался его хвостъ повисшій. Вотъ и конецъ Павлина!

Нѣтъ, не конецъ еще. Онъ пришелъ, воротился, чтобы напоминать мнѣ прошлое — и доброе, и худое. Онъ еще покричалъ мнѣ отъ пустыря.

Съ недѣлю прожилъ онъ гдѣ-то на базарѣ, при кофейнѣ, — все поджидалъ, не возьметъ ли его богачъ-татаринъ. Его не взяли. Поиграли съ нимъ татарскія дѣти. И онъ вернулся на свой пустырь, къ своей виллѣ... Какъ всегда, онъ встрѣтилъ меня на зарѣ пустыннымъ, какъ-будто побѣднымъ крикомъ. А хвостъ?! Гдѣ же твой хвостъ — вѣрь, радужный хвостъ, съ глазками?

...Эоу-аааа..!

Жалуется? тоскуешь?.. Отняли хвостъ татарскія дѣти, вырвали. Мнѣ стыдно смотрѣть туда, больно смотрѣть... Не надо ни табаку, ни... ничего не надо. Усмѣшка злая.

Ходилъ онъ по своему пустырю, ограбленный и забитый. И уже не поднимался ко мнѣ черезъ балку, не приходилъ и къ воротамъ: помнилъ. Онъ кормился своимъ трудомъ, гдѣ-то, чѣмъ-то. Теперь ужъ совсѣмъ — ничей. Затерялся въ дняхъ черныхъ, — кому теперь до Павлина дѣло!

Шумить Горка: «обворовали «Тихую Пристань»! Бѣжить въ городокъ Марина Семеновна, остановилась:

— Что только дѣлается... какъ оголились люди! Да благородные! докторова дочка, учительница... на зорькѣ заявила съ какимъ-то, да изъ флигеля-то хозяйскаго, исправничью мебель поволокла! Слышу — шумять по саду, чу-уть свѣтъ! а это они кровать волокутъ! столики... Унесли! Заявлять бѣгу... я хранительница-то всего имѣнья!.. Изъ благороднаго роду, и... «Это, говоритъ, теперь все-общее! Все равно раскрадутъ...» Все ворочу, до гвоздика!

Пришелъ какой-то на пѣтушкихъ ногахъ, въ обмоткахъ, съ винтовкой, тощій. Шелъ мимо сада, попросилъ напиться.

— Крадутъ и крадутъ — всѣ. А я одинъ на весь городишко... хожу чуть живъ. Это нарочно, чтобы зарестовали! Знаю ихнюю моду. Только прошибутся! Не зарестоваемъ воровъ, кормить нечѣмъ. Это тебѣ не при Микалаѣ! При царѣ-то бы у насъ весь городъ теперь сидѣлъ! Какъ при царѣ-то баловали! Борщу давали да хлѣба по два фунта! Намедни вотъ взяли короворѣза... Пять днѣй просидѣлъ — не признается, а пайка ему не полагается. Слабнуть сталъ. Ужъ мы ему и ванную дѣлали, и мусажъ, — не признается!

— Для чего же ванну дѣлали?

— Махонькинъ, что ли... не понимаете? Ну, понятно... подбодряли, чтобы только знаку не было... ну, р а с т я ж к у ему дѣлали, руки такъ... — показываетъ человѣкъ съ винтовкой руками. — У насъ строго, при народной власти, не забалуешь... Не признается и — на! Доктора призвали, товарищъ начальникъ говорить: помреть человѣкъ! А тотъ ему: да, отъ голоду помреть, кормите. А товарищъ начальникъ говорить ему, дуrolому: «вамъ же говорятъ — пайковъ не полагается!» И придумалъ: въ больницу пишите лиценсть! А оттуда его назадъ: голодной болѣзни не признаемъ! Камедь, ей-богу! На поруки и выпустили. А онъ взялъ да и померъ! Вотъ его теперь и суди! А я что? я человѣкъ подначальный, какъ укажутъ. Чортъ ихъ... глаза бы не глядѣли!..

Глаза бы не глядѣли...

Бѣжить сынишка Вербы съ горки, кричить-машеть:

— Павка-то вашъ...! на память!..

Павлинъ... А гдѣ же Павлинъ?.. Что-то не слышно было послѣдніе дни его тоскливыхъ криковъ, не видно было его одинокаго мотанья на пустырь. Что такое — на память?

Я вижу сломанное перо съ глазкомъ, новенькое перо, осеннее, явившееся насмѣну. Онъ еще хотѣлъ жить, бѣдняга, своими силами хотѣлъ жить, — ничей.

Я вижу въ рукѣ мальчишки и серебристое — изъ крыла, и розовато-палевое, чудесное!

— На виноградникъ подобралъ, подь горкой. Должно быть докторъ съ тычка подшибъ палкой, а перья на виноградникъ выкинулъ... собаки, молъ, разорвали!

Послѣдній привѣтъ — глазокъ. Павка со мной простился — прислалъ на память. Онъ же былъ такой добрый, онъ такъ довѣрчиво говорилъ — не дашь? И отходилъ покорно. Мы первые съ нимъ начинали утра... Онъ никогда не ушелъ бы, — я первый его покинулъ. И онъ, одинокій, гордый, отъединился на пустырь, — ничей. Теперь не будетъ и пустыря — ушелъ хозяинъ.

— Все къ дачѣ доктора, на тычокъ, ходилъ Павка, а у нихъ ни крошки. Вчера у насъ занимать приходили. И что-то жаренымъ пахло, будто индюшкой. А чего имъ жарить?..

Докторъ съѣлъ моего павлина?! Чушь какая... Не дядя ли Андрей? Онъ, вѣдь, недавно спрашивалъ...

— А у насъ другой гусь пропалъ! Это Андрей проклятый, некому больше... Нашъ гусь все въ ихъ садъ забирался, гдѣ у бассейна лягушки квакчутъ. Убью! вотъ подстерегу къ ночи да изъ двустволки въ задъ, утятникомъ! Меня не засудятъ, я мальчишка... Скажу, съ курка сорвалось!

Я беру остатки моего — не моего — Павлина и съ тихимъ чувствомъ, какъ нѣжный цѣлуетъ, кладу на верандѣ — къ усыхающему кальвилю. Послѣднее изъ о т ш е д ш и х ѣ. Пустоты все больше. Дотепливается послѣднее. А-а, пустяки какіе!..

К Р У Г Ъ А Д С К І Й

Тянется изъ невѣдомаго клубка нить жизни, — теплится, догораетъ. Не тaitся ли въ томъ клубкѣ надежда? Сны мои — тѣ же сны, нездѣшніе. Не сны ли — моя надежда, намѣчающаяся нить новой, нездѣшной ей жизни?.. Туда не черезъ Адъ ли ведетъ дорога?.. Его не выдумали: есть Адъ! Вотъ онъ, и обманчивый кругъ его... — море, горы... — экранъ чудесный. Ходятъ по кругу дни, — безцѣльной, безсмысленной смѣной. Путаются въ дняхъ люди, метутся, ищутъ... выхода себѣ ищутъ. И я ищу. Кружусь по садику, по колючкамъ, ищу, ищу... Черное, неизбывное, — со мной ходить. Не отойдетъ до смерти. Пусть и по смерти ходить.

Темнѣетъ въ моемъ саду. Молодой мѣсяцъ уходитъ за горбъ горы. Почернѣла Кастель, идетъ съ Бабугана ночь. Подъ нимъ огневая точка — сухая трава горитъ, — подъ будущую пшеницу?.. Не будутъ сѣять пшеницу — послѣднее. Будутъ сѣять другіе, кто выживетъ и дождется тучной земли, тлѣньемъ набравшей силы. Не костеръ ли горитъ подъ Бабуганомъ? Не страшно ему горѣть! Каждую ночь погибаютъ подъ ножомъ, подъ пулей. По всей округъ, по всѣмъ дорогамъ. А кругъ все узится. Вездѣ доживаютъ люди по пустыннымъ дачкамъ, по шоссеинымъ будкамъ, по хуторкамъ. Застраившіе дорожные сторожа и сторожихи, бывлыя прачки, безпомощныя старухи, матери съ мелюзгой сыпучей. Некуда никому уйти. Пойти за горы? дотащиться до перевала и умереть неслышно? Это они могутъ сдѣлать дома. А въ

шоссейной будкѣ чего бояться? Изнасилуютъ дѣвочку? Изнасилуютъ... а можетъ и швырнуть хлѣба!.. Не убѣжишь изъ круга. Камню молиться, чтобы разверзлись горы и поглотили? пожгло солнцемъ?..

Уйти? Бросить осиротѣвшій домикъ и балочку, гдѣ орѣхъ-красавецъ? Послѣднее поминаніе... Размечуть, порубятъ, повырываютъ — сотрутъ слѣды. Я не уйду изъ круга.

Табакъ весь вышелъ. Курю цикорій. Кто-то еще покупаетъ книги, но у меня и книгъ нѣтъ, зачѣмъ книги?! А кто-то покупаетъ... кто-то говорилъ недавно про... что? Да, «Большая Энциклопедія»!.. Когда-то и я мечталъ купить «Большую Энциклопедію»! Продавали ее «въ роскошномъ переплетѣ»... Купилъ кто-то по полфунта хлѣба... за томъ! Кто-то еще читаетъ «Большую Энциклопедію»... Да, когда-то писали книги... стояли книги въ роскошныхъ переплетахъ, за стеклами... Теперь я вспомнилъ... у Юрчихи тоже стояли, «въ роскошныхъ переплетахъ». Она и продала за полфунта хлѣба. Зачѣмъ ей книги, хоть и «Большая Энциклопедія»! У ней внучекъ лѣтъ двухъ, — зачѣмъ малышу «Большая Энциклопедія»? Развѣ онъ вырастетъ? безъ матери, безъ отца... Старуха голову потеряла... Живетъ у самого моря, въ глухомъ саду. Сына у ней убили, невѣстка умерла отъ холеры. Живетъ старуха въ щели, съ внучкомъ. Тамъ пустынно, и море шумитъ, шумитъ. Слушаетъ она день и ночь свое море. И мужъ и сынъ — моряками были, на своемъ морѣ. Пришли — и убили сына. Не будь лейтенантомъ! «Пожалуйте, лейтенантъ, за горы, отъ моря, — маленькія формальности соблюсти»! Не уѣхалъ лейтенантъ за море, остался у своего моря. Не оставили его у моря. Шумитъ оно у пустого сада и день и ночь, не даетъ спать старухѣ. Сидитъ старуха, нахохлилась въ темнотѣ, — слушаетъ, какъ шумитъ море, какъ дышитъ мальчикъ. А жить надо: оставили ей залогъ — мальчикъ! У своего моря

— мальчикъ... И продала старуха лейтенантову шубу, запрятанную въ камни. Кому-то еще нужна шуба. Хорошая, съ воротникомъ шуба... Не старухѣ же надѣвать ее! А внучекъ когда еще вырастетъ съ отца, дорастетъ до шубы! Да еще и убить могутъ... Придутъ и спросятъ:

— А это у тебя чей мальчикъ?

Скажетъ имъ старуха:

— А это вотъ этого... того... сына моего, вотъ котораго вы убили... моряка-лейтенанта російскаго флота! который родину защищалъ!

— А-а... — скажутъ, — лейтенанта?! Такъ ему... и надо! всѣхъ изводимъ... Давай и мальчишку...

Могутъ. Убили въ Ялтѣ древнюю старуху? Убили. Итти не могла — прикладами толкали — пойдешь! Руки дрожали, а толкали: приказано! Отъ самого Бѣла-Куна свобода убивать вышла! Итти не можешь?! На дроги положили, днемъ, на глазахъ, повезли къ оврагу. И глубокаго старика убили, но тотъ шелъ гордо. А за что старуху? А портретъ покойнаго мужа на столикѣ держала, — генерала, что русскую крѣпость защищалъ отъ нѣмцевъ. За то самое и убили. За что!.. Знаютъ они, за что убивать надо. Такъ и Юрчихина внучка могутъ. Вотъ и не нужна шуба. Правильно.

А говорить ли они по радіо — всѣмъ — всѣмъ — всѣмъ:

«Убиваемъ старухъ, стариковъ, дѣтей, — всѣхъ — всѣхъ — всѣхъ! бросаемъ въ шахты, въ овраги, топимъ! Планомѣрно-побѣдоносно! заматываемъ насмерть!» — ?..

Вчера умеръ въ «Профессорскомъ Уголкѣ» старичокъ Голубининъ... Бывало, въ синихъ очкахъ ходилъ — ерзалъ, брюки старенькія, послѣднія, дрожащей щеточкой чистилъ на порожкѣ... Три мѣсяца выдержали въ подвалѣ... за что?! А зачѣмъ на море

послѣ «октября» прїѣхаль? бѣжать вздумаль?! Отмолвили старика — выпустили: на ладанъ дышитъ! Привезли вчера къ вечеру, а въ одиннадцать — сподобилъ Господь — померъ въ своей квартиркѣ, чайку попилъ. Хоть чайку удалось попить.

А старуха Юрчиха добрая, какъ ребенокъ. Вымѣняла шубу на хлѣбъ — на молоко — на крупу, — гостей созвала на пиръ: помяните новопреставленнаго! Всѣ приползли на пиръ: хлѣба попробовать, въ молочко помокать... — нѣтъ шубы! Ходить по саду съ внукомъ, на свое море смотреть... Придумываетъ — чѣмъ бы еще попотчевать? Стулья да шкафъ зеркальный... Набѣжитъ покупатель какой, съ базара, — отвалить хлѣба и молока кувшинъ: опять прїятно на людяхъ ѣсть. А если зима придетъ?.. А можно и безъ зимы... можно устроить такъ, что и не придетъ зима больше...

Ходить старуха по садику, внучка за ручку держать. На свое море смотреть. Разсказываетъ про дѣдушку, какъ онъ по морю плавалъ, — вонъ и портретъ его на стѣнѣ, въ красной рамѣ... Висѣлъ и — уподѣл со стѣнки. Пришли — спросили:

— Это у тебя кто, старуха? почему канты на рукавѣ?

— А мужъ покойный... капитанъ, морякъ...

Хотѣли взять капитана. Выплакала старуха: не военный капитанъ, а торговый, дальняго плаванья. Слово только, что — капитанъ!

И запрятала старуха своего капитана въ потайное мѣсто. Кружить по саду, кружить... — нѣтъ выхода.

Кружу по саду и я. Куда уйдешь?.. Вездѣ все то же!.. Напрягаю воображеніе, окидываю всю Россію... О, ка-кая, безкрайная! Съ морей до морей... все та же! все ту же... точать! Ей-то куда уйти?! Хлещетъ повсюду кровь... бурьяны заполонили пашню...

Въ сумеркахъ я вижу подъ кипарисомъ... бѣлѣть что-то! Откуда это?! Мятые папироски... Табакъ!?! Да, настоящій табакъ!? Добрая душа прислала... папироски... Это, конечно, Марина Семеновна, кто же больше?.. Она, конечно. Вчера она спросила меня — развѣ я курить бросаю? Принеси папиросы Вадикъ, не смогъ отворить калитку, не докричался... — и бросилъ черезъ шиповникъ, милый... Вотъ, спасибо. Табакъ чудесно туманить голову...

НА «ТИХОЙ ПРИСТАНИ»

Въ густѣющихъ сумеркахъ я иду на «Тихую Пристань». Она успокаиваетъ меня. Тамъ — дѣти. Тамъ — хоть призрачное — хозяйство. Тамъ — слабенькая старушка еще пытается что-то дѣлать, не опускаетъ руки. Ведетъ послѣднюю скрипку разваливающагося оркестра. У ней — порядокъ. Всѣ часы дня — ручные, и солнце у ней — часы.

Козу уже подоили. Старушка загоняетъ утокъ — четыре штуки. Сидитъ подъ грушей дядя Андрей, темный хохоль, курить и сплевываетъ въ колѣни. Въ новомъ своемъ костюмѣ — изъ парусины исправника, въ мягкой, его же, шляпѣ.

— И вамъ не стыдно, дядя Андрей, — слышу, отчитываетъ его Марина Семеновна. — А по-нашему, это воровствомъ называется!...

— Ско-рые вы на слово, Марина Семеновна... — отвѣчаетъ дядя Андрей — заносится. — А чего робить, по-вашему? Я жъ голодрабецъ, оборвався, якъ... песь! А кому тѣпѣрь на стульчикахъ лежать-кохаться? Нема вашихъ пановъ-паничей, четыре срока на чердачкѣ пустовають... Ну, товарищи заберутъ... легче вамъ съ того будѣ? И потомъ... вже усенароднее, какъ сказать...

— Какъ вы испоганились, дядя Андрей! Вы жъ были честный человекъ, работали на виноградникахъ, завели корову...

— Ну, шшо вы мнѣ голову морочите? Ну, какая тѣпѣрь работа? И сезонъ кончился... Пойду по веснѣ на степь!

— Ничего не найдете на степу! ни-чего! Экономіи пустуютъ, мужики на себя сами управятся...

— Вѣрно говорите. Ну, и... такъ и стадываю... чого мэнэ робить? ну, чого? лысаго бѣса тѣшить?... Нѣтъ у васъ сердца настоящаго!

Молчаніе. Утки перевалочку подвигаются на ноч-легь.

— Якихъ утенковъ навоспитали... съ листу, будто! Ужъ вы не иначе слово какое умѣете... волшебное...

— Слово, голубчикъ... — сердится Марина Семеновна — За-бо-та! вотъ мое какое слово! Я чужое не отбираю, вино не сосу...

— О-пять — двадцать пять... Я съ вами душевный разговоръ имѣю, а вы... свербите! Вино я на свои люю... я поросенка вымѣнялъ кровнаго... А что такое парусина? Полковникъ померъ.... Не помри онъ — здѣсь ему часу не жить! вразъ конецъ, какъ онъ былъ исправникъ. Намъ ученые люди говорили... по-лиціи тамъ, попы... купцы, офицера... — всѣхъ чтобы, до корня! Самые умные социалисты... Изъ васъ потомъ всего понадѣлаемъ по своему хвасо-ну! До слезъ кричали! У Севастополи... Помогайте намъ — все ваше будэ... Ну? и чья тѣпѣрь, выходить, парусина? Вы — богачка противъ меня... а все парусиной тычете!

— Это я-то, богачка? Да вы лучше спать ступайте...

— Это ужъ я самъ знаю, чего... спать ли...

— Вы не выражайтесь похабнымъ словомъ!

— От-то-то-то!.... Вы... буржуйка противъ меня! Голому мнѣ ходить? при васъ да безъ портковъ? А мнѣ стыдно!...

— Охъ, дядя Андрей! Попомните вы мое слово... подохнете! будутъ васъ черви ѣсть!

— Черви... она усякого будэ исты... по писанію Закона! И васъ будэ исты, и грахва усякого, и... псяку. А поросенка я вымѣнилъ, себя обезпечилъ... не будетъ вамъ непріятности черезъ его. А выпилъ я по

семейной неприя́тности, сказать... Я ей голову отмотаю, Лизаветѣ, за мою корову! Хоть ее дѣвчонка, падчеря моя... съ матросомъ спуталась... мнѣ теперь на...плевать! Моя корова!

Жабы въ худомъ водоемѣ начинаютъ кряхтѣть — кто громче. Кряхтитъ и дядя Андрей. Когда онъ пьянъ, начинаетъ въ немъ закипать смутная на что-то досада-злость.

— Вамъ, дядя Андрей, время на другой бокъ валиться. На которомъ вчера лежали?

— А что вы объ себѣ такъ понимаете? Бокъ-бокъ... Хочу — на брюхо, хочу, — на..... ляжу! Не закажете!

— Не смѣйте мнѣ худыхъ словъ говорить!

— И вы мнѣ голову не морочьте, что можете сады садить! Не можете вы сады садить. А я по документу могу... отъ управленія... Государственныя Имущества! И печати наложены! Я на Альмѣ у генерала Синявина садилъ, а онъ, задави его болячка... не могъ! Онъ поученому, а я изъ прахтики!

— Знаю я Синявина, очень хорошо знаю... и не врете!..

— Вы все-о знаете... А вотъ вы чего не знаете! Какъ матросики въ восемнадцатомъ году налетѣли... Первый допросъ: — «У васъ сады огромныя? кровь народную пьете... исплотация? Нзмъ все извѣстно по телеграфу!» — заразы повели въ сады! А у него стро-го было, по-ряду требоваль... не дай Боже! Встрѣваютъ меня немедленно: что вы за человекъ? Ну, наймытъ... ну? — Строгой? — Баринъ строгой, говорю. Порядокъ требуютъ. — Ладно, будетъ ему порядокъ! — А былъ дотошный... На усякомъ езе-плярь обязательно чтобы ярлыкъ, и про насѣкомое знали. Заплакалъ, какъ его въ сады привели. Погибнуть мои сады! Дозвольте мнѣ, говорить, съ любимой грушкой проститься... первый разъ на ней плодъ вяжется! — Трогательно какъ, до совѣсти... Допрашиваютъ матросы: — А какое ваше дерево дорогое-

любимое? — А вотъ это! — А у нихъ была груша, отъ ливадійскихъ сортовъ привита. — Ведите меня къ грушѣ — «Императрисъ»! — А тѣ смѣются. Привели. — Самая эта? — Эта. — Только зацвѣтаетъ собирается! Дюжій одинъ, ка-акъ насутужился... — рразъ, съ корнями! — Вотъ вамъ — Императрисъ! Изъ винтовки, двое пришли — вразъ. Контрицанерь! Гляжу — го-товъ генераль Синявинъ, Михаилъ Петровичъ! Понтсигаръ изъ брюкъ вынули... А еще были у нихъ гуси съ шишками на клювѣ, китайскаго заводу... Гусей на штыкъ пожарили. Пиръ былъ....

— И вы попиrowали....

— Ну, я... за упокой души, сказать... помянулъ. Жалости подобно! Понтсигаръ былъ знаменитый, съ минограмой, отъ учениковъ дареный. За обученье про насъ юное. Вредъ очень понимали для садовъ. И все съ ножичкомъ, бывало, ходють. И какой сучокъ вредный, заразы — чикъ! Са-ды у насъ были...

— А чего вы съ ними сдѣлали! И съ людьми, и съ садами?.. Молчите, не переговорите меня! А теперь — нѣтъ работы?! Да побій меня Боже, да чтобы васъ загода черви не съѣли...

— Да ето усе полытика, Марина Семеновна! Я жъ говорю, усе глупая полытика. А мы шо? Мы... намъ Господь какъ положилъ? Усѣ православные христiane... шобъ каждый трудився... А ужъ за свою корову... голову ей, гадюкѣ, отмотаю! Надо и о зимѣ подумать... Ладно!...

У него назрѣваетъ драма — всѣмъ извѣстно.

Съ революціей дядя Андрей «занесся». Пришелъ съ Альмы, изъ-подъ Севастополя, къ женѣ — къ Лизаветѣ-чернявой, — служила она при пансіонѣ. Не пришелъ, а верхомъ пріѣхалъ! Не вышло изъ него дрогала, да и возить стало нечего, — лошадь продалъ. Пробовали съ Одарюкомъ спиртъ гнать — и тутъ не вышло. И сталъ дядя Андрей при Лизаветѣ жить, при коровѣ. Вырастила Лизавета великими тру-

дами корову, съ телушки воспитала. Выдала дѣвчонку Гашку за матроса-головорѣза, съ морского пункта. Тутъ-то дядя Андрей и напоролся: думаль корову себѣ забрать, на свое хозяйство садиться, а тутъ — матросъ!

— А въ чеку?! Выведу въ расходъ въ двѣ минуты!

Это тебѣ не господинъ Синявинъ!

Засѣло семь человѣкъ матросовъ въ наблюдательный пунктъ, на докторскую дачу, — смотрѣть за моремъ: не идетъ ли корабль контр-революціонный! Выгнали доктора въ пять минутъ, пчель изъ улья швырнули-подавили, медъ поѣли. Садъ весь запако-стили въ отдѣлку. Семеро молодцовъ — бугай-бугаемъ.

— Командное у насъ дѣло! На море въ бинокли смотримъ!

Народъ отборный: шеи — бычьи, кулаки — свинчатки, зубы — слоновая кость. Ходятъ — баркасъ-баркасомъ, перекачиваются, — дѣвкамъ и сласть, и гибель. На пальцахъ перстни, на рукахъ часики-браслетики, въ штанахъ отборные портсигары — квартирная добыча. Кругомъ голодь, у матросовъ — бараньи тушки, сала, вина — досыта. Дѣло сурьезное — морской пунктъ!

Попала Лизавета подъ высокую руку. Забралъ къ себѣ въ пунктъ матросъ дѣвку Гашку, забралъ и приданое — корову, поставилъ въ подвалъ подъ пунктъ. Сталъ матросъ молоко пить, дѣвку любить. И сѣлъ дядя Андрей на мель: не возьмешь матроса!

Ходятъ матросы веселые, гладкіе, по ночамъ изъ винтовокъ въ море палать, по садамъ остатнія розы дорываютъ — для дамъ сердца.

— Роза — царица цвѣтовъ, народное достояніе!

Пожгли заборы, загадили сады — доломали. Пошли по садамъ доглаживать коровы.

— Коровы — народное достояніе!

Пошли пропадать коровы.

Вотъ и надумываетъ дядя Андрей, какъ овладѣть коровой.

— Изъ-подъ земли достану! Судь теперь нашъ народный!

Уходитъ дядя Андрей къ себѣ, въ исправничью дачку-флигель. Мы сидимъ въ темномъ дворикѣ, подъ верандой. Вадикъ и Кольдикъ спятъ. «Прелесть» и «Бубикъ-Сударь» — въ надежной крѣпости.

— На глазахъ погибаетъ человѣкъ... — говоритъ съ сердцемъ Марина Семеновна. — Говорю ему: налаживайте хозяйство! Видите, я — старуха, и то борюсь, а вы и свой и мой огородикъ стравили поросенку, лѣнь поливать стало! Говорить: порядку нѣтъ, не сообразишься! Вотъ гдѣ развалъ всего! Мы еще напрягаемъ послѣднія силы, а онъ готовъ. Какъ мухи гибнуть! А все кричали — на-ше!

Меня трогаетъ это упорное цѣплянье, борьба за жизнь. Не удержать ей мотыжку! Я беру ея сухенькую руку, благодарю за табакъ.

— Жизнь умирать не хотеть, — говоритъ она съ болью. — Ей нужно, нужно помочь!...

Не можетъ она повѣрить, что жизнь хотеть покоя, смерти: хотеть покрыться камнемъ; что на нашихъ глазахъ плыветъ, какъ снѣгъ на солнцѣ. На ея глазахъ умираетъ «Розовое Царство», валится черепица, тащутъ изъ плетня колья, рубятъ въ саду деревья. Чудачка... Останутся только разумные?! Останутся только — дикіе, сумѣютъ урвать послѣднее. Я не хочу тревожить вѣрующую душу, — у ней внушки...

Приходитъ учительница съ добычи. Приноситъ падалку и мѣшокъ виноградныхъ листьевъ. Съ утра она ничего не ѣла. Она хотеть испечь лепешку. Хотятъ угостить меня. Спасибо, я ѣлъ сегодня. Я даже пилъ молоко! Откуда? А добрая душа принесла — сказала:

— Курочки занесутся, можетъ... яичкомъ отдадите.

Нѣтъ, мои курочки никогда не занесутся. Онѣ все таютъ, не обрастаютъ зимнимъ перомъ: и на перо нѣтъ силы.

ЧАТЫРЬ - ДАГЪ ДЫШИТЬ

Всю ночь дьяволы громыхали крышей, стучали въ стѣны, ломились въ мою мазанку, свистали, выли... — Чатырь-Дагъ ударилъ!

Вчера кроткое облачко лежало на его гребнѣ. Сегодня онъ бурно «дышитъ». Послѣдняя позолота слетѣла съ горъ — почернѣли онѣ зимней смертью. Вымело догола кругомъ, и хоронившіяся за сѣнью дачки пугливо забѣлѣли. Теперь не спрячешься, когда Чатырь-Дагъ дышитъ. Сколько же ихъ раскидано, сиротъ горькихъ! Вышли изъ лѣсовъ камни — смотреть. Теперь будутъ лежать — смотрѣть. Открыли горы каменные глаза свои, недвижные и пустые... Когда Чатырь-Дагъ дышитъ, всѣ горы кричатъ — готовься! Татары это давно знаютъ. И не боятся.

Теперь всѣ боятся. Готовься! Къ смерти? Къ чему же еще готовиться?..

Вѣтеръ гонить меня къ татарину — просить зерна за рубашку, проданную еще лѣтомъ. Не дастъ... Хотя табаку достану.

Туда, черезъ городокъ, подъ кладбище. Иду по балкамъ, — глядятъ зѣвами на меня. Виноградники ошетинились черными рогами — отдали чубуки на топливо. Вотъ и сарай-дача, у пшеничной котловины, — жито здѣсь Рыбачихино семейство.

Прощай, Рыбачихино семейство! Потащились дѣвчонки за переваль, поволокли тощее свое тѣло — кому-нибудь на радость. Гудитъ вѣтеръ въ недостроенной дачѣ, въ пустомъ бетонѣ. Воетъ въ своей лачугѣ Рыбачиха, — надъ мальчикомъ, надъ трех-

лѣткой плачетъ, дѣтолюбивая. Я знаю ея горе: померъ мальчикъ. Послала судьба на конецъ дней радость: къ полдюжинѣ дѣвчонокъ прикинула мальчишку, — придетъ время, будетъ съ отцомъ въ море ѣздить!

Приходила на Горку дѣвочка отъ Рыбачихи, плакалась:

— Одинъ вѣдь онъ у насъ, мальчишка-то... всѣ жалѣемъ! Помретъ — больше мать-то и сродить не сможетъ... ужъ очень теперь харчи плохіе! Мать-то у насъ еще крѣпкая, трицать два годочка... еще бы сколько народила, на харчахъ-то...

Все поѣли: и корову, и пай артельный. Померъ на прошлой недѣлѣ Рыбакъ, наѣлся винограднаго жмыху досыта, на сковородкѣ жарилъ. Народилъ дѣтей полонъ баркасъ, дождался, наконецъ, с в о е й власти и... ушелъ въ дальнее плаваніе, а дѣтей оставилъ.

Гонить меня, сшибаетъ вѣтромъ отъ Чатырь-Дага. Проволока лутается въ ногахъ, сорванная съ оградъ. Не думаю я о вѣтрѣ. Стоитъ передо мной Николай, рыбакъ старый. На морѣ никогда не плакалъ, а гоняло его штормягами и подъ Одессу, и подъ Батумъ, — куда только не гоняло! А на землѣ заплакалъ. Сидѣлъ у печурки, жарилъ «виноградные пироги». Сбились дѣвчонки въ кучку. Сидѣлъ и я у печурки, смотрѣлъ какъ побитымъ сизымъ кулакомъ мѣшаль на сковородкѣ старикъ «сладкую пищу». Разсказывалъ, — дѣдилъ по слову — какъ ходилъ п о г о в о р и т ь начистоту съ представителемъ с в о е й власти, съ товарищемъ Дерябой...

— Они... въ Ялы-Бахтѣ... все управленіе... сколько комнатъ! а мы... дожидаемъ... изъ комнаты въ комнату насъ... гоняютъ... то дѣвки стрыженыя... то мальчишки съ этими... левонверами... печатками все стучать... хазяева наши новые... невѣдомо откуда... въ

гробъ заколачиваютъ... съ бородкой ни одного не видалъ, солиднаго... все шатя....

Понимаю твою обиду, старикъ... понимаю, что и ты могъ заплакать. Отъ слезъ легче. Калѣчный, кривобокій, просоленный моремъ, ты-таки добился до комнаты № 1, — прошелъ всѣ камни, всѣ нужныя лавировки сдѣлалъ и потянуло тебѣ удачей: увидалъ товарища Дерябу! Крѣпкаго, въ бобровой шапкѣ, въ хорьковой шубѣ — за заслуги передъ тобой! — широкорожаго, зычнаго товарища Дерябу! Ты, чудакъ, товарищемъ называлъ его, душу ему открылъ... рассказалъ, что у тебя семеро голодаютъ, а ты — больной, безъ хлѣба и безъ добычи. Надоѣлъ ты ему, старикъ. Не надо было такъ хмуро, волкомъ, ворчать, что общала власть всѣмъ трудящимъ...

Сказалъ тебѣ товарищъ Деряба:

— Что я вамъ... рожу хлѣба?!

Кулакомъ на тебя стучалъ товарищъ Деряба. Не далъ тебѣ ни баранины, ни вина, ни сала. Не подарилъ и шапки. А когда ты, морякъ старый, сѣлъ въ коридоръ и вытянулъ изъ рваныхъ штановъ грязную тряпицу, мимо тебя ходили въ офицерскихъ штанахъ-галифѣ, послѣ разстрѣловъ подѣленныхъ, и колбасу жевали. А ты потиралъ гноившіеся глаза и хныкалъ, поводилъ носомъ, потягивалъ колбасный запахъ... Взяло тебя за сердце, остановилъ ты одного, тощенькаго, съ ноганомъ, и попросилъ тоненькимъ голоскомъ — откуда взялся! —

— Товарищъ... Весной на митингъ... про народъ жалѣли, приглашали къ себѣ... Припишите ужъ все семейство въ партію... въ кумунисты... съ голоду подыхаемъ!..

Тебѣ повезло: попалъ ты на секретаря товарища Дерябы. Спросилъ тебя секретарь съ ноганомъ:

— А какой у васъ стажъ, товарищъ?

Ты, понятно, простакъ, не понималъ, что надъ тобой смѣются. Ты и слова-то того не понималъ. А если бы ты

и понять, ну, что сказалъ бы? Твой стажъ — полвѣка работы въ морѣ. Этого, старикъ, мало. Твой стажъ — кривой бокъ, разбитый, когда ты упалъ въ трюмъ на погрузкѣ, руки въ мозоляхъ, ноги, разбитыя зимнимъ моремъ... И этого, чудака, мало! У тебя нѣтъ самаго главнаго стажа — не пролилъ ты ни капли родной крови! А у т о г о имѣется главный стажъ: разстрѣливалъ по подваламъ! За это у него и колбасы вдоволь. За это и съ ногономъ ходить, и говорить съ тобой властно!

Ты поднялся, оглянулъ живые его глаза — чужіе, его тонкія и кривыя ноги... И хрипнулъ:

— Значить,дохнуть?! Да хошь ребятъ возьмите!

Ты грозилъ привести ребятъ. Тебѣ сказали:

— Приведи, твое дѣло. Выведемъ на крыльцо...

Ты крикнулъ ему угрозу:

— Та-акъ?! Въ море кину!..

— Дѣти твои, кидай! Вотъ чудака... если всѣмъ нехватаетъ!

Пошелъ ты къ себѣ, спустился въ свою лачугу... Не пошелъ къ рыбакамъ своимъ: у всѣхъ ты позабиралъ, а теперь и у нихъ пусто. Наѣлся жмыху и померъ. Спокойнѣй въ землѣ, старикъ. Хорошая она — всѣхъ принимаетъ щедро.

Валить меня вѣтромъ на виноградникъ, на лошадиныя кости. Стоять на площадкѣ, на всѣхъ вѣтрахъ, остатки дачки-хибарки Ивана Московскаго, — двѣ стѣнки. За ними передохнуть можно. Когда Чатырь-Дагъ дышитъ — дышать человѣку трудно. Смотрю — хоронится отъ вѣтра, Пашка, рыбакъ, лихой парень. Тащить домой добро — вымѣнилъ гдѣ-то на вино пшеницы, сверху запустилъ соломки, чтобы люди не кляли.

— Ну, какъ живется?

Онъ ругается, какъ на баркасъ:

— А-а..... подъ зябры взяли, на куканѣ водятъ! Придешь съ моря — все забираютъ, на всю артель

десять процентов оставляют! Ловко придумали — коммуна называется. О н и правютъ, своимъ мѣста пораздавали, пайки гонять, а ты на ихъ работай! Чуть что — подваломъ грозятъ. А мы... — насъ шестьдесятъ человекъ дураковъ-рыбаковъ, — молчимъ. Глядѣли — глядѣли... не желаемъ! Еще десять процентовъ прибавили. Запасу для себя не загонишь, рыба-то временемъ ходъ имѣетъ. Пойдешь въ море — ладно, думаешь, выгрузимъ, гдѣ поглуше, — стерегутъ! Пристали за «Черновскими Камнями», только баркасъ выпрастывать принялись, — и ужъ онъ тутъ какъ тутъ! «Это вы чего выгружаете? противъ власти?!» Ахъ, ты, паршивый! Раза даль... не дынулъ бы! А за и м ѣ — стража! Наши же сволочи, красноармейцы, съ винтовками изъ камней лѣзутъ! За то имъ рыбки даютъ... Отобралъ! Да еще рѣчь произнесъ, ругаль: пролетарскую дисциплину подрываете! Комиссаръ, понятно...

— Власть-то в а ш а.

Пашка сверкнулъ глазами и стиснулъ зубы.

— Говорю — подъ зябры ухватили! А вы — в а - ш а! Всю нашу снасть, дорожки, крючья, баркасы — все забрали, въ Комитетъ, подъ замокъ. Прикажутъ: выходи въ море! Рабочіе сапоги какъ на берегъ сошли, — отбираютъ! Совсѣмъ рабами подѣлали. Ладно, не выѣзжать! Въ подвалъ троихъ посадили, — некуда податься! Депутата послали въ центръ, шумъ сдѣлали... Три недѣли въ море не выходили! Отбили половину улова, а ужъ ходъ камсы кончился. Седьмой мѣсяцъ и вертимся, затошали. Что выдумали: — «Вы — говорятъ — весь городъ должны кормить, у насъ коммуна!»! Присосались — корми! Бѣлужку какъ-то закрючили... — выдали по кусочку мыла, а бѣлужку... въ Симферополь, главнымъ своимъ, въ подарокъ! Бы-ло когда при дарѣ?! Тогда намъ за бѣлужку, бывало... любую цѣну, какъ Ливадія знакъ подаетъ! Свобода-то когда была, мать

ихъ...! Да раньше-то я на себя, ежели я счастливый, сколько могъ добывать? У меня тройка триковая была, часы на двѣнадцати камняхъ, сапоги лаковые... отъ дѣвокъ отбою не было. А теперь вся дѣвка у н и х ъ, на прикормѣ, какихъ полюбовницъ себѣ набрали... изъ хорошаго даже роду! Попа нашего два раза забирали, въ Ялты возили! Ужъ мы ручательство подавали! Намъ безъ попа нельзя, въ море ходимъ! Уйду, мочи моей не стало... на Одесѣ подамся, а тамъ — къ Румынамъ... А что народу погубили! Которые у Врангеля были по мобилизаціи солдаты, раздѣли до гульчиковъ, разули, голыми погнали черезъ горы! Плакали мы, какъ сбили ихъ на базарѣ... кто въ одѣялкѣ, кто вовсе дрожить въ одной рубахѣ, безъ нижняго... какъ надъ людьми измывались! Въ подвалахъ морили... потомъ, кого разстрѣлили, кого куда... не доищутся. А всѣхъ, кто въ милиціи служилъ изъ хлѣба, простые же солдатики... всѣхъ до единого разстрѣлили! Сколько-то тыщъ. И все этотъ проклятый... Бала-Кунъ, а у него полюбовница была, секретарша, Землячка прозывается, а настоящая фамилія неизвѣстна... вотъ звѣрь, стерва! Ходилъ я за одного хлопотать... показали мнѣ тамъ одного, главнаго чекиста... Михельсонъ, по фамиліи... рыжеватый, тощій, глаза зеленые, злые, какъ у змѣи... главные эти трое орудовали... безъ милосердія! Мой товарищъ сидѣлъ, рассказывалъ... Ночью — тревога! Выстроить на дворѣ всѣхъ, придетъ какой въ красной шапкѣ, пьяный... Подойдетъ къ какому, глянетъ въ глаза... — р-разъ! — кулакомъ по мордѣ. А потомъ — убрать! Выкликнуть тамъ сколько-нибудь — въ расходъ!

Я говорю Пашкѣ:

— Вашимъ же именемъ все творится.

Нѣтъ, онъ не понимаетъ.

— Вашимъ именемъ грабили, бросали людей въ море, разстрѣливали сотни тысячъ...

— Стойте! — кричит Пашка. — Это самые па-
скуды!

Мы стараемся перекричать вѣтеръ.

— Ва-шимъ же... именемъ!

— Подмѣнили! окрутили!

— Воспользовались, какъ дубиной! Убили лучшее,
что въ народѣ было... поманили насъ на грабежъ... а
вы предали своихъ братьевъ!.. Теперь вамъ же на
шею сѣли! Заплатили и вы!.. и платите! Вонъ и Ни-
кодай заплатилъ, и Кулешъ, и...

Онъ пучить глаза на меня, онъ уже давно самъ
ч у е т ь.

— На Волгѣ ужъ... миллионы... заплатили! Не про-
ливается даромъ кровь!.. Возмѣ-рится!

— Дуракъ нашъ народъ... — говорит Пашка,
хмурясь. — Вотъ когда всѣхъ на берегу выстроить
да въ руки по ложкѣ дадутъ, да прикажутъ — море
выхлебывай, туды-тъ твою растуды-тъ!.. — вотъ тог-
да поймутъ. Теперь видимъ, къ чему вся склока. Ко-
му могила, а и м ѣ свѣтелъ день. Уйду! На Гирла
уйду, ну ихъ, къ ляду!..

Пашка забираетъ мѣшокъ. Только теперь я вижу,
какъ его подтянуло, и какъ обносился онъ.

— Пшени-чка-а... Пять верстѣ гнались...

Голосъ срываетъ вѣтромъ. Онъ безнадежно ма-
шетъ и пригибается отъ вихря къ землѣ, хватается за
рогульки на виноградникѣ, путается за нихъ ногами.

Дальше, ниже. Вотъ и миндальные сады доктора.
Въ вѣтрѣ мальчишки рубятъ... а, пусть! Прощай са-
ды! Не зацвѣтутъ по веснѣ, не засвищутъ дрозды по
зорямъ. Шумитъ Чатырь-Дагъ — ...долло...ййййй!..
— сѣверъ по садамъ свищетъ, реветъ въ порубкахъ...
И море черезъ сады видно... — погналъ Чатырь-Дагъ
на море купать барашковъ! Визжатъ-воютъ голые

миндали, сѣкутся вѣтками, — хлещетъ ихъ Чатырь-Дагъ бичами — до-лоййй... — давній пустырь зо-ветъ, стираетъ сады миндальные, воли хочетъ. За-бился подъ горку докторъ... да живъ ли?...

Вѣтромъ срываетъ меня съ тропинки, и я круто срываюсь въ балку, цапаюсь за шиповникъ. Вотъ куда я попалъ! Ну, что же... зайду проститься — совершаю послѣдній кругъ! Вгляну на праведницу въ проклятой жизни...

П Р А В Е Д Н И Ц А - П О Д В И Ж Н И Ц А

Лачуга, слѣпленная изъ глины. Сухія мальвы треплются на вѣтру, тряпки рвутся на частоколѣ. Одноногій цыпленокъ уткнулся головкой въ закрытую сараюшку, стынеть — калѣка. И все — калѣчное. На крышѣ — флюгеръ, работа покойнаго Кулеша-сосѣда, — арапъ желѣзный подрыгиваетъ, лягаетъ ногой серебряной, сапогомъ: веселенькая работа-даръ. Померъ Кулешъ, и сапожникъ померъ, Прокофій, что читалъ Библию. Остался арапъ желѣзный лгать сапогомъ въѣтру.

Позналъ Прокофій Антихриста — и померъ. Знаю, какъ онъ померъ. Все ходилъ по заборамъ, по пустымъ окнамъ — читалъ приказы, разглядывалъ печати: «антихристову печать» отыскивалъ. Придѣтъ въ лачугу и сидѣть въ уголъ.

— Ну, чего ты, Прокофья... вонъ починка! — скажетъ ему жена Таня.

— Де-кретъ! декретъ!! — шепчетъ Прокофій въ ужасъ. — Полотенца, рубахи приносить в е л и т ь! Жду, все жду...

— Ну, чего ждешь-то, глупый? Хотъ бы пожалѣлъ дѣтей-то..!

— Знака настоящаго жду... тогда..!

— Измучилъ ты меня!... Ну, какого тебѣ знака еще... Господи!

— Декретъ г о т о в и т ь! Кресты чтобы ему приносили, тогда и п е ч а т ь положить... Слѣжу...

Понесъ Прокофій полотенце — «по декрету». Подалъ полотенце.

— А рубахи нѣту? — спросили. — Рубахи очень нужны шахтерамъ, товарищъ!...

— По-слѣдняя! — дрогнувшимъ голосомъ сказалъ Прокофій и приложилъ руку къ сердцу. — А когда крестъ... снимать будете?

Его хотѣли арестовать, но знающіе сказали, что это сумасшедшій сапожникъ. Онъ вышелъ на набережную, пошелъ къ военному пункту и заплѣлъ — «Боже, Царя Храни!» Его тяжело избили на берегу, посадили въ подвалъ и увезли за горы. Онъ скоро померъ.

Я смотрю на сиротливую лачугу. Вотъ плетешокъ на обрывчикѣ — его работы. Пустой хлѣвокъ: давно проданы свинки, послѣднее хозяйство. «Одноножка» одна осталась — дѣтямъ. Двѣ дѣвочки-голоножки вьются на ниточкахъ щепки — играютъ въ пароходы. За окошкомъ мальчикъ грозитъ сухою косточкой.

Я хочу повидать Таню. А, вотъ она. Куда собралась она въ такой вѣтеръ, сдувающимъ съ горъ камни? Она стоитъ на порогѣ — уже въ пути.

— Здравствуйте. А я за горы, вино мѣнять...

На ней кофта, на головѣ ситуевый платокъ, босая. За спиной — боченокъ на полотенцѣ, пудовый. На груди, на веревкахъ, перевитыя тряпками — чтобы не побились! — четыре бутылки. Походное снаряженіе.

Я понимаю, что значить это — «за горы». За полсотни верстъ, черезъ переваль, гдѣ уже снѣгъ выпалъ, она понесетъ трудовое свое вино, — потащитъ черезъ лѣса, черезъ мосты надъ оврагами, гдѣ боятся ѣздить автомобили. Тамъ останавливаютъ проезжихъ. Тамъ — зеленые, красные, кто еще?... Тамъ висятъ надъ желѣзнымъ мостомъ, на сучьяхъ, — семеро. Кто они — неизвѣстно. Кто ихъ повѣсилъ — никто не знаетъ. Тамъ прочитываютъ бумаги, выпрастываютъ карманы... Коммунистъ? — въ лѣсъ уводить. Зеленый? — укладываютъ на мѣстѣ. Гражданинъ? — пошлину за-

плати, ступай. Тамъ волчья грызня и свалка. Незатахающій бой людей желѣзнаго вѣка — въ камняхъ.

И она, слабенькая, мать Таня, — идетъ туда. Сутки идетъ — не ночуетъ, не останавливается, несетъ и несетъ вино. Выгадаетъ пять фунтовъ хлѣба. Идетъ оттуда съ мукой. А черезъ три дня опять — вино, и опять горы, горы....

— Трудно. Да вѣдь дѣ-ти... Пять разъ ходила, въ шестой. Сплю когда, во снѣ вижу — иду, иду.... лѣсъ да горы, а вино за спиной — буль-буль... плещется. Когда идешь — спишь... буль-буль... Ноги обила, а обувку гдѣ же! Кормимся...

Когда-то она жила, какъ люди, стирала на приѣзжихъ. Чисто водила дѣтей, сытенькія всегда были. Прокофій сапожничалъ, читалъ Библию и поджидалъ Правду. Пришла — навалила камень.

— Не обижаютъ на дорогѣ?

— Всего бывало. Вышли изъ лѣсу, остановили. Ну, еще молодая я... «Пойдемъ жить въ лѣсъ съ нами!» — Дѣти у меня, говорю, а то бы съ вами осталась! — Посмѣялись, хлѣбушка дали... Попались добрые люди, страдающихъ понимаютъ...

— «Зеленые», что не хотятъ неволи?

— А не знаю... — робко говоритъ Таня. — Одинъ сала кусокъ сунуль. Говорить — снести дѣтямъ... у меня, говорить, тоже дѣти.... А то было, подъ городомъ... вотъ дойду!.. вино у меня отняли... Въ ногахъ валялась... — «Молчи, говоритъ, спекулянка!» Пошла назадъ, холодная-голодная, насилу добралась... Спасибо, татаре въ долгъ опять вина дали.

Звѣри, люди — всѣ одинаковы, съ лицами чело-вѣчьими, бьются, смѣются, плачутъ. Выдерутся изъ камня — опять въ камень. Камней, лѣсовъ и бурь не боится Таня. Боится: потащатъ въ лѣсъ, досыта насмѣются, вино все выпьютъ, ее все выпьютъ... — ступай, веселая!

— Приду — испеку имъ хлѣбца. Ъдятъ, меня до-
жидаются, одни...

Когда-то мальвы въ саду цвѣли, голуби ворко-
вали, постукивала швейная машинка. Когда-то она,
нарядная, ходила съ Прокофіемъ къ обѣднѣ, дѣво-
чекъ вела за ручки, а Прокофій несъ на рукахъ на-
слѣдника.

— Боюсь — не выдержу. Только судьбу обма-
нываю. Если помощи не дадутъ — всѣ погибнемъ.

Востроносенькая, синеглазая, привѣтливая, она
недавно была красива. Теперь — скелетъ большегла-
зый. Большеглазы и дѣвочки. Спасется, если при-
метъ повадившагося заглядывать толстошею-матроса
съ пункта. Пусть, хоть матросомъ спасетъ семью.
Все летитъ въ прахъ, горитъ.

— Ну, живите... хлѣбца я вамъ порѣзала, по бу-
мажкамъ. Христось съ вами... Сосѣдка заглядываетъ
когда...

Прощай, подвижница!

На меня смотреть дѣвочка, показываетъ на
щепку:

— Па... ла... ходъ... у-у-у...

Мальчикъ косточкой по стеклу стучить.

Ушла Таня. Смотрю на Чатырь-Дагъ, — ясный-
ясный. Тамъ выпалъ снѣгъ. Туда, за его промаду, по-
лѣзетъ съ боченкомъ Таня, а онъ будетъ ее сдвигать.
Будутъ орлы кружиться. А вино — весело за спиной
— буль-буль-буль...

ПОДЪ ВѢТРОМЪ

Миндальные сады доктора... Надо зайти проститься. Я совершаю послѣдній кругъ, послѣднее нисхожденіе. Дѣлать внизу мнѣ нечего: сидѣть на горѣ легче.

Охлестываетъ меня вѣтвями, воетъ-визжитъ кругомъ. Показываетъ и прячетъ синее море — играютъ на немъ барашки. Бѣлѣетъ черезъ деревья домъ доктора. Дубовыя колоды вдѣланы на вѣка. Стѣны — крѣпость. Водоемы хранятъ и въ жары студеную — зимнихъ дождей — воду. Продалъ докторъ свой крѣпкій домъ и перебрался въ новый — изъ тонкихъ досокъ, — въ скворешникъ-гробикъ.

А вотъ и докторъ. Онъ стоитъ передъ домикомъ, неподвижно, раскинувъ руки, какъ огородное чучело. Вѣтеръ треплетъ его лохмотья.

— Вѣтромъ занесло къ вамъ... докторъ... проститься передъ... зимой!

— Да-да... — бросаетъ онъ озабоченно, а его, кисель-киселемъ, лицо продолжаетъ смотрѣть кверху. — Зрѣніе провѣряю... Вчера отчетливо различалъ, а сегодня шишекъ не вижу...

— Вѣтромъ побивало!

— Вы думаете... Но я и сучковъ не вижу. Десять дней принимаю одинъ миндаль... горькій. Нѣтъ, оставьте! Я не имѣю охоты продолжаться. Обидно, что не кончу работу, потеряю глаза... Заключительныя главы — «апофеозъ русской интеллигенціи», не успѣю! Слѣпну, ясно. Вчера одинъ коллега, который каждый день умѣетъ ѣсть пирожки, прислалъ пиро-

жокъ... но такія боли... опиумъ принялъ и уснулъ. Передъ утромъ видѣлъ ее, Наталью Семеновну... Положила голову на плечо... «Скоро... Миша»! Конечно — скоро. А вѣдь долженъ же быть хоть тамъ какой-нибудь міръ, гдѣ есть какой-нибудь смыслъ?! Ибо, хотимъ смысла! И вотъ, подъ опиумомъ мнѣ все открылось, но... забылъ! Два часа вспоминалъ... а какъ я былъ счастливъ! Помню... про «дядюшку» что-то...

— Какъ, про «дядюшку»?!

— Какъ-будто, смѣшно... но... У человѣчества, у насъ! у насъ! дядюшки не было! Такого, положительнаго, съ бородой честной, съ духомъ-то землянымъ, своимъ... съ чемоданчикомъ-саквояжикомъ, пусть хоть и рыженькимъ, потертымъ, въ которомъ и книги расчетныя, и пряники съ богомолья, и крестики отъ Преподобнаго... и во-дица святая... и хоро-шая плетка!

— Не понимаю, докторъ!..

— Можетъ быть это отъ миндаля съ опиумомъ? — прищурился докторъ хитро. — Я про интеллигенцію говорю! Были въ ней только... полюсы, сѣверный и южный! Стойте, вѣтра не бойтесь... намъ съ вами вѣтеръ не повредить! не можетъ повредить! Одинъ полюсъ, хоть сѣверный, — «высоты духа»! Рафинадъ! Они только тѣмъ и занимались, что изъ банкротства въ банкротство... и духъ испустили! Гнили сладостно и въ томъ наслажденіе получали. Одну и ту же гнилушку подъ разными соусами подавали, — какое же, скажите, питаніе въ... гнилушкѣ, хоть бы и съ фиміамами?! А другой полюсъ... — плоть трепетная и... гну-усная, тоже подъ соусами ароматными... — дерзатели-рвачи-стервецы! Эти ничего не подавали, а больше по санитарной части: все — долой! и — хочу жрать! Но подъ музыку! съ барабаномъ! жрать хочу всенародно и даже... всечеловѣчно! А между ними «бѣтъ» колыхалась, молочишко

снятое! Оно теперь, понятно, сквасилось и... А «дядюшки»-то и не было! который ни туда, ни сюда! А — погоди, малецъ: тебя надо въ банѣ выпарить, голову вычесать, рубаху чистую на тебя надѣть, вотъ тебѣ крестикъ съ Преподобнаго и... букварь! и плетка на случай! Я дра-то не было! Молочиско-то всю посуду заквасило... Не понимаете?! Ага! Я эту формулу могу содержаніемъ наполнить на двадцать томовъ, съ историческими и всякими комментаріями! Въ лучшемъ случаѣ у насъ вмѣсто дядюшки-то кузенъ былъ! А чего отъ кузена ждать?! Рецептики у кузена всегда больше презервативнаго и руганнаго характера. Онъ изъ «Варьете» на двѣ минуты къ бабушкѣ передъ соборованіемъ, а потомъ къ мадамъ Анго, на утренній туалетъ, а тамъ къ кузинѣ, а тамъ пицевареніемъ занимается, стишками побалуешь и въ клубъ — друзья дожидаются докладъ объ «устремленіяхъ» послушать... И подметки у него всегда протертыя! Да, дядюшка! По немъ скоро весь земной шаръ будетъ тосковать... ибо ужъ если ступить — знаетъ, куда нога попадетъ! И въ саквояжѣ у него всегда свое! И въ книжкѣ у него все, до «нищему на паперти подано — 2 копѣйки»! А у кузена больше на манжеткѣ написано — «въ «Палермо» метрдотелю 5», и не поймешь, какъ и за что, да и пять ли!

Онъ потеръ глаза и принялся провѣрять по шишкамъ.

— Да, слабѣютъ. Вчера дубовую дверь ночью ломали, лѣзли... да крѣпка! А окна, какъ видите, на три аршина, — предусмотрѣно! Такъ они всѣ мотыги и лопаты забрали. Такъ и съ культурой! Передкомъ еще тащилась, а какъ передокъ со шкворня, — задній-то станъ и налетѣлъ — хрящ! Ну... звѣри сломали клѣтку, змѣи разбили стеклянный ящикъ...

Я вижу, какъ онъ задыхается отъ вѣтра, пригибающаго кипарисы, но уходитъ не хочетъ и къ себѣ не зоветъ. Просить стоять за деревомъ: такъ не дуешь.

— Конечно, отвлеченности теперь страшно утомляютъ, но безъ нихъ нельзя даже здѣсь» А теперь обобщенія неизбѣжны, ибо итоги, итоги подводимъ». Рѣш а т ь надо! Вотъ вчера умеръ уже семнадцатый! отъ голода! Но... третьего дня въ Алупкѣ разстрѣляли двѣнадцать офицеровъ! Вернулись изъ Болгаріи на фелугѣ, по семьямъ стосковались. И я какъ разъ видѣлъ т о т ь с а м ы й автомобиль, какъ поѣхали расправляться за то, что воротились къ родинѣ, отъ тоски по ней!! Сидѣлъ тамъ... по-этъ, по виду! Волосы по плечамъ, какъ вороново крыло... въ глазахъ — мечтательное, до одухотворенности! что-то такое — не отъ міра сего! Героическое дерзаніе! Онъ, въ какихъ-то облакахъ пребывающій, приказалъ!!! рабамъ приказалъ убить двѣнадцать русскихъ героевъ, къ родинѣ воротившихся! Стойте!! — подбѣжалъ ко мнѣ докторъ и схватилъ за руку... — Ч е г о - т о мы не учитываемъ! Не в с ѣ вѣдь умираютъ! Значить, жизнь будетъ итти... она идетъ, идетъ уже тѣмъ, что есть, которые убиваютъ! и только! въ этомъ и жизнь, — въ убиваніи! Телефоны работаютъ: «Убить»? — «Убить». — «Ѣдемъ!» — «Торопитесь!» — Это уже видъ функціи принимаетъ!! Значить, ясно: надо... уходить.

— А надежда, докторъ? А расплата?!

— Функція! — говорю. Какая можетъ быть тутъ надежда?! А расплата — укрѣпленіе функціи. Мерси покорно. Гніеніе конституціональное. Вы имѣете понятіе о газоидальной гангренѣ? Вы не слышите этого шипѣнья?! Ну, слушайте. Почему вчера не были на собраніи? Смо-трите, могутъ и убить! Я вамъ сейчасъ...

Докторъ вытащилъ изъ какой-то складки заплатъ розовенькій листокъ бумаги, затрепавшій въ вѣтрѣ.

— Стой, не дерись... сейчасъ выпущу... Читайте, на розовенькомъ-то: «явка обязательна, подъ страхомъ преданія суду революціоннаго трибунала»! Зна-

чить, вплоть до... функцій! Я не потому пошелъ, а... выступалъ самъ маэстро! Н-ну, хоть маэстро функцій! самъ товарищъ Дерябинъ! Раньше парнишка съ Путиловскаго завода нашихъ профессоровъ пушилъ и учителямъ носы утиралъ, а они улыбались не безъ пріятности, а тутъ самъ Дерябинъ! Все козыри ихніе! Чтобы вся интеллигенція явилась! Она любитъ «Голгофу»-то, ну, съ ея вкусами-то и считаются. Въдъ о н и - то, центръ-то, пси-хологи! Всѣ перепоночки интеллигенціи-то знаютъ... Всѣ и явились. Съ зубками больными даже, съ катаррами... кашлю что было, насморку! Они не являлись, когда ихъ на борьбу звали, отъ Дерябиныхъ-то защищать и себя, и... Но тутъ явились на порку аккуратно, заблаговременно! Хоть и въ доскутьяхъ пришли, но въ очкахъ! нѣкоторые воротнички надѣли, можетъ быть для поддержанія достоинства и какъ бы въ протестъ. Безъ сапогъ, но въ воротничкѣ, но... покорень! Доктора, учителя, артисты... Эти — съ лицомъ хоть и насмѣшливо-независимымъ, но съ дрожью губъ. Въ глазахъ хоть и тревожный блудъ, и какъ бы подобострастіе, но и сознаніе гордое — служеніе свободному искусству! Кашлянетъ по театральному, львенкомъ этакимъ салоннымъ, будто на сценѣ, и... испугается — будто поперхнулся. Товарищъ Дерябинъ въ бобровой шапкѣ, шуба внакидку, лисья.. какъ у Пугачова!

— Но... у него хорьковая шуба...

— Ну, да! У него и хорьковая есть. А тутъ въ лисьей. Фи-гу-ра! Или мясникъ онъ былъ, или въ борцахъ работалъ... а можетъ быть, и урядникъ, въ хлѣбномъ селѣ такіе попадаютъ... ширококрылый, скуластый... Ногаи на столъ! О просвѣщеніи народа! Что ужъ онъ говорилъ..! Ну... Да ка-акъ зы-кнетъ..! — такъ всѣ и... «*Такіе-сякіе*... за народную потъ-кровь... набили себѣ головы всяческими науками! Требую!! Раскройте свои мозги и покажите пролета-

ріату! А не рас-кро-сте... тогда мы ихъ... рас-кроимъ!» И ногономъ! Въ гробъ прямо положилъ! Ти-ши-на... Въдь, рукоплескать бы надо, а? Дождались какого торжества-то! Власть, въдь, наконецъ-то на просвѣщеніе народное призываетъ! Въдь, бывало, самофды какъ живутъ, или какъ свободные американцы гражданскіе праздники празднуютъ, и какъ отдыхаютъ, и развлекаются, черезъ волшебный фонарь народу показать тѣхъ, какъ бы хоть кусочкомъ своего ума знанія-мозга подѣлиться, на ушко шепнуть... изъ-подъ полы, за двадцать верстъ по грязи бѣжали, показать истину - то какъ пытались... а тутъ всѣ мозги требуется показать, а... И какъ-будто недовольны остались! Не то, что бы недовольны, а... потрясеніе! Готовность-то изображаютъ, а въ кашлѣ-то нѣкоторая тѣнь есть. Но... когда пошли, подхихикивали! А докторокъ одинъ, Шуталовъ... и говорить: «А знаете... мнѣ это нравится! Почвенно, а, главное, непосредственности - то сколько! Душа народная пробуждается! Переварка! Рефлексы пора оставить, не угодно ли... въ черную работу!» И за товарищемъ Дерябинымъ побѣжалъ! ручку потрясти. Что это — подлость или... отъ благороднаго покаянія?! Въ помойкѣ пополоскаться?! Въдь, есть такіе... Зовутъ полоскаться и претерпѣть. Поклонимся гологѣ безстыжей и побѣдимъ... помойкой! Чѣмъ и покажемъ любовь къ народу! Правда, у такихъ головы больше рѣдкой... но если и рѣдка начнетъ долбить и терзаться — простимъ-простимъ и претерпимъ! — такъ... Источимся въ страданіи сладостномъ! Вотъ она, гниль-то мозговая! Ну, съ такимъ матерьяльцемъ только въ помойкѣ и полоскаться. Во что Прометей-то, Каинъ-то прославленный вылился! — въ босяка, на сладостной Голгофѣ-помойкѣ самозабвенно истекающаго любовію! Къ звѣрямъ бы ушелъ... не могу..!

Докторъ пускаетъ розовенькую бумажку, и она

взмываетъ кверху и порхаетъ розовой бабочкой. Понесло ее къ морю.

— Не спѣшите. Все хочу главное высказать, а мысли... мозгъ точать, какъ мыши... все перегрызаютъ. Не съ кипарисами же говорить?! Не съ кѣмъ говорить стало... Боятся говорить! И думать скоро будутъ бояться. Я имъ пакетики хочу оставить, въ назиданіе. Здѣшніе-то, конечно, и не поймутъ, мавры-то... а вотъ бы господамъ журналистамъ-то бывшимъ... Они и, вѣдь, все по журналистикѣ до кровопуска-то... Интересно, когда они одинъ на одинъ съ собой?... Не волкъ же они или удавъ? когда пожреть, только бурчаніе свое слушаетъ въ дремотѣ... Если у нихъ человѣческое что-то имѣется, не могутъ они, когда передъ зеркаломъ съ глазу на глазъ... Плюютъ въ себя? какъ вы думаете... или ржутъ?! Или и передъ зеркаломъ себѣ успокоительныя рѣчи произносятъ? Во имя, дескать... И шахеръ-махеръ — во имя?! И — все? Этотъ вотъ смо-кингъ — отъ все-народнаго портного, не носятъ? человѣчины не ѣдятъ? Какъ же не ѣдятъ!? На каждого изъ нихъ... сколько сотенъ тысячъ головушекъ-то російскихъ падаетъ? А они ихъ рѣчами, рѣчами засыпаютъ, песочкомъ краснымъ... Такъ-таки и не возмѣрится?! О, какъ возмѣрится!.. до седьмого колѣна возмѣрится! Вотъ, и объ этомъ во снѣ мнѣ было... Тѣ-ни задавать! Э ти, здѣшніе, что! Но и они наводятъ на выводы... Вчера иду по мосту. Трое звѣздоносцевъ обгоняютъ, въ шлыкахъ витязей... въ издѣвкѣ-то этой надъ давнимъ нашимъ, когда лыкомъ сшивали Русь! Про пенснѣ мое, какъ полагается, го-гочутъ! Молчу. И вотъ, непристойные звуки стали производить, нарочно! Воздухъ отравили и го-гочутъ! Только чело-вѣнку можетъ такое въ башку притти... Животное есть, вонючка... Такъ она отъ смерти этимъ спасается, жидкостью-то своею! Э ти такъ, а тѣ... слово, душу заразили, все завоняли! и еще весь

міръ приглашаютъ: дружно будемъ... вонять! И есть, идутъ!!! Въ воні этой даже какое-то искупленіе и постраданіе находятъ! возрожденіе черезъ вонь ждуть! Могій вмѣстити! говорятъ!! Франциски Ассизскіе какіе... супъ себѣ изъ вышвырнутыхъ мошей будутъ кушать и... плакать! А потому — постраданіе-то сладостно! Словоблудіе-то какво! Что же, уходите?

Онъ провожаетъ меня, доводитъ до бассейна и останавливается.

— Тутъ потише. Я ужъ въ свой... склепъ-то и не зову. Да и все прибираюсь, бумажки какія... Да... я вчера Кука читалъ, про дикарей, и плакалъ! Живо́гъ болѣлъ отъ коллегина пирожка... Милые дикари, святыя! Тоже угощали Кука человѣчинкой... отъ радушія угощали! по-медвѣжьи... и ящерицу на жертвенномъ блюдѣ подали! Какъ эти горы — святы въ невѣдѣніи своемъ. Горы, падите на насъ! Холмы, покройте! Отъ нихъ уходитъ жалко. Хожу по садамъ, каждое деревцо оглядываю, прощаюсь. Скверно, что такъ съ трупами, валяются тамъ недѣлями! И кладбище гнусное, на юру, вѣтрено... Эту вотъ руку собаки обгрызутъ...

— Вѣдь все же — химія, докторъ?

— А непріятно. Эстетика-то... стоитъ чего-нибудь? Вонъ художникъ знакомый говоритъ... — лучше бы хоть удавили! Приказали плакаты противъ сыпняка писать... вошей поярче пролетаріату изобразить! Написалъ пару солидныхъ, заработалъ фунтъ хлѣба... да дорогой дѣтямъ отдалъ: не могу, говорить, отъ этого кормиться! Нѣтъ, не говорите... Море-то, море-то какво! И блескъ, и трепеть... — у Гоголя недавно гдѣ-то. Сколько прекраснаго было! Ахъ, на пароходъ бы сейчасъ... гдѣ-нибудь въ Индійскомъ Океанѣ... куда-нибудь на Цейлонъ пристать... въ джунгли, въ лѣса забраться... Храмы тамъ заросли, въ зеленой тишинѣ дремлютъ. И Будда, огромный, въ зеленомъ сумракѣ. Жуки лѣсные ползаютъ по немъ,

райскія птицы порхають... то на плечо къ нему сядутъ, то на ухо, чирикають про свое... и непременно ручеекъ журчитъ... А онъ, давній-давній... съ длинными глазами, смотритъ-смотритъ, безстрастно. Я на картинкахъ его такимъ видалъ. Чувствуется, что онъ все знаетъ! И все молчитъ! Не мелкое, гаденькое, копѣчное... не великую силу «четырёххвостки» или «диктатуру пролетаріата», который звуками воздухъ отравляетъ, а... Все знаетъ! Стать бы передъ нимъ такъ вотъ... съ книгами со всѣми въ головѣ, что за цѣлую жизнь прочиталъ, съ муками, какими накормили... и... — онъ бы все понималъ! — и сказать только глазами, руками такъ... — «Ну, что? какъ съ ду-мой-то ты своей, своей?» А онъ бы — ни рѣсничкой! Зрячій и мудрый Камень! Вотъ такъ подумаю — и не страшно! Ничего не страшно! Мудрый камень, — и вниду въ онъ! Хотя бы на полчаса, для виѣдренія въ... сущее. Вѣдь, я теперь ужъ кипарисамъ молюсь! Горамъ молюсь, чистотѣ ихней и «Буддѣ» въ нихъ! Если бы я теперь, теперь... миндали сажалъ, миндальному бы богу молился! Вѣдь и у миндаля есть свой богъ, миндальный. Есть и кипарисный, и куриный. И все — въ Лонѣ пребываетъ... Тамъ бы, у подножія, и скончать дни... упереться въ Него глазами и... отойти съ миромъ. Можетъ быть «тайну» ухватишь, — и примиришься. Понимаю, почему и Огню поклоняются! Огонь отъ Него исходитъ, къ Нему возвращается! И вѣтеръ... Его дыханіе!

Докторъ словно хватается вѣтеръ, руками черпаетъ.

— Чатырдагскій, чистый. Теперь ужъ онъ какъ пріятель. Сегодня ночью какъ зашумѣлъ по крышѣ... Здравствуй, говорю, другъ вѣрный. Шумишь? и меня, старика, не забываешь?.. А вотъ... съ помойкой не примирюсь! Я умирать буду, а они двери съ крюковъ тащить! Вчера двѣ рамы и колоду выворотили

въ томъ домѣ, ночью слышалъ. А они чужихъ коровъ свѣжевать... а они съ дѣвками подъ моими миндалями валяться? А они грамфонъ заведутъ и «барыню» на всѣ корки? Каждый вечеръ они меня «барыней» терзаютъ! Только-только съ величайшимъ напряженіемъ въ свое вглядываться начнешь, муку свою рассасывать... — «барыню» въ перехватомъ! Ужасъ въ томъ, что они - то никакого ужаса не ощущаютъ! Ну, какой ужасъ у бациллы, когда она въ человѣческой крови плаваетъ? Одно блаженство!.. И двойтся, и четверится, ядомъ отравляетъ и въ ядѣ своемъ плодится! А прекрасное тѣло юнаго существа бьется въ послѣднихъ судорогахъ отъ какого-то подлаго менингита! Оно — «папа, мама... умираю... темно... гдѣ же вы?!» — а она, бацилла-то, ужъ въ сердцѣ, въ послѣднемъ очажкѣ мозга-сознанія канканъ раздѣлываетъ подъ «барыню»! На автомобиляхъ въ мозгу-то вывертывается! У бациллы тоже, можетъ быть, какіе-нибудь свои авто имѣются, съ поправочками, понятно... Я себѣ такія картины по ночамъ представляю... черепъ горитъ! И не воображалъ никогда, что въ голодѣ и тоскѣ смертной такія картины приходитъ могутъ. На миндаляхъ настоено! Нѣтъ, вы скажите, откуда они — такіе?!.. Бациллы человѣчьи! Гдѣ Пастеръ Великій? Гдѣ сильные, добрые, славные? Почему ушли?! Молчать... Нѣтъ, вы погодите, не уходите... Я вамъ послѣднее дерзаніе покажу... символъ заключительный..!

Докторъ бѣжитъ къ водоему, за сарайчикъ, гдѣ у него двѣ цистерны — для лѣта и для зимы. Таинственно манитъ пальцемъ.

— Всѣмъ извѣстно, что у меня особо собранная вода, — всегда прозрачная и холодная. И вотъ глядите! Вы поглядите!!

Онъ подымаетъ подбитую войлокомъ прикрывку люка и требуетъ, чтобы я нагнулся.

— Видите эту... гнусность?! Вы видите?!..

Я вижу плавающую «гнусность».

— Это мои сосѣди съ пункта, «барыню»-то которые... Одному я недавно нарывѣ на пальцѣ вскрывалъ. И вотъ, они о т р а в и л и мнѣ м о ю воду! Обезьяна нагадила, что съ обезьяны спрашивать? Дорожка показана «вождями» стада, которые всю жизнь отравили!..

— Ступайте, докторъ... нехорошо на вѣтру.

— Не могу т а м ѣ. Ночью еще могу, читаю при печуркѣ. А днемъ все хожу...

Онъ машетъ рукой. Мы не встрѣчались больше.

Т А М Ъ , В Н И З У

Вѣтеръ гонитъ меня мимо «Красной Горки». Здѣсь когда-то былъ пансіонъ, росли деревья, посаженные писателями россійскими! Вырублены деревья. Я вспоминаю Чехова... «Небо въ алмазахъ»! Какъ бы онъ, совѣсть чуткая, теперь жилъ?! Чѣмъ бы жилъ...?!

Иду мимо «Виллы Розъ». Все — пустыня. И городишка вымеръ. Вѣтеръ чисто подмелъ шоссе, всѣ подсолнушки вымелъ въ море. Гладко оно подъ береговымъ вѣтромъ, и только въ дальней дали чернѣетъ полоса шторма. Пустынной набережной иду, мимо пожараща, мимо витринъ, побитыхъ и заколоченныхъ. На нихъ клочья приказовъ, линючіе, трещать въ вѣтрѣ: разстрѣль... разстрѣль... безъ суда... на мѣстѣ!.. подъ страхомъ... трибунала... Ни души не видно. И ихъ не видно. Только у дома былой пограничной стражи нахохлившійся, со звѣздой красной, разставивъ замотанные ноги, пощелкиваетъ играючи заворомъ.

Я иду, иду. Гуляетъ-играетъ вѣтеръ, стучитъ доской гдѣ-то, въ телеграфныхъ столбахъ гудитъ. Пляжемъ пустымъ иду, пустыремъ, съ канурой-ротондой. Воетъ-визжитъ она пустотой, вѣтромъ. Я дѣлаю крюкъ, чтобы обойти домъ церковный, въ проволоку колючей, — тамъ подвалы. Держать еще въ себѣ быющее, живое. Тамъ, на свалкѣ, въ остаткахъ отъ «людоѣдовъ», роются дѣти и старухи, ищутъ колбасную кожицу, обгрызанную баранью кость, селедочную головку, картофельную ошурку...

На подъемъ я замѣчаю высокаго старика, въ башлыкѣ, обмотаннаго по плечи шалью, съ корзинкой и высокой палкой.

— Иванъ Михайлычъ!?!..

— Родной!.. го-лубчикъ... — слезливо окаетъ онъ, и плачутъ его умирающіе, все выплакавшіе глаза. — Крошечки собираю... Хлѣбушко въ татарской пекарнѣ рѣжутъ... крошечки падаютъ... вотъ, набралъ съ горсточку, съ кипяточкомъ попью... Чайкомъ бы согрѣться... Комодикомъ топлюсь, послѣднимъ комодикомъ... Ящики у меня есть, изъ-подъ Ломоносова... съ карточками-выписками... хорошихъ четыре ящика! Нельзя, матерьялы для исторіи языка... Послѣднюю книгу дописываю... планъ завершаю... Каждый день работаю съ зари, по четыре часа. Слабѣю... На кухоньку хожу совѣтскую, кухарки ругаются... супцу дадутъ когда, а хлѣбушка нѣтъ... Обѣщали учителя мучки... да у самихъ нѣтъ...

Мы стоимъ подъ вѣтромъ, на бѣломъ шоссе, одни... Вѣтеръ воетъ и между нами, въ дыркахъ.

— На родину бы, въ Вологодскую губернію... Тамъ у меня сестра... коровка у ней была... Молочка бы, кашки бы поѣлъ напослѣдокъ, съ маслицемъ коровьимъ, творожку бы... — съ дрожью, съ удушьемъ, шепчетъ онъ, укутываясь шалью отъ вѣтра. — Въ банькѣ бы попариться съ березовымъ вѣничкомъ... Запарши-вѣлъ, голубчикъ мой... три мѣсяца не мылся, обносился... заслабъ. Вѣтромъ вотъ сдуло, съ ногъ сбило... Въ Орлѣ у меня все отняли... библіотека была... домъ, капиталъ въ банкѣ, отъ моихъ книгъ все... Умру... Ломоносовъ пропадетъ! Всѣ матерьялы. Писалъ комиссарамъ... никому дѣла нѣтъ... А-адъ, голубчикъ! Лучше бы меня тогда матросики утопили...

И мы расходимся.

Я иду дальше, дальше... Никого въ умирающемъ городкѣ, — загло-забило вѣтромъ. Ёдетъ кто-то... Вижу я наряднаго ослика, въ красныхъ помпончи-

кахъ, въ ясныхъ бубенчикахъ. Онъ бѣжить-сѣменить, повиливая ушами, сытенькій, легко катить кабріолетикъ желтый, на резинахъ. Дама въ сѣромъ, въ кожаныхъ перчаткахъ, въ голубомъ капорѣ, править твердо. Нарядныя дамы ѣздятъ!.. Не все — пустыня! Не все разбитые корабли, баркасы, утлыя лодочки... — есть и милыя яхточки, пришвартовавшіяся умѣло у тихой бухты, — а тамъ... вывертывай песокъ, камни, шуми-швыряй! Дробно почокиваетъ осликъ...

А вотъ и татарскій дворъ, семнадцать разъ перекопанный, перевернутый наизнанку въ ночныхъ набѣгахъ. Серебро, золото и цвѣтные камни, обитыя серебромъ чеканнымъ — сѣдла, сбруя, дѣдовскія нагайки; пшеница и сѣно въ копнахъ, табакъ и мѣшки грецкаго орѣха; шелковыя подушки и необъятныя перины, крытыя добротными черкесскими коврами, персидскія шелковыя занавѣски, вышитыя серебряной арабеской и золотыми желудями, — зелено-золотое; чадры въ шашечкахъ и ажурѣ, пояса въ золотыхъ лирахъ, золото и бирюза въ подвѣскахъ; чеканная посуда изъ Дамаска, Багдада, Бахчисарая, кинжалы въ оправѣ изъ бирюзы и яшмы, и точеной кости, пузатые, тонкогорлые кувшины аравійской мѣди, тазы кавказскіе... — все, что берегъ-копиль богатый татарскій домъ, — ушло и ушло, разъ за разомъ въ заглатывающую прорву. Плыветъ куда-то — куда-то выплыветъ. Попадетъ и за море, найдетъ себѣ стѣнку, полку или окошко. Увидитъ и Москву, и Питеръ, — богатые апартаменты новаго хозяина-командира жизни, и туманный Лондонъ, и Парижъ, цѣнителе всего прекраснаго, и далекое Санъ-Франциско: разлетятся всюду блестящія перышки выпитпанной російской птицы! Вещи находятъ руки, а человѣкъ могилу. Теперь человѣкъ и могилы не находятъ.

Старый татаринъ только воротился изъ мечети. Сидитъ, желтый, съ ввалившимися глазами — горной птицы.

Сидимъ молча, долго.

— Зима говорила вѣтромъ: иду скоро! Плоха.

— Да, плохо.

— Умирають наши татары... Плоха.

— Да, плохо.

— Груша — нѣтъ. Табакъ — нѣтъ. Кукурузъ — нѣтъ. Орѣхъ — нѣтъ. Мука — нѣтъ. Плоха.

Плохо.

— Тыква кушалъ. Вотъ. Мука везъ сынъ Меметь. Пропалъ на горахъ два мѣшка муна. Плоха.

Да, совсѣмъ плохо. И я уйду съ пустымъ мѣшочкомъ.

Я дѣлаю великое восхожденіе на горы. Маленькія онѣ были, теперь — великія. Шагъ за шагомъ, отъ камня къ камню. Вѣтеръ назадъ сбиваетъ. Я выхожу на ялтинскую бѣлую дорогу. Бѣлое облачко крутится мнѣ навстрѣчу. Шумятъ машины. Одна, другая... Красное донышко папахи, красное донышко фуражки. О н и это. Пулеметъ смотритъ назадъ дуломъ. На подножкахъ — съ ноганами, съ бомбами... Они о т т у д а. Сдѣлали свое дѣло, рѣшили судьбу пріѣхавшихъ изъ Варны — двѣнадцати. Теперь поспѣшаютъ восвояси, съ вѣтромъ. На перевалъ имъ путь, черезъ грозный для нихъ гребень. И я узнаю длинные, по плечамъ, волосы воронова крыла, тонкое лицо, съ мечтательнымъ взглядомъ нѣги, — и другое, круглое, красное съ вѣтра, вина и солнца, сытостью налитое лицо. Оба сидятъ, откинувшись на подушки, неподвижно-важно: порученіе важное.

Долго гляжу имъ вслѣдъ. Слушаю, какъ кричить гудокъ въ пустотѣ.

К О Н Е Ц Ъ « Б У Б И К А »

Третій день рветъ ледянымъ вѣтромъ съ Чатырь-Дага, свиститъ бѣшено въ кипарисахъ. Тревога въ вѣтрѣ, — кругомъ тревога. Тревога и на Горкѣ: пропала у Марины Семеновны козель! Пропала ночью.

Съ зари бѣгаетъ старушка съ учительницей по балкамъ, по виноградникамъ и дорогамъ. По вѣтру доносить призывный крикъ:

— Бубикъ... Бубикъ... Бубикъ..!

Увели изъ сарайчика. Не помогла и засѣвка со звончками, и замокъ сигнальный: буря! услышишь развѣ! То ли матросы съ пункта, то ли самъ «Бубикъ» вырвался, — бури напугался? У матросовъ не доискаться: не сунешься. У Антонины Васильевны — на пшеничной котловинѣ — пропала телка. Дознала Антонина Васильевна: шкурка телкина у матросовъ на дворѣ сушилась, а не посмѣла: больше чего не досчитаешься...

Стоить учительница у изгороди:

— Украли «Бубика» нашего, всю надежду... Мама лежитъ, избѣгалась по балкамъ. Свой это человѣкъ, а то бы кричалъ козель. Мы спимъ чутко. Три раза сегодня вставали ночью въ бурю. Это, конечно, подь утро, онъ. Третью ночь не ночуетъ... сказалъ, что идетъ на степь, за какимъ-то все долгомъ. Ясно, отвелъ глаза. Теперь намъ гибель... Это не кража, а дѣтубійство!..

Горе на «Тихой Пристани». Вадикъ и Кольдикъ ищутъ вокругъ, кричатъ звонкими голосочками:

— Бу-бикъ! Милый Бубикъ! Судаль-Судаль..!

Вотъ ужъ и ночь черная. Бѣшенный вѣтеръ самыя звѣзды рветъ: вздрагиваютъ онѣ, трясутся въ черной бездонности. Выгладилъ вѣтеръ море — холоднымъ стекломъ лежить, а звѣзды дрожатъ и въ немъ. Давно всѣ замкнулись, дрожатъ на стуки, не знаютъ теперь, кто ломится. И доходить въ налетахъ вѣтра задохнувшійся крикъ-мольба:

— Бу... у... би... икъ... Бу... би!!! икъ!!!

Черною ночью стоимъ мы въ бурѣ, на пустырѣ. Звѣзды дрожатъ отъ вѣтра. Шуркаетъ въ чернотѣ, путается у ногъ, носится — возится безпокойное «перека-ти-поле», — таинственные звѣрюшки. Пропоротыя жестянки ожили: гремать-катаются въ темнотѣ, воютъ, свистятъ и гукаютъ, стучаются о камни. Стонетъ на ржавыхъ петляхъ болтающаяся дверца сарайчика, бухаетъ вѣтромъ въ калѣкъ-дачкѣ... громыаеъ желѣзномъ крыши, дергаетъ ставнями... Унылы, жутки мертвые крики жизни опустошенной — бурною ночью, на пустырѣ! Нехорошо ихъ слышать. Темныя силы въ душу они приводятъ — черную пустоту и смерть. Звѣри отъ нихъ тоскуютъ и начинаютъ кричать, а люди... Ихъ слышать страшно.

Когда же этотъ свистъ кончится! Воютъ, воютъ...

— А можетъ быть онъ ушелъ за шоссе... забрелъ отъ вѣтра? Стоить гдѣ-нибудь въ кустахъ...

— Сударь... Сударь... Бубикъ-Бубикъ!..

— Можетъ быть дверь самъ выбилъ, испугался бури?..

— Возможно... Онъ у васъ сильный, а петли... перержавѣли, истерлись... Вѣдь замокъ цѣлъ!

— Далъ бы Господь... забрелъ потише отъ вѣтра... пасется...

Дни пробѣгала по дорогамъ, по балкамъ и за шоссе Марина Семеновна. Нигдѣ ни клочочка шерсти, ни крови, ни кишочковъ. Пропалъ и пропалъ «Бубикъ» — «Сударь».

И пошелъ слухъ по округѣ и въ городкѣ: пропалъ

козель у Прибытковъ! А отецъ дьяконъ разсказывалъ на базарѣ:

— Было у меня предчувствіе странное въ тотъ часъ, какъ козломъ любовался! Не могло стать, чтобъ удѣлѣлъ тотъ козель... капиталъ при дорогѣ! Отъ Фи-ли-бера козель... роскошный! Такого козла съ собой на кровать класть надо... И до сего дня полна душа предчувствій тяжкихъ.

Не ошибся отецъ дьяконъ: въ тотъ же день пропала у него корова.

— Нагадала Марина Семеновна! Вотъ она, тайная связь событій! Въ семь міръ не такъ все просто.

Поискалъ и махнулъ рукой.

— Не преодолѣешь. Весной пойду на степь къ мужикамъ, съ семействомъ. Хоть за дьякона, хоть за всякаго! а берите. А не примутъ, — пойдемъ по Руси великой, во испытаніе. Ничего мнѣ не страшно: земля родная, народъ русскій. Есть и разбойники, а народъ ничего, хорошій. Ежели ему понравиться — съ нашимъ народомъ не пропадешь! Что жъ, — скажу, — братцы... всѣ мы жители на землѣ, отъ хлѣбушка да отъ Господа Бога... Ну, правда, я не простое какое лицо, а дьяконъ... а не превозношусь. Громокъ грянулъ — принимаю отъ Господа и промокъ. И всѣ-то мы, какъ дерево въ полѣ... еще обижать зачѣмъ же?

Такъ подбадривалъ себя отецъ дьяконъ, веселый духомъ: не боялся ни огня, ни меча, ни смерти. Дерево въ полѣ: Богъ вырастилъ — Богъ и вырветъ.

И вотъ, за вѣру и кротость, и за зеселость духа — получилъ онъ свою корову: нашли привязанную въ лѣсу. Заблудилась, а добрые люди привязали?..

— Господь привелъ! — кротко сказал дьяконъ.

А Маринѣ Семеновнѣ не привелъ Господь «Бу-бика». Не домогайся?

Утихла буря — и воротился дядя Андрей со степи. Цѣлый мѣшокъ принесъ. Намѣнялъ у мужиковъ и са-

ла, и ячменю, и требушки коровьей: отдали за поросенка долгъ.

Пришелъ къ ночи, усталый, и сѣлъ подъ грушей. Марина Семеновна уточекъ загоняла.

— Намайлся, Марина Семеновна... не дай же Боже! А по степу-то все костяки лежать... куда ни ступи — костяки и костяки. Кони, стало быть, повалились. Тутъ черепушка, а шодальъ нога съ подковой. А ужъ лю-ди... охъ, не дай же Боже, какъ жгутся! На переваль давеча трое съ винтовками остановили: — «Стой, хозяинъ! чего несешь»? Ну, видють — костюмъ на мнѣ майскій, въ мѣшочкѣ — ячменьку трошки, сальда шматочекъ... — «Мы, бачуть, такихъ не обижаемъ! Мы, бачуть, рангелевцы! Можете гулять вольно». — Въжливо такъ, за ручку... Съ холодовъ настрадался, — не дойду и не дойду...

Говорилъ онъ устало, вдумчиво. Лицо раздулось и пожелтѣло, — на десять лѣтъ состарился.

— Дядю Андрей... а что я вамъ молвить хочу... — сказала проникновенно, глядя ему въ глаза, Марина Семеновна.

— А чого вы, Марина Семеновна, молвить хотите?.. — будто даже и дрогнулъ дядя Андрей и мѣшокъ зашупаль, — примѣтила глазъ съ него не спускавшая учительница.

— А вотъ чого я вамъ хочу молвить... А у меня, тому ужъ пятая сутки будутъ... козла моего свели, «Бубика» нашего!..

— О-о... ли.. шечко!.. Да быть тому не можно!.. даже поднялся и затрясся даже дядя Андрей. — Да Боже жъ мій!? Да якій же це злодій узявся?! хлопчиковъ вашихъ губить! Це таке діло..! Да його шобъ громомъ побило... да шобъ його черви зъили!.. да шобъ винъ... Да чи вы правду бачите, Марина Семеновна?!

— Дядя Андрей... а что я вамъ еще сказать хочу... — голосомъ беззвучнымъ, не отпуская убѣгающихъ

глазъ дяди Андрея, продолжала Марина Семеновна.
— Да я жъ загадываю: якій тотъ злодѣй... Да вы жъ!!

— Я?!!... Шобъ я... Да побій меня Боже!! Да я жъ на степу усю недѣлю крутився... голоднѣй да холоднѣй!!... Да ужли жъ я тѣй злодѣй, шо... Да вы вѣ Бога віруете, Марина Семеновна?!

Тутъ снялъ дядя Андрей мягкую шляпу, исправничью, что на чердакѣ пріобрѣлъ, и закрестился.

— Шобъ менѣ... ну, шобъ здохнуть, якъ собака... безъ поца-покаянія... шобъ и на семъ и на тѣмъ свѣтѣ... шобъ мои очи повилазили... шобъ менѣ черви зѣлы..!

— Здохнете, дядю Андрей... попомните мое слово! Я на васъ слово знаю! Будуть васъ черви ѣсть! Какъ вы моего козлика съѣли, такъ и... Подавитесь вы моимъ козломъ!.. Помните!.. Саломъ подавитесь!

Пошевелилъ плечами дядя Андрей.

— Бѣднаго человѣка обижаєте, Марина Семеновна...

— Въ глаза мои почему не глядите?! А-а... Сало отъ моего козла вѣ глоткѣ у васъ стало? Задушить оно васъ, дядя Андрей! Вотъ пусть мои внуки помрутъ лихой смертю!.. — закричала она истошнымъ голосомъ, — младенцы Господни, сиротки... правды пусть на землѣ не будетъ, если не сдохнете съ моего козла! На моихъ глазахъ черви васъ глодать будутъ! Чуо!! Скоро, какъ снѣгъ вотъ будетъ..!

Тѣнью пошло лицо дяди Андрея. Повелъ онъ запавшими, помутнѣвшими глазами и сказалъ хрипло къ саду:

— Черви усякого человѣка глодать будутъ, Марина Семеновна. Это ужъ я вамъ казалъ! Мало меня, стараго, обижали? Коровы меня рѣшили, поросенка за полцѣны отдалъ... на войнѣ вошь злая меня точила... — ништо! Но вы меня избидѣли..! Конечно, вы господскаго званія... а мы люди рабочіе, какъ сказать... черной крови... Зато жъ васъ и искоренять на-

до! Только вы женского полу, а то бы я вамъ голову отмоталъ!..

— Да я тебя... гадюка полосучая, сама мотыжкой побью, какъ пса! Я чтобъ тебя боялась?! Каина?! Я жъ тебя наскрозь вижу! Я трудящийся человѣкъ... за свое кровное душу изъ тебя вытащу! Лучше и не проходи мимо... своими руками... Ступай, ступай... не могу на тебя смотрѣть, на душегуба..!

Много страшнаго накричала Марина Семеновна въ тихомъ ночномъ саду. Смотрѣли-слушали позабытыя дѣтишки, расширенными глазами.

— На васъ будетъ! — только и сказалъ дядя Андрей и побрелъ въ свой флигель, полковничій.

— Онъ! Онъ, злодѣй!! Вотъ не встать мнѣ завтра, безъ покаянія помереть, если не онъ моего козла свель! Всѣ дни съ татаринкомъ крутился въ кустахъ, на горкѣ.

— Да онъ же на степь ходилъ...

— Да я жъ карты раскидывала на душу его черную! И три разочка, какъ въ водѣ видѣла! Подъ Корбекомъ онъ крутился, а вчера его на базарѣ видали, въ кофейнѣ! Боюсь я его? Что ночью придетъ-задушить?! До послѣдней кровинки за свое буду биться! Они, проклятые, только до первой палки глотку дерутъ, а какъ показали палку, — всѣ хвостъ поджали! Помудровали... Хлебаютъ теперь! И пусть, такъ имъ и надо!

Пропалъ и пропалъ козелъ. А тамъ и два селезня пропали. Пришелъ дядя Андрей и сказалъ съ укоромъ:

— Скажите теперь, что и селезней вашихъ съѣлъ. Ну, скажите! Головку вотъ въ балочкѣ нашель, и пу-ху тамъ!.. Вѣдь какъ пробилъ-то проклятый... весь мозгъ выклевалъ!..

Схватилаcь Марина Семеновна за сердце и три дня лежала, какъ при смерти. Приходилъ старичокъ-докторъ, что на самомъ тычкѣ живетъ, сказалъ — сла-

бость сердца. За визитъ съѣлъ коржикъ и пареную грушку.

Пропалъ и пропалъ козель. Что — козель, когда люди походя пропадаютъ! Убили доктора и жену на Судакской дорогѣ, — золота добивались. Учителя и жену закололи кинжалами, — подъ Корбекомъ. И еще — топоромъ зарубили — подъ городкомъ... И еще... и еще...

Ж И В А Д У Ш А !

А вотъ ужъ и черный Бабуганъ — закурился, замутился, укрылся сѣткой. И нѣтъ его. Полили дожди ноября, сырого мутнаго «джиль-хабэ», когда бѣлки уходятъ въ норы. Размякли, ползутъ дороги, почернѣли выцвѣтшіе холмы... Будетъ тепло — порадуетъ земля травкой.

Радуется «Тамарка». Съ утра и до ночи ходить, ходить... размякшія вѣтки гложетъ, чуть теплится, вся въ буграхъ. Всюду ея копытца, налитыя водой, всюду — выгрызъ въ корѣ, на грабѣ. Ходитъ одна — живая.

Сиди дома, возлѣ печурки. Сиди — подкладывай. Сиди и сиди — до свѣта. А далеко до свѣта. Смотри въ огонь: въ огнѣ бываютъ видѣнія. И слушай, что дождь говоритъ по крышѣ: говоритъ, говоритъ-бормочетъ — и все одно: пустота, темно-та... та-та... Позваниваетъ струя въ пустомъ водоемѣ подъ мазанкой. И голодъ мучить усталъ, — уснулъ. И вотъ — вспыхнетъ въ печуркѣ, и мысль проснется: а что же утро?... Не надо, не надо думать... Не надо? А если въ ворохѣ этихъ сучьевъ все еще шевелятся порубленные мысли? Надо закрыть глаза и совать въ огонь, все — въ огонь. Это кусокъ «змѣи» изъ т о й балки... — въ огонь! Если бы хоть табакъ... задурить себя, докуриться до сладкихъ сновъ...

Сидишь у огня и слушаешь: все одно — пустота, темнота... та... та... Застучали ворота... Вѣтеръ? Прислушаешься. Все тихо. Бормочетъ дождь.

А который бы часъ теперь?... Темнѣть съ шести... Десятый?..

И вотъ, ужъ не вѣтромъ это. Увѣренный стукъ въ ворота. О н и. Калитка коломъ подперта... И сами могутъ. Ну, что же! не все ли равно т е п е р ь?... Пусть — о н и. Сразу если... готовы! Ворвутся, съ матерной руганью... будутъ тыкать въ лицо желѣзомъ... огня потребуютъ... а ни лампы, ни спичекъ нѣтъ... Стыдно, руки будутъ дрожать... Будутъ расшвыривать наши тряпки... А силы нѣтъ...

Стукъ упорнѣй. Не могутъ отворить сами?..

— Вотъ — конецъ... — говорю я себѣ. — сразу в с е кончится.

Я твердо беру топоръ, иззубренный топоришко, шаткѣй. Твердо выхожу на веранду... Откуда сила?! Я весь — пружина. Я знаю, что буду дѣлать. Собака боится палки! Я открываю дверь въ садъ... чернота. И шорохъ: дождикъ чуть сѣется.

— Кто тамъ..?

— Къ тебѣ, козый!.. аг-пирай!

Татаринъ?! Зачѣмъ... татаринъ?

— Абайдулинъ я... отъ кладбища... отъ хорошаго человѣка!

Знакомое имя называется. Я отнимаю колъ. Широкой татаринъ въ шапкѣ...

— Теперь всеѣмъ страшно. Крутился въ балкѣ... черный ночь, коли глазъ... Селям алекюм...

Съ неба вѣстникъ! Старый татаринъ прислалъ съ корзинкой. Яблоки, грушка-сушка... мука?! и бутылка бекмеса!.. За рубаху... Старый татаринъ прислалъ подарокъ. Не долгъ это, а подарокъ.

— Тебѣ прислалъ. Иди ночью... велѣла. Тамъ видѣть, тутъ видѣть, — некорошо... убьютъ. Иди ночью, лутче. А-а-а... — крутитъ головой татаринъ. — Смерть пришелъ... всей землѣ.

Табакъ! въ сѣрой бумагѣ, золотистый табакъ, душистый, біюкъ-ламбатскій!

Нѣтъ, не это. Не табакъ, не мука, не грушки... — Небо! Небо пришло изъ тьмы! Небо, о, Господи!.. Старый татаринъ послалъ... татаринъ...

У печурки сидитъ татаринъ. Татаринъ — старый. Постолы его мокры, въ глинь... и закрутки мокры. Сидитъ — дымится. Баранья шапка въ бисеръ стъ дождя. Трудовое лицо сурово, строго, но... ч е л о в ѣ ч е с к о е въ глазахъ его. Я беру его за мокрыя плечи и пожимаю. Ушли слова. Они ненужны, слова. Дикарь, татаринъ? Великъ Аллахъ! Жива человѣческая душа! жива!!

Онъ свертываетъ курить. Курить, поплевываетъ въ огонь. Сидимъ, молчимъ. Онъ умѣло подсовываетъ сучья, сидитъ на-корточкахъ.

— Скажи Гафару... старому Гафару... Скажи, Абайдулинъ... старому татарину Гафару... Аллахъ!

— Аллахъ... — говоритъ въ огонь сумрачное коричневое лицо. — У тебя Аллахъ свой... у насъ Аллахъ мой... Все — Аллахъ!

— Скажи, Абайдулинъ... старому Гафару... скажи...

Онъ докуриваетъ курчонку. Курю и я. Неслышно дождя по крышѣ. Горятъ въ печуркѣ сухіе сучья изъ Глубокой Балки — куски солнца. Смотритъ въ огонь старый Абайдулинъ, и я смотрю. Смотримъ, двое — одно, на солнце. И съ нами Богъ.

— Пора, — говоритъ Абайдулинъ. — Черный ночь.

Я провожаю его за ворота. Его сразу глотаетъ ночь. Слушаю, какъ чмокаютъ его ноги.

Теперь ничего не страшно. Теперь и хъ нѣтъ. Знаю я: съ нами Богъ! Хоть на одинъ мигъ съ нами. Изъ темнаго угла смотреть, изъ маленькихъ глазъ татарина. Татаринъ привелъ Ег'о! Это Онъ велитъ дождю сѣять, огню — горѣть. Вниди и въ меня, Господи! Вниди въ насъ, Господи, въ великое горе

наше, и освѣти! Ты солнце вложилъ въ сучокъ, и его отдаешь солнцу... Ты все можешь! Не уходи отъ насъ, Господи, останься. Въ дождѣ и въ ночи пришелъ Ты съ татаринѣмъ, по грязи... Пребуди съ нами до солнца!

Тянется свѣтлая ночь у печки. Горятъ жарко дубовые «кутюки». Будутъ горѣть до утра.

ЗЕМЛЯ СТОНЕТЬ

Я никакъ не могу уснуть. Коснулся души Господь — и убогія стѣны тѣсны. Я хочу быть подѣ небомъ, — пусть не видно его за тучами. Ближе къ Нему хочу... чувствовать въ вѣтрѣ Его дыханіе, во тьмѣ — Его свѣтъ увидѣть.

Черная ночь какая! Дождь пересталъ, тишина глухая; но не крѣпкая, покойная тишина, какъ въ темныя ночи лѣтомъ, а тревожная, въ ожиданіи... — вотъ-вотъ случится!.. Но что же случиться можетъ?.. Я знаю, что послѣ дождя можетъ сорваться вѣтеръ, сорвется вдругъ. А сейчасъ даже слышно капанье одиночныхъ капель, и съ глубокаго низу доплескиваетъ волною море, будто дышитъ. Слышу даже, какъ чешется у Вербы собака.

Я тихо иду по саду, выглядываю звѣзды, вотъ-вотъ увижу, — чувствуются онѣ за облаками. Пахнетъ сырой землей, горною мглою пахнетъ: сорвется вѣтеръ, чуетъ тугой воздухъ. Свѣжая хвоя кедра осыпаетъ лицо дождемъ... Я затаиваю шаги... болью хватается меня за сердце... Вотъ онъ, жуткій, протяжный стонъ... тянется изъ далекой балки. И снова — тихо. И снова — тяжкій, глубокій вздохъ... — кто-то изнемогаетъ въ великой мукѣ. Удушаемый вопль покинутого всѣми...

Я знаю его, этотъ тяжкій, щемящій стонъ. Я слышалъ его недавно. Онъ взываетъ изъ-подъ земли, зоветъ глухо...

О немъ всѣ говорятъ въ округѣ:

— А по ночамъ-то теперь, въ балкахъ къ морю...

застонетъ застонетъ такъ — у у у... у-х-х-х-х... А потомъ тяжело-о такъ, вздохнетъ — аааа... а! Сердце захолонетъ, будто! Вродѣ, какъ земля стонетъ. Недобитые это стонуть, могилки просять... Охъ, нехорошо это!..

Я прислушиваюсь въ глухой ночи. Тяжко идетъ изъ балокъ:

...уууу... у...

Нѣтъ ему выхода, — потянется и уходитъ въ землю. И еще, еще...

...аааа... а... — замирающій вздохъ муки...

Мертвой тоскою сжимаетъ сердце. Не они ли это, брошенные въ овраги, съ пробитою головою, грудью... оголенные человѣческія тѣла?.. Всюду они, лишенные погребенія...

Умомъ я знаю: это кричитъ тюлень, черноморскій тюлень, — «бѣлуха». Знаютъ его немногіе рыбаки — выводится. И не любятъ слышать. Онъ подымаетъ круглую голову изъ моря, глухою ночью, кладетъ на камень и стонетъ-стонетъ... Не любятъ его — боятся — черноморскіе рыбаки, и «рыба его боится».

Умомъ я знаю... А сердцемъ... — тяжело его слышать человѣку.

Я долго слушаю, затаившись, и мукой кричитъ во мнѣ. А вотъ и сорвался вѣтеръ, ударилъ съ горъ. Зашумѣли, закланялись, закачались кипарисы, затрепали верхушками, — видно на звѣздномъ небѣ. Продуло тучи. Будетъ теперь дуть-рвать круглыя сутки. Не кончить въ сутки — ровно три дня дуть будетъ. А къ третьему дню не кончить — на девять дней зарядить. Знаютъ его татары.

Слышно черезъ порывы, какъ бьютъ въ городкѣ часы. Не остановились?.. Нѣтъ въ городкѣ часовъ: это церковный сторожъ. Последнее время выбиваетъ рѣдко. Что ему пришло въ голову? Одиннадцать?.. А можетъ быть и отнесло вѣтромъ. Полночь?

Я смотрю въ сторону городка. Ни искры, ни

огонька, провалъ черный. А что такое у моря, выше?.. Пожаръ?! Черно-розовый столбъ поднялся..! Пожаръ!.. Или обманываетъ темнота ночи, и это ближе, а не на пристани... Не у столяра ли Одарюка, на мазеровской дачѣ... костеръ въ саду?.. Шире и выше столбъ, языки пламени и черные клубы дыма! Пожаръ, пожаръ! Вышка на «Красной Горкѣ» освѣщена, круглое окошко видно! Черная сѣть миндальныхъ садовъ сквозить, выскочилъ кипарисъ изъ тьмы, красной свѣчей качается... полыхаетъ. Въ миндальныхъ садахъ пожаръ?.. Черная крыша Одарюка вырѣзалась на пламени.

Я бѣгу за ворота, на маленькую площадку, гдѣ кустики. Подъ моими ногами — даль. Ближніе дома городка свѣтятся розовымъ, и розовая свѣча-минаретъ надъ ними, съ ними... Въ морѣ широкій отсвѣтъ костра-пожара. Даже пристань выглянула изъ тьмы! Миндальные сады — какъ днемъ, сучья видны и огненные верхушки. Срываетъ пламя, швыряетъ въ море. Разбушевался тамъ вѣтеръ.

— Пожаръ-то какой, Господи!.. Дахнова дача горить!..

Голоса сзади, изъ темноты, — сосѣди. Яшка ковромъ накрылся. Няня, въ лоскутномъ одѣялѣ. Съ вербиной горки доносить:

— Матросы горять... ей-Богу!.. пунктъ ихній! Нѣтъ, Дахнова!

Полянка, гдѣ мы стоимъ, вся розовая, отъ зарева. — Ба-тюшки... — вскрикиваетъ няня. — Да это же Михайла Васильичъ горить!.. Онъ... онъ!.. Новая его дачка, изъ лучинокъ-то стряпалъ! По старому его дому вижу... глядите, домъ-то!..

Конечно. Горитъ докторъ, — за его старымъ домомъ.

Утихаетъ. Кончилась, сгорѣла! Много ли ей надо, изъ лучинокъ?

Должно быть, рухнула крыша: полыхнуло взрывомъ, и стало тускло.

— Сбѣгай, Яша... узнай! — просить няня.

— Ня-ня... — слышится болѣзненный голосъ ба-
рыни. — Гдѣ горить?

— Да сараюшка на берегу... Спите съ Богомъ.
Ужъ и погасло.

— Иди, няня... дѣтей-то перепугали...

Миндальныхъ садовъ не видно. За ними отсвѣтъ.
Я стою на крыльцѣ, жду чего-то. Я знаю. Неза-
чѣмъ мнѣ идти. Сгорѣла дача стараго доктора... Я же
знаю. А можетъ быть только дача... Докторъ
переберется въ свой старый домъ... Мнѣ уже все
равно, все — пусто.

Вызвѣздило отъ вѣтра. Млечный Путь передви-
нулся на Кастель — часъ ночи. А я все жду...

Шаги, тяжело дышать кто-то, спѣшить... Это —
Яша.

— Ну..?

— Капуть! Сгорѣлъ докторъ! И народу никого
нѣтъ... Матросъ тамъ одинъ, гоняетъ... которые на-
бѣжали... Никто ничего не знаетъ... и Михалъ Васи-
лича не видать... Говорятъ, сгорѣлъ, будто... въ пять
минуть все! А онъ еще накрѣпко припирался... колья-
ми изнутри... Матросъ говоритъ... снутри горѣло. У
нихъ съ пункта видно... Обязательно, говоритъ, сго-
рѣть долженъ... Хозяинъ обязанъ у своего пожара хо-
дить, а его не видали... всѣ говорятъ! А можетъ куда
забился?.. Все печь по ночамъ топилъ! А ужъ тутъ-то
у него... нехватаетъ. Ну, спать пойду. Слышите...
опять онъ стонетъ?.. Настоналъ доктору-то...

Да, стонетъ... или это вѣтеръ жестянками... Сго-
рѣлъ докторъ. Ушелъ въ огнѣ. Самъ себя сжегъ...
или, быть можетъ, несчастный случай?.. Теперь не
страшно. Докторъ сгорѣлъ, какъ сучокъ въ печуркѣ.

К О Н Е Ц Ъ Д О К Т О Р А

Я не хочу туда. Тамъ теперь только скореженное желѣзо, остоны кипарисовъ, черныя головы. И витаетъ, какъ безпріютная птица, безпокойный духъ бывшаго доктора. А уцѣлѣвшая оболочка — черепушка, осколокъ берцовой кости и пружинки спеціального бандажа, отъ Швабэ, — въ картонкѣ отъ дамской шляпы, лежать въ милиціи, и ротастые парни ощупываютъ обгорѣвшій черепъ, просовываютъ въ глазницы пальцы.

— Вотъ такъ... штука!

Сгорѣлъ докторъ въ пышномъ кострѣ своемъ, унеслась его душа въ вихрь.

Его коллега прибылъ на сытомъ осликѣ, въ бубенцахъ, повертѣлъ горѣлую черепную кость — развѣ на ней написано! — и сказалъ вдумчиво:

— Установить личность затрудняюсь.

Кто бы это могъ быть — въ кострѣ?!

Повертѣлъ крючки и пружинки отъ бандажа, сказалъ увѣренно:

— Теперь для меня совершенно ясно. Хозяинъ этого бандажа — докторъ медицины, Михаилъ Васильевичъ Игнатьевъ. Это его спеціальнй бандажъ, собственнаго его рисунка, отъ Швабэ. Можете писать протоколъ, товарищъ.

Пишите тысячи протоколовъ! Вертите, ротастые, черепушку... швырните ее куда!.. Нѣтъ у нея хозяина: вамъ оставилъ.

Няня установилась съ мѣшкомъ «кутюковъ», докладываетъ:

— Михайла Василичъ-то нашъ... сго-рѣлъ! Черепочекъ одинъ остался, да какой махонечкій! А глядѣть — головка-то у нихъ была кру-упная... Капиталы у нихъ большіе, сказываютъ... на себѣ носили... Припирался очень на ночь, боялся. А ночь, буря... удушили да пожаромъ-то и покрыли! Говорить-то нельзя, не знавши. Отмаялся, теперь нашъ чередъ. Да ужъ не вашу ли курочку я видала... на бугорочкѣ, ястребъ дереть? Да это еще давеча было, какъ въ городъ шла. Кричу-кричу — шш, окаянный! Не боится... облюгѣли, проклятые. Всѣмъ скоро...

Новое утро, крѣпкое. Ночью вода замерзла, и на Кушъ-Каѣ и на Бабуганѣ — снѣгъ. Сверкаетъ, колеть. Зима раскатываетъ свои полотна. А здѣсь, подъ горами, солнечно по сквознымъ садамъ, по пустымъ виноградникамъ, бурозелено по холмамъ. Днями звенятъ синицы, носятся въ пустотѣ холодной, тоскливые птицы осени. На крѣпкомъ и тонкомъ воздухѣ, въ голотѣ, четки звуки и голоса.

Что за горячая работа!? Стучать топорами въ сторонѣ миндальныхъ садовъ. Весело такъ стучать... Словно бывые плотники объявились, обтесываютъ бревна, постукиваютъ топорами. И по желѣзу кровельщики гремятъ, споро-споро... Кому это крышу кроютъ? Давно не слыхали такой работы.

Идетъ изъ-подъ горы няня, дощонку тянетъ.

— Гдѣ это плотники заработали? кому строить?

— Стро-ютъ!.. По Михалъ Василичу поминки правятъ, старый домъ растаскиваютъ другой день. Волокутъ, кто — что. Господи, твоя воля!.. Всю желѣзу начисто ободрали, балки какія выворачиваютъ... ужъ и лѣсъ! А желѣзо-то плотное, двѣнадцатифунтовое... Ишь какъ..!

Да, лихо кипить работа.

— Вотъ ужъ хозяинъ-то былъ... на-вѣкъ строилъ! А растащили за день. Какъ такъ, кто? А народъ... и рыбаки, и... кто взялся. Прямо, волокомъ волокутъ.

И милиція, и помощникъ комисара... Мальчущья набѣжало... жи-вы! Кричу одному, — ты что, паршивый чртенокъ, чужое добро волочишь?! — «Теперь, говоритъ, дозволено, всенародно! Мой папанька вотъ наработалъ, а я оттаскиваю». — Вонъ что! — «И ты, говоритъ, тетенька, отдирай, чего осилишь! Всѣмъ можно!..» — Возьми вотъ ихъ! А что-жъ, подумаешь-то... помирать... Хоть потопиться! Съ голоду-то за сучьями по балкамъ лазить...

Поминки правятъ... Я смотрю на свой домикъ. Последній уголь! Последняя ласка взгляда была на немъ... Черезъ узенькія окна солнце вбѣгало радостными лучами, играло въ родныхъ глазахъ. Оно и теперь вбѣгаетъ, все на тѣ же мѣста кидаетъ свои полосы и пятна, — на трескающіяся стѣны, на половицы, исчерченные шагами, на маленькій бѣлый столикъ, въ чернильныхъ пятнахъ и росчеркахъ... Крохотная веранда, опутанная глициніями, оголившись къ зимѣ... Когда-то воздушныя кисти ихъ весело голубѣли въ живыхъ глазахъ. Заплаканныя стекла давно немытыя... Уйдемъ... и завтра же выбьютъ стекла, развалятъ стѣны, раскроютъ крышу, поволокутъ, потащутъ... съ довольнымъ гоголомъ мертвецовъ. Упадутъ кедры, кипарисы и миндали, и кучи мусору поползутъ мутными струйками въ ливняхъ...

Глядитъ домикъ: уйдешь?.. Глядитъ сиротливо, грустно: уйдешь.

Я осматриваюсь, ищу опоры. Стиснуть зубы и умереть?.. Даться покорно смерти... Умираютъ безмолвные. Какія, куда — дороги?..

Держитъ дикарь въ шлыкѣ обгорѣлую черепашку, пальцы суетъ въ глазницы... пощелкаетъ... — былъ какой-то! На перевалѣ снѣга, пустыя дороги въ морѣ... пустыя — за горами. И дальше — снѣга, снѣга... Ну, какія, куда — дороги?!..

К О Н Е Ц Ъ « Т А М А Р К И »

Пошли бури и ливни. На горахъ зимней грозой гремѣло. Потоки шумять по балкамъ, рыкають по камнямъ. Вѣтры носятся по садамъ, разметываютъ плетни, кипарисовыя метелки треплють. И море запромыхало штормами.

Стѣны мазанки дрожать отъ бури. Ночью глухо гремитъ по крышѣ, будто возятся въ сапогахъ желѣзныхъ, бухають кулаками въ ставни. Треснувшая печурка совсѣмъ задушила дымомъ. Отсырѣвшіе сучья тлѣють, не вспыхивають въ огнѣ видѣнія.

Наши тихія курочки дремлють голоднымъ сномъ, возятся на насѣстѣ. Онѣ ослабли. Упадетъ какая, и долго за стѣнкой слышно, какъ она трепыхается въ темнотѣ, ищетъ себѣ — согрѣться. Приткнется — и такъ досидитъ до утра. Ихъ три осталось. Онѣ, одна за другой, уходятъ и уводятъ съ собою прошлое. Теперь онѣ жмутся къ дому. Стоять и глядятъ въ глаза.

Долгія ночи приводятъ больные дни. Да бываютъ ли д н и теперь? Солнце еще на небѣ, и дни приходятъ. Оно подымается изъ-за моря, въ тучѣ. Выглядеть, поиграетъ холодной жестью, — пустить полосу по морю. Съ тревогой глядятъ на море ослабѣвшіе рыбаки, не нагонитъ ли вѣтромъ скумбріи ли — камсы ли... Какая теперь камса! И дельфины не плещутся, не ворочаются черныя зубчатые колеса. А что дельфины?! Ихъ изъ ружья бить надо! а гдѣ ружье?.. Только матросы могутъ. А имъ не нужно: у нихъ — бараны.

Запали у рыбаковъ глаза. до земли зачернѣли лица.

Шумить рыбацья артель у городского дома — «Ялы-Бахча», требуетъ товарища — свою власть.

— Дѣтей кормите!.. Давайте хлѣба!..

Съ ногономъ въ оттопырившемся карманѣ, товарищъ кричитъ командно:

— Товарищи рыбаки... не дѣлать паники!..

Ему отвѣчаютъ гуломъ:

— Довольно!.. Отдай за ры-бу!..

Онъ тоже кричатъ умѣетъ!

— Все въ свое время будетъ! Славные рыбаки!

Вы съ честью держали дисциплину пролетаріата... держите кр-рѣпко!.. Призываю на митингъ... ударная задача!.. помочь нашимъ героямъ Донбаса!..

Ему отвѣчаютъ воемъ:

— Скидай имъ свою шапку!.. Отдай наше... за рыбу!..

Кричи, сколько силы въ глоткѣ! Гони ребятъ за городъ на бойни: тамъ толстомордый матросъ-рѣзака швырнетъ зеленую отонку или дозволить напиться крови, а подобрѣетъ — можетъ налить и въ кружку.

Сѣрѣетъ утро, мелкимъ дождемъ плачетъ. Ворота забухли, не стучать отъ вѣтра.

Стучать ворота! Кому, что надо?..

— Эй, что надо?!..

Дѣтскій голосъ кричитъ тревожно:

— У васъ... нашей «Тамарки» нѣту?.. Съ вечера ищемъ, свели «Тамарку»!..

Красавица-семменталка, бѣлая, въ рыжихъ пятнахъ... теплилась — догорѣла.

Вербененокъ плачетъ:

— Покойная мамаша выходила «Тамарку»... Молока давала... цѣльную бутылку-у...

Она еще — молока давала?! Свои соки!.. Выли-зывала изъ камня.

Всю ночь всей семьею искали они по балкамъ, по лѣснымъ чащамъ.

— И «Цыганочку» увели, у Лизаветъ... Теперь все дознаемъ, теперь ужъ матросъ возьмется!..

— Изъ-подъ самихъ матросовъ корову увели! — кричать съ горки.

Бѣжить растрепанная черная Лизавета, руками плещетъ:

— Ночью свели мою коровку... десять кувшиновъ давала..! Какъ корми-ли..

— У матро-совъ да плохо!.. Грабленнымъ вы кормили! — кричитъ Корякъ. — У нихъ въ борщу шукать надо! а ты сюда закатилась...

— Да, вѣдь, зять, вѣдь!.. Свели-то изъ подъ часового!..

Собираются на Горкъ люди. Жметъ на холоду учительница Прибытко, покачивающая головою няня, старая барыня, накинущая на плечи коврикъ, Корякъ, заявившійся по тревогѣ изъ нижней балки, нянькинъ сынъ старшій, вымѣнивающій вино на пшеничку, въ ночь прѣхавшій съ контрабанды, и высокий, худой Верба, винопѣлъ, съ повислыми усами. У всѣхъ лица — мертвецовъ ходячихъ.

Лизавета кричитъ источно:

— Онъ, Андрюшка-злодѣй! Сейчасъ дознаемъ... Онъ! онъ!..

— Его три дня не видимъ... ушелъ на степь, какъ обычно... — сообщаетъ учительница.

— Винъ самый убійца! — кричитъ Верба. — Такихъ прямо... поубивать надо, якъ собакъ! Вашего козла скушалъ, моихъ гусей сожралъ, вашихъ селезневъ сожралъ... мою «Тамарку» сожралъ!.. Прямо... поубивать къ чортовой матери..!

— Погодите... поубивать! Вы вотъ тридцать годовъ коровъ имѣете, допрежде коровъ сводили, а?! А почему теперь..?! Поубивать! Людей убиваютъ — не жалѣютъ!

— Не скажите громко!..

— Онъ, злодѣй! онъ!! ихъ шайка... Саня нашъ

сейчасъ поведеть дѣло... Ужъ кривого Андрея арестоваль, съ нижняго виноградника... Видали, какъ съ Гришкой Одарюкомъ всѣ дни шуптались...

— Всѣхъ ихъ прямо... поубивать надо!

— Вонъ, идетъ Саня!..

Съ винтовкой на плечѣ, съ ногономъ въ кулакѣ, подходитъ широкоскулый крѣпышъ-матросъ Санька. За нимъ дѣвчонка Гашка, въ бѣлыхъ открытыхъ туфляхъ, измазанныхъ грязью, въ зеленой шелковой юбкѣ и въ плюшевой голубой кофтѣ — сакѣ. Нянька знаетъ: у Дахновой была такая кофта. Убѣжала дачевладѣлица Дахнова въ Константинополь, нашарилъ матросъ «излишки», — теперь молодая матроска щеголяетъ.

— Двоихъ сволочей заарестоваль! — кричить матросъ еще издали, потрясая ногономъ. — Все раскопаю, до требухи... а вашу корову найду, мамаша! Изъ-подъ самага моего глазу увели!.. Свои!

Онъ широкъ, какъ овсяный куль, красная шея холоду не боится — голая до плеча, въ воловьихъ жилахъ, огнемъ горить. Отъ лица жаромъ пышитъ. Сѣрые глаза сверлятъ.

— Бить буду прямо въ голову... вотъ этимъ! а ужъ языкъ достану! Мамаша, не сотрясайтесь криками, какъ баба! Корова у васъ будетъ! достанемъ для васъ корову! Ну, кто что доказать можетъ? Гдѣ онъ живетъ, сволочь?..

— Прямо всѣхъ полевымъ судомъ, Саничка! — кричить Гашка. — Это буржуи развратили... кончать всѣхъ безмилосердно!..

— Писано имъ, и еще будетъ! Въ шомпола возьму всѣхъ подозрительныхъ... ванную имъ устрою! Ежели ты пролетарій... какъ ты можешь чужихъ коровъ воровать? Пролетарій... какъ святой есть! ежели они изъ труда, коровы?!.. Ведите, которые знаютъ...

— Дай, Санекъ, телеграмму Мишкѣ, пусть намъ автомобиль пришлетъ! — кричить Гашка, на рукѣ у

матроса виснеть. — Будемъ на автонобили искать коровку... телефонируй, право....

— Перво дай... дѣло официально дознать... Лишніе уходи!

Толпой идутъ на «Тихую Пристань», ломаютъ замокъ на флигелѣ. Находятъ гусиныя крылья, косточку съ синеватой шерстью...

— Бу-бикъ!.. Бубикъ!!.. — кричитъ Марина Семёновна. — Какъ я зна-ла!..

Шумить Горка, три дня шумить. Сидятъ въ подвалѣ короворѣзы: старый Андрей Кривой, согнувшійся съ голоду Одарюкъ. Шушукуются на Горкѣ: в а н н у ю прописали короворѣзамъ — не сознаются! И шамполами лѣчили, и не кормятъ, не сознаются.

Шумить Горка: нашли у Григорія Одарюка подъ поломъ коровью требушину и сало. Взяли. Померъ у Одарюка мальчикъ, промучился — требушиной объѣлся, будто. Кожу коровью нашёлъ матросъ, въ землѣ зарыта была. Призналъ кожу Верба: ««тамаркина».

ХЛѢБЪ СЪ КРОВЬЮ

Быстрѣй развертывается клубокъ, — и сыплется изъ него день ото дня чернѣе. Видно, конецъ подходить. Ни страха, ни жути нѣтъ, — каменное зрѣніе. Устало сердце, страхъ со слезами вытекъ, а жуть — забита.

Но бываютъ мгновенія, когда холодѣетъ сердце...

Дождь ли, вѣтеръ, — я хожу и хожу по саду, за х а ж и в а ю думы. Сошвыриваю съ дорожекъ и складываю въ кучу камни — прибираюсь. Приставлю къ воротамъ колъ — защиту! Оставшаяся привычка...

Кто-то царапается въ ворота, какъ мышь скребется.

— Кто тамъ..?

— Я... — запуганный дѣтскій голосъ. — Анюта... дочка...

Опять она, маленькая Анюта, добытчица! Нѣтъ больше у ней дороги. Ко мнѣ!

— Ну, иди...

Я уже все знаю.

Она неслышно, тѣнью, идетъ по саду, закрываетъ лицо ладошками. Отъ горя, которое она т а к ъ познала?

— Папашу... взя... ли... Гришуня нашъ померъ сегодня... и все наше сальце взяли... и требушку взяли... на зиму припасали...

Она трясется и плачетъ въ руки, маленькая. А что я могу?! Я только могу сжать руки, сдавить сердце, чтобы не закричать.

Не знаете, не видали вы э т о г о, вы, смакую-

щіе человѣческіе «прорывы», восторженные цѣтели «дерзаній»! Все это «смазка» чудесной машины Будущаго, отбрось и шлакъ величественной плавильни, гдѣ отливается это Будущее! Уже видны его глаза...

Босая стоитъ она, освѣщенная половинкою мѣсяца, выбѣжавшей изъ тучи. На ней рваный платокъ мамы Насти и розовенькая кофточка безъ пуговокъ. Она трясется отъ ужаса, который она предчувствуетъ. Она уже в с е познала, малютка, чего не могли познать миллионы людей — отшедшихъ! И э т о теперь повсюду... Этотъ крохотный городокъ у моря... — это, вѣдь, только пятнышко на безкрайныхъ пространствахъ нашихъ, маковинка, песчинка...

Что я могу?! Не могу сказать даже слова... Кладу на плечо руку.

Она уходитъ съ сухой лепешкой, съ горсточкой миндаля и грушки. Уносить въ своемъ платкѣ виноградную кожуру гнилую...

Нѣтъ, еще остается ужасъ. Еще не омертвѣло сердце, еще сжимается. Стоны ползутъ изъ балокъ... Да, вовсе не тюлень это, а само с у щ е е, земля стонетъ. Я вижу подъ луной черный гребень, гробовую крышу дома Одарюка, гдѣ мальчикъ... Смерть у дверей стоитъ, и будетъ стоять упорно, пока не уведетъ всѣхъ. Блѣдною тѣнью стоитъ и ждетъ.

Я вздрагиваю — я вижу блѣдную тѣнь. Беззвучно движется за плетнемъ, на мѣсяцѣ, за черными кипарисами... Кто ты?! — хочу окликнуть, и узнаю майскій костюмъ Андрея. Онъ направляется на «Тихую Пристань», въ свое жилище. За спиной у него мѣшокъ, неизмѣнный его мѣшокъ. Изъ степи идетъ, съ похода. Украдкой хочетъ войти къ себѣ. Умиралъ бы въ степи, чудакъ!

Шумить по утру Горка: забрали дядю Андрея — матросъ съ милицейскимъ взяли. Повели «дѣлать ванную».

В а н н а я?! Что такое?..

Это знают о н и, хозяева. Милицейскій сообщается — «по секрету»:

— Розыскной пунктъ дѣло хорошо понимаетъ! Зна-ку чтобы не оставлять.. Значить, мѣшокъ съ пескомъ... и какъ подъ печонку ахнуть...! — одно потрясеніе, а знаку настоящаго нѣтъ! Внутрь можетъ полировать, чтобы въ сознаніе привести. Подъ сердце тоже... Раньше..! Да раньше такихъ сурьозныхъ дѣловъ и не было. Семнадцатую корову рѣжутъ... трудовых! Долженъ себя пролетарій защитить, какъ вы думаете? Иначе какъ же... Я, говорить, на степи крутился! Р-разъ! — Ходилъ на степу?.. Ходилъ! А голось-то ужъ у него не тотъ... Два! — подъ душу. — Ходилъ на степу!? ну!? — Ходилъ... И опять голосу сдалъ! Понимаете, штука-то какая?! А то въ голову, вотъ это мѣсто, подъ затылокъ... Тутъ ужъ онъ какъ въ безпмяти, сотрясенье... И вотъ тутъ сейчасъ и есть е м у в а н н а я! Водой отливать надо обязательно. Тутъ-то онъ обязательно помягчѣть долженъ. — Ходилъ на степу... ррастакой?!.. Молчить... Но только у всѣхъ троихъ ихъ такая крѣпость... съ голоду, что ли? Не подаются! Зубы только затиснуть и... Кривого въ шомпола взяли... Старикъ, а выдержалъ карактеръ. Захрипѣлъ, а не сдался. Обѣихъ выпустили пока... до суда, не сбѣгутъ. И Андрея выпустимъ... Пайковъ у насъ не полагается, сами знаете... голодь!

Бѣжать? Снѣга на перевалѣ. Босоногая Таня все еще ходитъ тамъ, поплескиваетъ вино въ боченкѣ. Нельзя ей остановиться: дѣти. Тѣломъ, кровью своею кормить...

Я уже не могу оставаться въ саду, за изгородью. Въ башмакахъ разбитыхъ хожу я по грязи дорогъ, постаиваю на мокрыхъ холмахъ. Что я хочу увидѣть? На что надѣюсь?.. Никто не придетъ изъ далей. И далей нѣтъ. Ползутъ и ползутъ тяжелыя тучи съ Ба-

бугана. Чатырь-Дагъ закрылся, опять задышитъ? Задуетъ снѣгомъ. Смотрю на море. Свинцовое. Бакла-ны тянуть свои цѣпочки, снуютъ надъ мутью... ходятъ и ходятъ шипучіе валы гальки. И вотъ, выглянетъ на мигъ солнце и выплеснетъ блѣдной жестью. Бѣжить полоса, бѣжить... и гаснетъ. Воистину — солнце мертвыхъ! Самыя дали плачутъ.

Притихла Горка. Воетъ старая нянька сосѣдкина. Ходила съ недѣлю сумрачная, больная, ждала чего-то. Теперь воетъ. Ея тонкій, будто подземный, плачь доходить черезъ плетень въ садикъ. Сына у ней убили. Далеко убили, за переваломъ, въ степи...

Принесъ эту вѣсть Корякъ, тотъ самый Корякъ — дрогаль, который билъ-выбивалъ правду изъ старика Глазкова. Получилъ Корякъ свою правду: убили въ степи его зятя, а съ нимъ убили и нянькина сына Алексѣя.

А еще совсѣмъ недавно стояла нянька у моего за-бора, радовалась:

— Вздохнемъ вотъ скоро... Вотъ, Алеша поѣхалъ съ коряковымъ затымъ, на степь повезли вино, въ долгъ у татаръ заняли... бо-чку! Теперь всего намѣняють... и сала, и пшенички... къ Рождеству-то бы...

Принесъ вѣсть Корякъ ночью. Сказалъ:

— Получилъ вотъ какое сурьезное извѣстіе. Наши на дорогѣ, на степѣ... болѣ ста верстъ отсюда, зятеву лошадь... и двоихъ побитыхъ... моего и твоего... пріятели были, такъ вмѣстѣ и... лежать въ канавѣ. Ну, лошадь не могли стронуть, не пошла отъ хозяина... Хорошій конь, добрый. И товаръ не могли стащить, помѣшали имъ, какъ съ лошадью они бились. Можетъ, чего и расхватили... Ну... и въ это самое мѣсто, за ухомъ... двѣ дырки наскрозь... въ канаву оттащили. Ну... двое тѣхъ было... въ хворомѣ, съ винтовками... какъ люди говорятъ проѣзжіе. Значить, будто стража... про себя выдавали. Ну... и такъ сдается, шшо сынъ Глазкова одинъ, Колька...

который сбѣжалъ... Меня убить за отца грозился. Ну, моего убилъ. А ужъ твой... т а к ъ... наскочилъ на судьбу... Пшеницы да ячменю мѣшокъ... кровью запекши... на нихъ и убили. Теперь надо позабирать в с е.

Побѣжали подъ утро, безъ хлѣба, безъ одѣжи, на перевалъ, въ снѣга: нянькинъ сынъ Яшка, вдова, — корякова дочь, — и самъ Корякъ, — кнутъ только захватилъ по привычкѣ своей дрогальской. Побѣжали добывать все: пшеницу, тѣла и лошадь.

Востъ другой день нянька. Сидитъ старая барыня, томится безсонницей и сердцемъ. Горитъ печурка, шипять мокрые «кутюки».

Вотъ они, сны обманные! что — кому. Приснился и нянкѣ сонъ, пышный, с ы т н ы й. Видѣла она такъ — рассказывала недавно:

...Шла полемъ. А по полю тому, прямо — земли не видно, — все глыбы сала да жиру. А сынъ Алеша, въ бѣлой, будто, рубахѣ... до земли рубаха... съ вилами, переваливаетъ глыбы, будто навозъ трусить. «Смотрите, — говоритъ, — мамаша, сала да жиру сколько!» Схватила нянька жирный кусокъ, ѣсть стала. Ъла-ѣла, — въ глотку не лѣзетъ, ужъ больно жиренъ...

Проснулась, а все тошно. Всѣмъ про сонъ рассказывала, обхаживала Горку, — не къ добру, чуяла! Всю недѣлю, какъ несвоя ходила. Сказала Марина Семеновна, — не ей, — ей не сказала:

— Охъ, худо нянкѣ будетъ, черезъ Алексѣя... такое худо..!

Пришло худо: прислалъ Алеша пшеницы съ кровью. Ъсть-то надо, промоютъ и отмоютъ. Только в с е г о не вымоешь...

ТЫ С Я Ч И Л Ъ Т Ъ Т О М У...

Падаєть снѣгъ — и таетъ. Падаєть гуще, гуще... — и таетъ, и вьєть, и бьєть. Ближнія горы — пѣгія. Стали пѣгими кипарисы, и виноградники, и плетни. А снѣгъ все сыплеть и замєтаетъ въ вихрѣ, бѣлить и кроєть. И вьєть, и метєть, и хлещєть... Зимой хватило отъ Бабугана, отъ Чатырь-Дага, — со всѣхъ сторонъ. Крутитъ метелью и день, и ночь. Не черная Кастель-шапка, а исполинская сахарная гора — голова на блюдѣ, на бѣлой скатерти. Сѣдыя, дымныя стали горы, чуть видныя на бѣлесомъ небѣ. И въ этомъ небѣ — черныя точки — орлы летаютъ.

Гонить снѣгами лѣсную птицу къ жилью. Черные дрозды, съ оранжевыми носами, шмыгаютъ по пустымъ садамъ, выискиваютъ во дворикахъ. Остатки овечьихъ стадъ умные чабаны стерегутъ въ кошарахъ: опасно пускать въ долину. Смотрятъ на снѣгъ съ тревогой: валить, а сѣна нѣтъ, — овцы начнутъ валиться. А надъ горами орлы летаютъ. Не боятся орлы снѣговъ: корму орламъ достанетъ.

Бѣжить въ снѣгу маленькій татаринъ въ бараньей курткѣ, лошадь изъ снѣга тянетъ. Кричитъ — воєтъ въ бѣлую пустоту, на всю Горку:

— Йѣй!.. бери коня... купай!.. Йѣй!..

Спотыкается на кусты подъ снѣгомъ, волочить въ поводу коня, бьется въ мои ворота:

— Ко-зай!.. йей! коня бери... клѣба давай, карѣй!.. всѣ памирай!.. ой, бери... йѣй!..

Еще съ порога я вижу, какъ онъ стучитъ себя по груди и топчется — прыгаетъ за шиповникомъ. Та-

таринъ крохотный, черноусый, съ обезумѣвшими глазами. Онъ хватаетъ меня за рукавъ и тянетъ:

— Пажалюста... бери коня! Йёй!..

Изъ его горла рвется гортанный клекоть. Онъ дергается лицомъ, глазами, словно вотъ-вотъ заплачетъ. Съ носа мутная капля виснетъ: слеза ли, потъ ли, — не разобрать. Совсѣмъ чумовой татаринъ. Дрожить-кричить, перекося ротъ, кривить почернѣвшее лицо, и все охлопываетъ коня по шеѣ. А конь — подъ черной шкурой скелеть, съ втянувшимися ноздрями, — оскаленными зубами дереть шиповникъ. Запарилъ коня татаринъ, и самъ запарился.

— Йёй! — кричитъ онъ съ болью въ мои глаза, дергаетъ меня за руку. — Ну! твоя нада! пажалюста... бери конь! ну... клѣба давай... мала-мала! Снѣгъ, зима пришелъ... Йёй!..

Со страхомъ, съ болью гляжу я въ его обезумѣвшіе глаза, убѣгающіе отъ ужаса.

— Другъ... — говорю ему: — нѣтъ у меня ничего!..

Но онъ не можетъ понять.

— Пажалюста... бери конь... Арабчукъ мой... седьмой зима... кароши, золотой! Кормить... ничего нема... снѣгъ пришелъ, зима... жалька... Йёй!..

Онъ машетъ рукой на городъ, и я машу. И мы смотримъ въ глаза другъ другу растерянно, безнадежно. Онъ вырываетъ слова изъ глазъ, острыхъ, черныхъ, изо рта, кривого отъ нетерпѣнія и страха, что поздно будетъ:

— Йой... йой-йой... Сами... Быюкъ-Ламбать бѣжилъ! Ну?! Алюшта пошла... ночь будить... ничего не видалъ.. памираль!.. — кричитъ онъ звѣринымъ крикомъ, отрывается отъ меня и отдергиваетъ коня — волочить, тянетъ. Не идетъ за нимъ конь, боится...

— Йёйй!..

Стоитъ его визгъ въ ушахъ. Провалился съ конемъ татаринъ въ снѣгъ, въ балку. Слышно, — и тамъ визжить.

Я иду по глубокому снѣгу, на площадку. Дубовая поросль завалена рыхлымъ снѣгомъ. Далеко внизу путается-чернѣетъ съ конемъ татаринъ, по снѣгу катится, за нимъ снѣговая пыль... — въ городъ погналъ татаринъ.

Онъ — изъ Біюкъ-Ламбата?! Страна чудеснаго золотого табаку.... Гдѣ такое... Біюкъ-Ламбатъ? Да, это совсѣмъ близко, двѣнадцать верстъ. Кто-то о немъ говорилъ недавно..? Кто-то померъ! Да... отъ голоду померла у татаръ вдова художника русскаго.. Ушла къ татарамъ — и померла... А его картины... за этими горами. О, снѣгъ какой... испугаль чумового татарина. Сухую траву засыпалъ на много дней...

Сумерки надвигаются. Куда побѣжалъ татаринъ, въ слѣпую ночь! Чумовой татаринъ! Закрыты на базарѣ лари, будетъ въ кофейняхъ тыкаться.

А сумерки все густѣютъ. Кастель синѣетъ. У, какая пустыня тамъ! Снѣговая пустыня въ падающей ночи. Я стою на холмѣ и вглядываюсь въ пустыню, пытаюсь ее постигнуть. Море — черное, какъ чернила, берега — бѣлые. Громыхаетъ глуше — отъ снѣга глохнетъ. И тамъ пустыня. Одна на другую смотреть: черная, бѣлая.

Тысячи лѣтъ тому... — многія тысячи лѣтъ — здѣсь та же была пустыня, и ночь, и снѣгъ, и море, черная пустота, погромыхивало такъ же глухо. И человѣкъ водился въ пустынь, не зналъ огня. Руками душилъ звѣрье, подшибалъ камнемъ, глушилъ дубиной, прятался по лещерамъ... на Чатырь-Дагъ и подъ Кастелью, — онѣ дожили и до сего дня. Видѣла эта вѣчная стѣна Кушъ-Кай, — въ себя вбирала, — и теперь вбираетъ: пишетъ по ней невѣдомая рука. Смотрю и вбираю я. Снѣга синѣютъ, чернѣетъ даль. Нигдѣ огонька не видно. Не было и тогда. Пустыня. Вернулась изъ дальнихъ далей. Пришла и молчаніемъ говорить: я пришла, пустыня.

Я знаю: она пришла. Бѣгаютъ люди съ камнями. Вчера рассказывали про Судахъ:

— По дорогамъ горнымъ хоронятся, за камни... подстерегаютъ ребятъ... и — камнемъ! И волокутъ...

Кругомъ — съ камнями. И въ славномъ когда-то Бахчи-сараѣ, и въ Старомъ Крыму, и... всюду. Какимъ же чудомъ швырнулись тысячелѣтія?! Куда свалился великій человѣческій путь — на небо?! великое восхожденіе и это гордое — будемъ Боги!?

Я смотрю на вздувшійся подъ снѣгами камень: какая сила! Вышелъ изъ далей... — вотъ онъ! —

... Мое!...

Е г о.

Я брожу по снѣгамъ, по балкамъ, безъ цѣли. Вѣдь я изъ далей. Я же тотъ самый дикарь пещерный. Но у меня нѣтъ и шкуры. У меня лишь истрепанное пальтишко, лѣзутъ змѣиные зубки изъ башмаковъ, а въ нихъ мои зябкіе пальцы, завернутые въ тряпку... И я — безсильный. Мнѣ такъ понятна, близка та жизнь, жизнь моихъ давнихъ предковъ! Снѣга и ночь, а у нихъ... огня не было!.. Я сейчасъ пойду, затоплю печурку... а у н и х ъ... не было!... И... они-таки побѣдили!? Какими силами, Господи, это чудо? Твоими, Господи! Ты, Единый, далъ имъ Огонь Небесный! О н и побѣдили имъ. Я это знаю. Я вѣрую! И о н и же его растопчутъ. Я это з н а ю. Камень забилъ Огонь. Милліоны лѣтъ стоптаны! милліарды труда сожрали за одинъ день! Какими силами это чудо?! Силами камня-тѣмы. Я это вижу, знаю.

Синей Кастели нѣтъ: черная ночь — пустыня. Храпитъ изъ балки, изъ темноты, — конь запаленный дышитъ? Взрывая снѣгъ, у моихъ ногъ, изъ балки выкатывается черное: татаринъ, за нимъ его черный конь. Хрипитъ татаринъ, и конь хрипитъ. Я бѣгу отъ него къ воротамъ. Татаринъ бѣжитъ за мной...

— Ты... бери... нема люди... ночь черный... Быюкъ-Ламбать... йѣй, бери... Аллахъ...

Я не вижу его лица. Я вижу, какъ конь головой мотаеть, хочеть поводья вырвать?... Мотнулъ и уткнулся въ снѣгъ. Я вижу парокъ надъ ними. Я отмахиваюсь отъ нихъ, отъ призраковъ... стараюсь открыть калитку... Держить меня татаринъ, рукою молить... И вдругъ....

— Йёй..! — вскрикиваетъ татаринъ и чутко всматривается во что-то въ балкѣ.

Я ничего не вижу. Онъ срыву дергаетъ поводъ, но конь уснулъ. Онъ бьетъ его кулакомъ по шеѣ и кидается въ сторону. Бѣжить и кричить кому-то, кого онъ видитъ:

— Йёй! ханымъ! козяйкъ... бери... конь!.. Йёй!..

Я напрягаю глаза, не вижу. Кому же кричить татаринъ? Найдется ли человѣкъ, кто снялъ бы съ него напавшій на него ужасъ? Никого не видно. Бѣжить за кѣмъ-то, кричить...

Я захлопываю калитку и ставлю колъ.

Человѣкъ нашелся. Утро принесло вѣсть: взяли коня у татарина. Понесъ чумовой татаринъ шесть фунтовъ хлѣба въ Біюкъ-Ламбатъ. Быть можетъ, спасутъ коня. А какъ же теперь татаринъ?..

Говорилъ въ городкѣ дьяконъ:

— Дуракъ татаринъ! Повали коня, ѣшь коня! Ему бы на мѣсяцъ съ семьей хватило, продержаться... По-соли мясо...

— А соли-то нѣтъ, отецъ дьяконъ!

— Мясо-то прокопти, безъ соли лопаи!

— А можетъ ему своего коня жалко было?..

— Коня жалко?! Какъ коня жалко, разъ за шесть фунтовъ хлѣба отдашь?! Лупоглазый... Жалко?!.. А просто... голову потерялъ отъ страху!..

Воистину — голову потерялъ чумовой татаринъ.

Т Р И К О Н Ц А

Снѣгъ полежалъ три дня, тронулся и потекъ. Плы-
ветъ прызь въ балку. Торчатъ изъ грязи мокрые рога
виноградника, изсохшіе усы-плети. Испугалъ снѣгъ
татарина — и плыветъ. Отрыгнетъ еще земля трав-
ку, — прогрѣветъ солнцемъ.

Померъ Андрей Кривой съ нижняго виноградника.
Ходилъ послѣ «ванной» съ недѣлю — крикалъ. Мол-
чалъ и крикалъ. Потомъ прилегъ. Жаловался —
«внутрь ломить». А померъ тихо.

Померъ и Одарюкъ. Двѣ недѣли мѣста не могъ
найти: и ходить, и сидѣть, и лечь — все больно. Жа-
ловался, что «клинья вогнали въ поясницу» и подъ
сердце давить. За двѣ недѣли въ сухенькаго старичка
обратился, глотнуть не могъ. Водичу испить про-
силъ: глотаетъ, а принять не можетъ. Кричалъ шибко,
какъ отходилъ:

— Огне-омъ... палить!..

Поглядѣлъ на дѣтей, и выкатились изъ его глазъ
двѣ слезы. А померъ тихо.

И дядю Андрея выпустили послѣ «ванной». Во
всемъ сознался. Пришелъ на Горку, на «Тихую При-
стань», — тихій, какъ послѣ большой работы. Бро-
дилъ по Горкѣ въ майскомъ своемъ костюмѣ, почер-
нѣвшемъ, скатавшемся, — пищи себѣ искалъ. Про-
зналъ, что Антонина Васильевна, изъ пшеничной
котловины, корову со страху рѣжетъ, пришелъ подъ
вечеръ и остановился на порогѣ. Стоялъ и молчалъ
— тѣнью. Не видала его Антонина Васильевна: ру-
била въ корытцѣ студень. Стоялъ дядя Андрей у

притолки, смотрѣлъ какъ шипитъ на плитѣ въ корчагѣ, какъ на бѣломъ сосновомъ столѣ разложены — бурая печень, мозги, а въ окоренкѣ шершавой тряпкой коровій рубецъ мокнетъ.

Повернулась Антонина Васильевна — ахнула: испугалась тѣни:

— Что... вы?... Вы это... дядя Андрей?!. Что съ вами?..

— Дайте... за-ради Бога... кишочки...

Дала ему Антонина Васильевна пригоршню «рубки» — для холодца, отрѣзала и рубца, съ ладонь, и ребрышко. Поглядѣлъ на нее дядя Андрей плаксиво, сказалъ хрипомъ:

— Нутро у мене повернуто... всю утрибку мою поспутало-завязало... какое-бы... средство?... Гляжу, а въ глазу трусится... упасть боюсь....

Дала ему Антонина Васильевна перцовки выпить. Пошелъ дядя Андрей по дачамъ — за мясорубкой. Нигдѣ не было мясорубки. А зачѣмъ голодному мясорубка?

— А жевать нечѣмъ... зубы всѣ растерялъ...

Говорилъ: «евать» и «убы».

— Гдѣ же вы ихъ потеряли-то, такъ сразу?

— Такъ... о камень...

Проходилъ съ недѣлю, стало его сгибать. Узналъ, что и Андрей Кривой, и Одарюкъ Григорій жить приказали, — пришелъ къ ночи къ Маринѣ Семеновнѣ на веранду.

Спросила его Марина Семеновна сурово:

— Развѣ вы чего тутъ забыли ?

— Я тутъ ничего не забуду... — жалобно сказалъ дядя Андрей, какъ волкъ затравленный.

Разсказывала про это свиданіе Марина Семеновна — жалѣть не жалѣла: —

— ... А вѣтеръ былъ, съ Чатырь-Дага, холода заввернули. А онъ стоитъ и стоитъ, трясется.

— Чего вы стоите... сядьте на табуретъ.

Сѣлъ онъ на табуретъ, на кончикъ. Оглянулъ комнату, все глазами прощупалъ, и говорить:

— Одѣялы у васъ... знаменитыи... найдутъ — возьмутъ.

А я говорю ему:

— Вы чего это въ узелкѣ держите, куда собрались?

Сказалъ, что проститься зайдетъ съ покойникомъ, съ Григоріемъ, — четвертый день все не похоронять. У нихъ и переночуетъ, — дома-то холодно, силы нѣтъ дровецъ нарубить, отъ холоду не спится. А поутру въ больницу — думаетъ.

— Очень, — говорить, — у меня все внутри ломить, и какъ огнемъ палить. Можетъ, — говорить, — меня параличомъ расшибло, снутри! Во мнѣ, — говорить, — вродѣ какъ крыса завелась, грызется.

— Не отъ козлиного ли смальца, дядя Андрей? — говорю. Очень меня досада одолѣла — все ему высказать.

— Не ѣлъ я вашего козлика! Зачѣмъ вы такъ?!

А не смотреть. А я ему на это:

— Вы и «Тамарку» не трогали, и гусей, — говорю, — и уточекъ моихъ не пробовали... А помните, — говорю, — дядя Андрей, какъ я вамъ въ саду-то нагадала? Какъ вотъ снѣгъ упадетъ...

Какъ затрясется! Страшный, какъ смерть, сталъ.

— Будутъ васъ, дядя Андрей, черви ѣсть! Какъ вы моего козлика, такъ и они васъ... И будетъ, будетъ!

Все во мнѣ поднялось опять, себя не слышу.

— Я, — говорю, — вчера на васъ карты раскидывала, на винаго короля... вы! Конецъ вамъ вышелъ! Вотъ онъ, конецъ, и есть!

— Да я жъ, — говорить, — вовсе не виновый... Я... жировый!

И тутъ не сознается! Тутъ ужъ я, прямо, не въ себя!..

— Это, — говорю, — жировый-то вы съ жиру да смальцу! А вы черный, весь вы чернымъ-черный, какъ вотъ... зсмля! На лицѣ-то у васъ... земля выступила!..

— Видите... — говорить, — ужъ помираю я, а вы... меня добиваете.

— А вы, — говорю, — сиротокъ моихъ добили! Гаснуть!

— Ну, простите, коли такъ... Не я добилъ... а насъ всѣхъ... добили...

И не сказалъ, а... всхлипнулъ! Тутъ мнѣ его жалко стало.

— Ну, — говорю, — дядя Андрей... я вамъ простила, а судьба не простила. Не отъ меня это, что помираете... и дня не проживете, вижу. Судьба... Ну, вотъ, хлѣбца я вамъ дамъ... отъ жалости дамъ хлѣбца... напоследокъ покушайте... сегодня пекла, три фунта.

— Отрѣзала ему кусочекъ, теплый еще. Такъ и вѣѣлся. И... покрестился, какъ изъ рукъ хлѣбушка взялъ! Такъ мнѣ это понравилось!.. Душа-то православная... Я ему еще дала кусочекъ — въ дорогу. А вѣтеръ такъ и гремитъ, вьюшки прыгаютъ, страсть Божія. Вотъ онъ и другой кусокъ сжевалъ, отогрѣлся. И говорить:

— Ну, посидѣлъ я. Это вы хорошо, мнѣ теперь л е г к о б у д е т ь...

И голову опустилъ. А ужъ и спать пора давно, двѣнадцатый часъ.

— Пойду, — говорить, — къ Настасѣѣ, вдовѣ... можетъ мнѣ куртку покойникову надѣтъ займетъ, а то больно зябко въ больницу итти. Я, — говорить, — жилъ самостоятельно, а вотъ какъ эта канитель-то вся пошла, слобода-то и х н я я... какъ обмѣнили всѣхъ...

За руку простились. Покрестила я его вослѣдъ. Что ужъ...

Пошелъ дядя Андрей ночью на мазеровскую дачу. Впустила его Настасья. Въ свою комнату не допустила, а пусть съ покойникомъ ложится. Дала ему накрыться рваную куртку мужнину, кожанку.

Опять на вѣтеръ итти? Замерзъ дядя Андрей въ майскомъ костюмѣ изъ парусины съ кресель исправничьихъ. Остался. Лежалъ Одарюкъ на полу, въ пустой комнатѣ бывшаго пансіона, имъ же обобраннаго. Ни свѣчки, ни коганца. Легъ дядя Андрей подальше въ уголь, узелокъ вголова, а кожанкой накрылся. Что онъ думалъ, какъ провелъ ночь, — этого никто не знаетъ. А когда стало бѣлѣть за окнами, поднялся, надѣлъ кожанку и пошелъ въ больницу. Увидала его Настасья, — идетъ въ мужниной кожанкѣ, — нагнала на дорогѣ:

— Снимай, проклятый! Григорья погубилъ... куртку уворовать хочешь?!

Сорвала съ него куртку да еще по лицу курткой. Видали люди, какъ на вѣтру, на пустой дорогѣ, у миндальныхъ садовъ порубленныхъ, хлестала его обезумѣвшая Настасья по головѣ курткой. А онъ только рукою такъ, прикрывался...

Не дошелъ дядя Андрей до больницы. У базара, въ безлюдномъ переулкѣ, присѣлъ къ забору, въ майскомъ своемъ костюмѣ, загвазданномъ. Нашли прохожіе, а онъ только губами двигаетъ. Доставили въ больницу. До полудня не дожиль — померъ.

Такъ о т о ш л и всѣ трое, одинъ за однимъ, — истаяли.

Ожидающіе своей смерти, голодные, говорили:

— Налопались чужой коровятины... вотъ и сдохли.

КОНЕЦЪ КОНЦОВЪ

Да какой же мѣсяцъ теперь, — декабрь? Начало или конецъ? Спутались всѣ концы, всѣ начала. Все перепуталось, и мой калъвиль на верандѣ — праздникъ Преображенія! — теперь ничего не скажетъ. Было ли Рождество? Не можетъ быть Рождества. Кто можетъ теперь родиться?! И дни никому ненужны.

А дни идутъ и идутъ. Низкое солнце порою весну напомнить, но свѣтитъ жидко. Ему не на чемъ разыграться: сѣро и буро — все. Тощее солнце свѣтитъ, больное, мертвое. А къ вечеру — новый мѣсяцъ. А гдѣ же полный? Куда-то прошелъ, за тучами?..

Я видѣлъ смертеныша, выходца изъ другого міра — изъ міра Мертвыхъ.

Я сидѣлъ на бугрѣ, смотрѣлъ черезъ городокъ на кладбище. Всмотривался въ жизнь мертвыхъ. Когда солнце идетъ къ закату, кладбищенская часовня пышно пылаетъ золотомъ. Солнце смѣется Мертвымъ. Смотрѣлъ и рѣшалъ загадку — о жизни-смерти. Можетъ случиться ч у д о? Н е б о — откроется? И есть ли гдѣ это Н е б о? И другое рѣшалъ — с в о е. У меня еще крестъ на шеѣ, а на рукѣ — кольцо. Отнесу греку, татарину, кому нужно ходячее золото, — бери и кольцо, и крестъ! Я останусь свидѣтелемъ жизни Мертвыхъ. Полную чашу выпью. Или бросить тебя, причалъ послѣдній, нашъ кроткій домикъ, — съ послѣднею лаской взгляда?.. весны добиться и... начать великое Восхождение — на Горы? Муку въ себя принять и раздѣлить ее съ міромъ? А міру пужна ли мука?! У міра свои забавы... Весна...

Золотыми ключами, дождями теплыми, въ грозахъ, не отомкнетъ ли она земныя нѣдра, не воскреситъ ли Мертвыхъ? Чаю Воскресенія Мертвыхъ! Я вѣрю въ ч у д о! Великое Воскресеніе — да будетъ.

Какое непріятное кладбище! Камень грязный. Чужая земля, татарская.

Собаки рыскають у часовни, засматривають за стекла. И сторожъ пьяный. Я помню его лицо, тупое лицо могильщика-идіота. Потянетъ съ меня за яму... Нечего взять съ меня. А съ Ивѣи Михайлыча потянетъ...

Когда эти смерти кончатся! Не будетъ конца, спутались всѣ концы — концы-начала. Жизнь не знаетъ концовъ, началъ...

Умеръ старикъ вчера, — избили его кухарки! Черпаками по головѣ били въ совѣтской кухнѣ. Надоѣлъ имъ старикъ своей миской, нитьемъ, дрожаньемъ: смертью отъ него пахло. Теперь лежитъ покойно — до б у д у щ а г о в ѣ к а. Аминь. Лежитъ профессоръ, строгій лицомъ, въ бѣлой бородкѣ, съ орлинымъ носомъ, въ чесучевомъ форменномъ сюртукѣ, сбереженномъ для гроба, съ погонами генеральскими, съ серебряной звѣздочкой пушистой — на голубомъ просвѣтѣ. Въ небѣ серебряная звѣзда! Чудесный символъ. Завтра поступитъ въ полную власть — Кузьмы ли, Сидора, — какъ его тамъ зовутъ? Кузьма не знаетъ ни звѣздъ, ни «яти», ни Ломоносова, ни Вологодскаго края; знаетъ одно: надо содрать сюртукъ, а потомъ — вали въ яму.

Чужая земля, татарская...

Да, смертенышъ... Я сидѣлъ на бугрѣ и думалъ. И вдругъ — шорохъ за мной, странный, подстерегающий. За мною стоялъ, смотрѣлъ на меня... смертенышъ! Это былъ мальчикъ лѣтъ десяти-восьми, съ большой головой на палочкѣ-шейкѣ, съ ввалившимися щеками, съ глазами страха. На сѣромъ лицѣ его бѣловатыя губы присохли къ деснамъ, а синеватыя зубы

выставились — схватить. Онъ какъ-будто смѣлся ими и оттопыренными ушами летучей мыши.

Я глядѣлъ въ ужасѣ на него — на видѣніе изъ больного міра. А онъ смѣлся зубами и качался на тонкихъ ножкахъ, какъ на шарнирахъ. Онъ проскрипѣлъ мнѣ едва понятное слово:

— Д... вай...

За нимъ шла женщина, пошатывалась, какъ пьяная. У живота ея, на усталыхъ рукахъ лежало что-то, завернутое въ тряпку. Она совсѣмъ упала на бугоркѣ. Они съ утра уже идутъ издалека, — верстъ шесть, — изъ-за «Черновскихъ Камней», въ городъ, къ власти. Всѣ садятся. Двое у ней уже померли, теперь кончается маленькій, въ этой тряпкѣ.

— А этотъ еще... красавчикъ... — говоритъ женщина про смертеньша, говоритъ издалека, сонно. — Господь послалъ... галку вчера подшибъ.

— Я... камушкомъ... га...галка... — сонно, пьяно шепчетъ мнѣ мальчикъ и все смѣется зубами А глаза въ страхѣ.

— Скажу... проклятымъ... убейте лучше... Мужъ-то мой ихъ нимъ былъ... семью бросилъ. спутался съ ихъ ней какой-то, вотъ эти-то вотъ... какъ ихъ... слова-то... голова моя.. съ нитилигентной... на почтѣ служилъ... хорошо кушали... Она партейка... а я, говоритъ... ду-ра...

Она начинаетъ выть, какъ отъ боли:

— Петичка... послѣдышекъ мой... желанный... три годочка... Съ голоду спится... бужу его: — «Проснись, Петичка... за хлѣбушкомъ пойдемъ въ городъ...» — А Петичка мнѣ... «Ахъ, мамочка... патиньки нада... я са-ало ѣлъ... я мя... а... со ѣлъ...» — Гляжу, а у подушечки-то уголочекъ... сжеванъ...

Я убѣждалъ отъ нихъ въ балку. Слѣдилъ оттуда — ушли ли? Они долго сидѣли на бугрѣ.

Да когда же накроетъ камнемъ??? Когда размоется клубокъ?.. Скажутъ горамъ: падите на насъ!

Не падають... Не пришли сроки? Прошли всё сроки, а чаша ещё не выпита!..

Я кричу страннымъ какимъ-то существамъ... — дѣвчонкамъ?... —

— Что вы?! зачѣмъ?!

Онѣ ползуть отъ меня, отъ меня страшнаго... я помѣшалъ имъ въ дѣлѣ... собирать сухія «тарелки», слѣды коровьи!..

Почему же такое пустое море?! Такое тихое и — пустое! Гдѣ пароходы чудесныхъ, богатыхъ странъ?

А все еще ходять мимо, все еще проползають черезъ бугоръ. Вонъ, идетъ опять кто-то, снизу, изъ-подъ Кастели... Идетъ ровно, по дѣлу будто. Стучить дрючкомъ по плетню... Кому-то я еще нуженъ!..

— Что еще нужно?!.. Теперь не время стучать!.. Ну... что вамъ нужно?! — кричу я какому-то человеку съ веселыми глазами, съ лицомъ, какъ у королька мякоть, — крѣпкимъ. — «Чего ему нужно, крѣпкому?»

— Чи не взнаете... ге! А Максимъ-то..! Да я жъ спиднизу... ге! Да молочко жъ у менѣ покуповалы... ге! Ну, якъ вы... шше не вмерлы?! Ге!.. Усѣхъ положить, якъ вотъ... штабелями положить, а по нимъ танцувать будуть... мовъ мухи на гавну... Ге! Погибають народъ хрещеный...

Теперь я его признаю, хитраго мужика-хохла, — изъ-подъ Кастели. Дрогаль когда-то, теперь на коровѣ держится. Такой хохоль оборотистый, что пробы поуставить негдѣ. Намѣнялъ у Юрчихи, и гдѣ придется, на молоко всякаго добра, вымѣнилъ въ степи на пшеницу загодя, зарылъ въ потайное мѣсто. Ходить рванью и громче другихъ кричить — погибаетъ, мовъ тараканы на морози!

— Вотъ оны... какъ обкрутылы народъ право-славный... ге! У хати съ коровой сплю, топоръ подголова да дрючокъ хорошій... замѣсто жинки... ге! А шшо, я васъ спрошу... слыхали? Шишкиныхъ усѣхъ

зарестовалы! Да якъ же...Хведоръ вотъ заходилъ, со-
сѣдъ ихній... Лягунъ. Прямо... ужахается! Нашли
кого! Оружье они ховали... народъ убивать хреще-
ный! Ге! Во — подвели-то! Ужахается Хведоръ,
прямо... плачетъ. Значить такъ... Съ недѣлю тому,
пріѣхали на коняхъ... обыскъ! Будто разбоемъ жи-
вуть, съ ружьями на шошу выходятъ, въ маскахъ.
Тыся, все пертрусили у нихъ... не нашли. Заразъ въ
каменья полѣзли! «Хавось» у насъ называется... тамъ,
можетъ, какія тыщи годовъ прошло, гора завалилась.
Туть-то тебѣ и есть! двѣ винтовки!! прочищены,
смазцемъ смазаны... Мовъ извѣстно имъ було! За-
разъ нашлы. Самъ главный чертяка не найшовъ бы...
съ версту «Хавось»! Всѣхъ и забрали.

Словно сказку рассказываетъ Максимъ, и весело!
Это Борисъ-то, освободившійся, наконецъ, отъ
нихъ! Одного только ждавшій — залѣзъ въ «Ха-
ось» и писать рассказы! Этотъ тихій, кроткій сча-
стливецъ, съ которымъ играла смерть...

— Да якъ же жъ, Боже мій... усѣхъ знаю! Винъ,
прямо... мовъ съ иконы сисель! тихой вотъ... мовъ
телушка. Хведоръ, прямо... ужахается, лица на немъ
нѣма. Прійшовъ до меня ранѣнко, кашель його за-
мучиль, чихотка злая. Говорить, поручусь за нихъ,
отпустятъ. Ну, старика отпустили, а этихъ въ Ялты
погнали, сыновъ. Кто имъ тутъ путки ставить... «Хочъ
они мнѣ телку отравить стращали... — Хведоръ-то
мнѣ... а я имъ вреда не хочу». Рыбаки за Бориса
вступались... А энти свое ладють: разберемъ и на
сѣверъ вышлемъ! у Харьківъ! Ге! Они вышлють..
ге!

Онъ стоитъ и высматриваетъ мое «хозяйство».

— А курей-то шшо жъ не видать?

— Ушли.

— На молочко, можетъ, помѣняемъ?..

— Ушли! Последнюю отдалъ въ добрыя
руки...

— Ну, индюшечку ужь..?

— Ушла.

Онъ все высматриваетъ. Видить — только деревья, камни...

— Ну, здоровѣнки бубалы. Це гарно, шшо не помэрлы...

На Сѣверь вышлютъ! Отъ сколькихъ смертей ушелъ, а тутъ... Не можетъ этого быть.

Черная ночь... которая?... Тихо, не гроыхнетъ вѣтромъ. Устали вѣтры. Или весна подходить? Но какой же мѣсяцъ? Все перепуталось, какъ во снѣ...

Вѣтеръ гремитъ воротами?.. Не вѣтеръ... — о н и, н о ч н ы е ! Гдѣ же топоръ?.. Куда я его засунулъ?.. Вымѣнилъ!? Что же теперь.. пойти?.. Все стучать. Сами войдутъ...

Стучать не сильно. Не о н и это. Кто-то робкій... Анята? Мамина дочка! Анята не постучить теперь, — у ш л а Анята. Кому же еще стучать..?

Пришелъ высокий, худой старикъ. Глаза у него орлиные, носъ горбатый. Смотритъ изъ-подъ бровей, затравленно. Оборванный, черно-сѣдой и грязный. Всталъ на порогъ и мнется съ пустымъ мѣшкомъ, комкаетъ его въ длинныхъ пальцахъ.

— Ужъ къ вамъ позвольте, по дорогѣ вспомнилъ. Въ городѣ задержался до темени, а итти-то еще двѣнадцать верстъ...

Кто онъ такой?.. Все перепуталось въ памяти.

— Я... отецъ Бориса, Шишкинъ. Борисъ-то все къ вамъ ходилъ, бывало...

Онъ ничего, спокоенъ и дѣловитъ, только, словно, что вспоминаетъ и мнетъ мѣшокъ. Чаю у меня нѣтъ, но есть кусокъ ячменного хлѣба.

— У самихъ мало... а я, признаться, съ утра только водички выпилъ... ходилъ въ городъ нащотъ вина... три ведра у меня вина...

Онъ выщипываетъ кусочками и жуеъ вдумчиво, и все вспоминаеъ что-то. Я не могу его спрашивать.

— Сейчасъ иду въ городъ... сказалъ мнѣ кто-то... Кашина сына разстрѣляли въ Ялтѣ... винодѣлова. И отецъ померъ отъ разрыва сердца. Мальчикъ былъ, студентъ... славный мальчикъ. На войнѣ былъ съ нѣмцами, а то все здѣсь жилъ тихо... рабочіе любили... Хорошо. Въ приказѣ напечатано... на стѣнкѣ. Сталъ читать... Обоихъ м о и х ъ.

— Что..?!

— Обоихъ сыновъ... — сдѣлалъ онъ такъ, рукой... — Какъ разъ сегодня... двѣ недѣли. За разбой. Бориса... за разбой!..

Онъ сложилъ мѣшокъ вчетверо и сталъ разглаживать на колѣнкѣ, лица не видно.

— Мать одна осталась, подѣ Кастелью... ночью приду. Къ вамъ и зашелъ. Какъ ей говорить-то?!.. Этотъ вопросъ очень серьезный. Я вотъ все... Какъ разъ двѣ недѣли сегодня... уже двѣ недѣли!.. Бориса... за разбой!.. я ей не могу говорить.

Ночь далеко ушла. Я выходилъ подѣ небо, глядѣлъ на звѣзды... Придешъ — старикъ сидитъ съ мѣшкомъ. А ночь идетъ. Я сижу у печки. Старикъ дремлетъ на кулакахъ. Говоритъ не о чемъ, мы знаемъ все. Вотъ ужъ и заря, щели засинѣли въ ставняхъ. И слышно муэдзина по зарѣ. Онъ все кричитъ о Богѣ, все зоветъ къ молитвѣ... благодарить за новый день.

— Ну, пойду...

— — — — —

Цвѣтетъ миндаль. Голыя деревья — въ розоватобѣлой дымкѣ. Въ тѣни, подѣ туй, распустились подснежники — изъ бѣлаго фарфора будто. На луговинкахъ золотые крокусы глядятся, высыпали дружно. Потеплѣе гдѣ, въ кустахъ, — фіалки начинаютъ пахнуть... Весна? Да, идетъ весна.

Черный дроздъ запѣлъ. Вонъ онъ сидитъ на пустырѣ, на старой грушѣ, на маковкѣ, — какъ уголекъ! На свѣтломъ небѣ онъ четко виденъ. Даже какъ носъ его сіяетъ въ заходящемъ солнцѣ, какъ у него играетъ горлышко. Онъ любитъ пѣть одинъ. Къ морю повернется — споетъ и морю, и виноградникамъ, и далямъ... Тихи, грустны вечера весной. Поетъ онъ грустное. Слушаютъ деревья, въ бѣлой дымкѣ, задумчивы. Споетъ къ горамъ — на солнце. И пустырю споетъ, и намъ, и домику, грустное такое, нѣжное... Здѣсь у насъ пустынно, — никто его не тревожить.

Солнце за Бабуганъ зашло. Синѣютъ горы. Звѣзды забѣлѣли. Дрозда уже не видно, но онъ поетъ. И тамъ, гдѣ порубили миндали, другой... Встрѣчаютъ свою весну. Но отчего такъ грустно?.. Я слушаю до темной ночи.

Вотъ уже и ночь. Дроздъ замолчалъ. Зарей опять начнеть... Мы его будемъ слушать — въ послѣдній разъ.

Мартъ-сентябрь 1923 г.
Парижъ — Грассъ.

О Г Л А В Л Е Н І Е

	Стр.
Утро	5
Птицы	11
Пустыня	16
Въ Виноградской Балкѣ	24
Хлѣбъ насущный	30
Что убивать ходять	36
Нянины сказки	43
Про Бабу-Ягу	51
Съ визитомъ	56
«Мemento-мори»	62
«Сады миндальные»	73
Волчье логово	82
Чудесное ожерелье	94
Въ Глубокой Балкѣ	104
Игра со смертью	112
Голосъ изъ-подъ горы	119
На пустой дорогѣ	132
Миндаль поспѣлъ	143
«Жилъ-былъ у бабушки съренъкій козликъ»	155
Конецъ Павлина	165
Кругъ адскій	170
На «Тихой Пристани»	175
Чатырь-Дагъ дышитъ	181
Праведница-подвижница	189
Подъ вѣтромъ	193
Тамъ, внизу	204
Конецъ «Бубика»	208
Жива душа!	215
Земля стонетъ	219
Конецъ доктора	223
Конецъ «Тамарки»	226
Хлѣбъ съ кровью	231
Тысячи лѣтъ тому	236
Три конца	241
Конецъ концовъ	246

